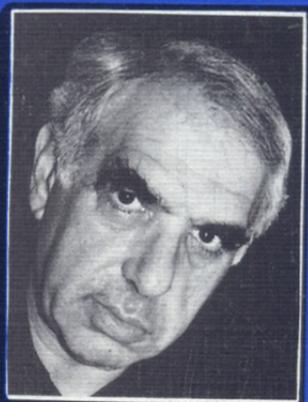
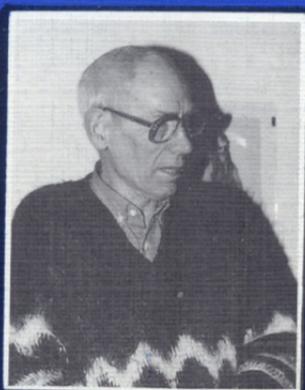


№ 2 (78)

1996 г.

# СРЕД

АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ





# СТРЕЛЫ

№ 2 (78)

1996 г.

**АЛЬМАНАХ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

**act**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва



Главный редактор — Александр Глезер

Зам. главного редактора — Анатолий Кудрявицкий

**Редакционная коллегия:**

Василий АКСЕНОВ, Владимир АЛЕЙНИКОВ,  
Дмитрий БОБЫШЕВ, Георгий ВЛАДИМОВ,  
Виктор ЕРОФЕЕВ, Вадим КРЕЙД,  
Виктор КРИВУЛИН, Юрий КУБЛАНОВСКИЙ,  
Алла ЛАТЫНИНА, Генрих САПГИР,  
Николай ФИЛИППОВСКИЙ, Сергей ЮРЬЕНЕН

Publishers:

Third Wave Publishing House

**Адрес редакции:**

121552, Россия, Москва, Г-552,  
Ельнинская ул., д. 19, кв. 7

Телефон:

(095) 141-12-43 (с 13 до 16 часов)

К сведению уважаемых авторов!

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать поступившие рукописи, а также рассматривать материалы объемом более четырех авторских листов.

Library of Congress Catalog Card No. 84-8582

ISSN: 0747 — 7287

## ОТ РЕДАКЦИИ

Два года назад “Стрелец” отмечал свое десятилетие. В нынешнем году двадцатилетие празднует издательство “Третья волна”. В феврале 1996 года в связи с этим юбилеем прошли два вечера “Третьей волны” в Нью-Йорке, в начале следующего года такой же вечер состоится в Москве.

За прошедшие годы среди авторов альманаха “Третья волна” и журнала “Стрелец”, а также поэтов и прозаиков, чьи книги вышли в издательстве, были почти все ведущие писатели России: Василий Аксенов, Белла Ахмадулина, Иосиф Бродский, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Венедикт и Виктор Ерофеевы, Виктор Кривулин, Юрий Кублановский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Владимир Максимов, Юрий Мамлеев, Валерия Нарбикова, Булат Окуджава, Евгений Попов, Евгений Рейн, Генрих Сапгир, Игорь Холин... Сотрудничали с этими изданиями и критики — Лев Аннинский, Михаил Золотоносов, Наталья Иванова... Среди художников, о чьем творчестве писали искусствоведы, связанные с издательством и его журналами, — Эрнст Неизвестный, Оскар Рабин, Владимир Немухин, Олег Целков, Вячеслав Калинин, Виталий Комар, Александр Меламид...

В связи с нашим праздником мы выпускаем юбилейный номер, где, за исключением трех авторов, все остальные — старые стрелецкие поэты и прозаики. Желаем вам, дорогие друзья-читатели, приятного чтения!



*Генрих Сапгир*

## ЛЮБЯЩИЕ

### Стихи

#### КУВШИН

Юрию Соболеву

как ни странно но этот кувшин  
... раскатываясь постепенно  
который стоит на столе  
все шире на гальку ложится пена  
я сначала увидел в себе  
... а там вдали все призрачно-туманно  
я хотел поставить его на стол  
тревожно — неопределенно  
но выронил — и он разлетелся  
... словно все знойно-пустые дни  
на тысячу мелких черепков!  
перслоились с ветренными и дождливыми

# БОГОПОДОБНЫЙ

1

на сером одиноком пляже  
где торчит бревно обглоданное морем  
бегали три черные собачки  
было ветренно штормило пахло  
тухлой килькой от рыбозавода  
и я понял: это блаженство

2

блаженное существо  
всё — из одних раздутых ноздрей  
впивает летящую влагу и соль  
ах! говорят деревья — и раскачивают ветвями в разные стороны

клубок рук и копыт  
катается по серому песку  
оставляя дорожку взрыхленных следов  
и всё что не есть деревья говорит ах! — и раскачивает ветвями  
в разные стороны

но вот развернулось  
одной ушной раковиной  
и слушает нарастающий грохот волн  
и все горы и чайки и море говорят ах! — и раскачивают  
ветвями в разные стороны

множество лошадиных глаз  
установились в до того ослепительное —  
просто бесцветное небо  
а главное всё во мне говорит ах! — и раскачивает ветвями  
в разные стороны

если бы всё  
было ничем  
кто из нас улетел — воробей или сад?  
это ничто  
было бы всем  
кто из нас улетел — небо или перила балкона?

## ЛЮБЯЩИЕ

что твои спутники в космосе!  
листья смешались с чувствами —  
не перестаю удивляться —  
так и живут — смешно и наивно —  
самолетам бомбам ракетам  
текущим в твоей крови —  
радуясь и огорчаясь

весь ворох взметнувшись в ветре —  
то взрываемся гневом  
то разгораемся страстью  
великой толпой влюбленных  
и сострясаят небо  
удары двух сердец —  
полуденный перезвон

и разве наш торопливый полет —  
встречаясь касаясь  
одного другого третьего —  
великой толпой влюбленных  
не полет к намеченной цели?  
да! да! самоуничтожение —  
так молодость живет  
в стареющей душе —  
приветствуют крики твои...

## ВМЕСТО ОТВЕТА

со всей своей зеленой тенью  
с поросшими мхом голыми стволами  
со всеми своими гладкими листочками и птицами  
со всеми своими бегающими и ползающими  
с грузином который порвал газету  
и приспустив штаны сидит на корточках  
быть может вся эта самшитовая роща —  
одна вечнозеленая трель соловья!

# УЛЫБКА МИРА

1

кто мыслит вчерашним *сегодня*  
улыбнись воздух и свет  
тот в позавчерашнем *завтра*  
улыбнись тополиный пух  
и погружаясь в море  
улыбнись чувство свободы  
ногами болтает в небе  
улыбнись праздность

ибо реальность похожа  
улыбается морда собаки  
на толстый слоеный пирог  
на ветру рассмеялся тополь  
лишь все целиком откусывая  
на пруду вода улыбнулась  
ты поглощаешь реальность  
оглянулось стекло окна

2

“в эпоху разложения естественно...  
пруссак подвижный и плоский  
... перемещаются в периферию  
словно арбузное семечко  
... а из задворков и низин литературы  
выглядел как  
... всплывает в центр какой-нибудь Сендык  
воплощенный график

оказывается какая-нибудь рыба  
торопливо бежал по  
оказывается литературным фактом  
как служащий по Манхэттену  
а геморроидальный цвет лица  
норовя провалиться в  
оказывается типично грибоедовским  
или как там у них называется

хромал как ямб так и не стал новатором  
рассеянное внимание

но отсидел и вышел Беленковым  
линейные совпадения  
с которым мы бродили по Москве  
не надо классифицировать  
послевоенной и литературной  
мистических насекомых

улыбнулся фарфор на витрине  
между строк усопший улыбнулся  
во все небо город улыбается  
коркой улыбается пирог

## ДВОИЦЫ

и рай и ад  
рай может стать  
живу пока  
ведь есть во мне  
как будто главное  
еще минута...  
забыл забыл

не мне ль дана  
не сам ли стал  
в тоске и стра  
срастется ли  
так всякий а  
на потолке  
какое бла  
блеск соверше  
но где реше  
в какой душе?

расцвел шиповник  
цветы как люди  
не трогай — та  
щелчком собьет  
кого-то вы  
и это ты  
не делай этого  
пойду и сделаю

хотя любовь  
но лишь любовь

Бог смотрит на  
мы видим са  
за то сынок  
ты одинок

я заглянул  
как будто там  
язык во рту  
ощупал ду  
лазейка в ту  
и немоту  
огрызок я  
сознание гру  
не крылья вы  
а тень моя

и лишь немного  
ты для Бога  
как сам с собою  
само собою  
деревья птицы  
с высокой елки  
глазами белки  
своя реальность

## ДВОИЦЫ 2

живу пока  
ведь есть во мне  
прислушиваюсь  
невнятный шорох  
не мне ль дана  
не сам ли стал  
я верю не  
а как Суббота  
и Боже мой! —  
не Воскресенье  
себе тюрьмой

усугубленная  
больная мгла  
проснулся ночь —  
тебе чудовище

и от затылка —  
по хребту  
по желобку  
ползет иголка  
бессмыслица —  
уснул в поту  
и нет лица...  
пыльная лампочка  
огрызок яблока  
ржавеет светит  
мутно явно  
увидеть! но  
в глазу — бревно

не крылья у  
ширяют в свет  
а тень моя  
углом на у  
растет закат  
кто пальцы тот  
кто царство тот  
как сам с собой  
само собой —  
и властелин  
и пластилин

о чем звезда  
вот почему  
свет как вода  
мигая да  
слезится нет  
и говорит  
ей сердца ритм  
двойной ответ  
Бог смотрит нами  
мы видим сами

### ДВОИЦЫ 3

как сам с собой  
само собой  
и всякой жизни —  
и напишу

карандашу —  
как будто главное  
еще минуту  
огрызок яблока  
кусочек Бога —  
не то не то

в тоске и страхе  
дана свобода  
квадратом солнце  
цветы и птицы  
и постаринке  
любой травинке  
кого-то случай  
не трогай — тайна  
не делай этого  
щелчком собьет  
такой везучий  
как мураша

ты чуешь истину  
неправы травы  
без смысла числа  
проснулся ночью  
зеваает сонная  
и с визгом в мозг! —  
вселенная —  
мурашки по спине  
бессмыслица  
лицо приоткрывает —  
и нет лица

свет ищет ощупью  
стена — ладонью  
дуплю во рту  
нащупал языком —  
лазейка в немоту  
и примирился  
Василий Розанов  
все одинаковы  
и одиноки —  
кричи и бейся  
Бог смотрит нашими  
мы видим сами  
и не услышит  
вот почему

## ДВОИЦЫ 4

как будто главное  
еще минута  
и будет рай  
ведь яблоки  
цветы и птицы  
хоть умирай...  
а свечка Богу  
и рот с ушами? —  
верней мы сами...

дана свобода  
Боже мой!  
дана свобода  
в тоске и страхе  
жжет изнутри  
прижался в к стенке  
срастаюсь узник  
собой не узнан  
а на клеенке  
огрызок яблока  
и человек  
в свою реальность  
смотри ржавеет  
дана свобода  
неужто верит  
своей тюрьмой

так всякий атом  
проснешься ночью  
собой не узнан  
кусты и яблони  
стук стук по саду  
звезда слезится  
и вряд ли видит  
усугубленная  
тебе чудое ще  
больная мгла

не змеи там  
под потолком  
без смысла травы  
неправы числа

одна лишь лампочка —  
живая точка  
добром и злом  
но есть во мне  
на самом дне  
не мне ль дана  
не сам ли стал  
и небо грозное  
ты чуешь истину  
свивается узлом

я заглянул  
сознание гру  
огрызок я  
вот почему  
там наверху  
ты одинок  
всё шевелится —  
ветвей и хвоя  
и светом вверх  
синица порх!  
не трогай — тайна  
щелчком собьет  
Бог смотрит нашими  
Бог видит нами  
но что — не спрашивай  
мы видим сами  
так смотрят яблоки —  
глаза корней



*Нина Садур*

## ДЕВОЧКА НОЧЬЮ

Повесть

### 1

Да нет же! Не давал он ей никаких денег! Пора бы уж честно признаться себе: “он меня выгоняет на погибель”, а то размечталась, будто бы он сунул ей червонец, а она, горячка, вышла в подъезд, порвала денежку и пошла — пусть будет видно, как она беззащитна и непреклонна в своем отчаянии...

Кому? Кому будет видно-то?! Кому интересно на это смотреть? Она целый месяц копила поводы приехать к нему, а поводы не накапливались. Она надеялась, что каким-то чудом он соскучится по ней или она так удачно попадет в такой период его жизни, что он будет один дома, и скучать, и ему будет все равно, кто с ним рядом... Но для этого нужно было выбросить его из головы, не думать о нем, жить легко, в дневных заботах, а ночью покорно засыпать для честного накопления сил к новому рабочему утру. Она назначила себе срок — месяц. Месяц — максимальный срок разлуки, а дальше должна состояться встреча.

Ну вот она и состоялась. Если б она не спешила, то вообще все задуманное сбывалось бы. Потому что поначалу все шло по плану. Она позвонила через месяц легким голосом. Он сначала не поверил, говорил отчужденно, настороженно, пытался подловить ее на чем-нибудь, но она так натренировала себя, что любой, кто подошел бы к

телефону и послушал, как она говорит, решил бы: звонит приятно, просто... Ну так, необязательный звонок. Просто выдалась свободная минутка или хочется развлечься...

Он ей поверил, разрешил приехать.

Всякий раз, когда он разрешал ей приехать, жизнь для нее приобретала огромное значение. Она даже удивлялась, как это так — я живу просто, а тут, пока еду к нему, — замечаю все, что вокруг, и хочется плакать от любви ко всему этому... Наверное, потому, что так я живу — просто, а когда еду к нему — появляется цель увидеть его, и моя цельная жизнь совпадает с жизнью снаружи, вокруг меня, потому что наружная жизнь просто не живет, а живет цельно, любовно и радостно, и пока я люблю и стремлюсь, я с ней совпадаю... поэтому мне хочется плакать от радости совпадения!

Но это высокое чувство пропадало при встрече. Потому что каждая встреча с любовником на нее действовала как шок: она слепла и глохла, и могла только жалкими трясущимися губами бормотать тусклые слова безликой любви, которых он не хотел слушать и знать.

Вероятно, уже очень многие говорили ему эти слова, и поскольку он был старше ее на десять лет, то знал цену этим словам и знал, что его горькую жизнь не вылечить этими словами, но не умел об этом сказать и только смотрел на нее с ненавистью.

Он мог скупно, почти брезгливо приласкать ее, но не делал теперь и этого, он только смотрел на нее искаженным от ярости своим прекрасным и нежным лицом, созданным совсем для другой жизни, может быть, для того, чтоб красоваться где-нибудь на всеобщем обозрении, как дивные полотна Боттичелли, и только для этого оно и было создано — это лицо, а он его потратил на таких, как она, сжег свою жизнь, а лицо его никому не досталось.

Но ведь он позволил ей и сейчас приехать! Ей удалось обмануть его, убедить в том, что она не любит его больше и они смогут приятно провести вечер в болтовне и смехе и потом переспать и утром расстаться с взаимной благодарностью. То есть выполнить обычную программу обычных любовников.

Вот если б она не торопилась, все ее планы сбывались бы. Ведь смогла же она обмануть его по телефону? Ведь у нее имелись: прекрасное чувство юмора, широкий кругозор и вообще ум. Она могла шутить целый вечер, развлекать его. Ведь они могли поговорить про книги, про кино, про общих знакомых, про течение жизни, про политику и погоду. И ведь она знала, как бессмысленно говорить ему про свое отчаяние. Потому что ее девическое отчаяние было ничто по сравнению с его мужским, каменным, старым отчаянием взрослого, полумертвого человека. Ведь она могла быть с ним рядом целый вечер и смотреть на него, а потом ночью проснуться и украдкой снова смотреть, лаская свою ненасытную душу прекрасным его лицом.

Но она первым делом обрушила на него весь шквал своего отчаяния и разрыдалась сразу же, на пороге...

Но надо отдать ему должное. Надо отдать ему должное — он тогда сразу же не выгнал ее. Он лишь побледнел немного, но улыбнулся и пропустил в комнату, и помог снять шубу, и достал вина, и включил музыку. В который раз он пытался жить с нею, но она не давалась для жизни, она хотела большего, а он знал, что большего нет.

Он был не виноват в своем лице. Несомненно, он был создан для любви, и только для нее одной. Он был как синяк на лице Афродиты, вот как. То есть он имел непосредственное отношение к любви, но вот в таком качестве.

Она еще при самой первой встрече с ним ахнула, и обмерла, и подумала: “Как в таком хрупком белокуром молодом человеке смогло уместиться все зло земли?” Он был похож на злого фарфорового принца из мультфильма, который строит козни пионерам, но которого в конце победно разобьют. Ей рассказывали, какие безумства он вытворял в свое время. “Мятежник, — подумала она тогда, — Мятежник, родной человек”. И стала смотреть на него с тайной радостью заговорщика. Он недоуменно поглядывал на нее, улыбался, он предложил ей вино, сигарету, анекдот, поцелуй. Она отрицательно качала головой и продолжала улыбаться заговорщицки, и когда он уже ничего больше не смог предложить ей и встал, огорченный и растерянный, тогда она сама взяла его за руки и сказала про родного человека, мятежника, и что теперь они откроют с ним новую жизнь друг для друга и наступит счастье. Он разинул рот в удивлении и подался к ней. Припал, как ребенок, и затих... И вот тогда наступило то, лишившись чего она теперь не может жить. Но это длилось недолго. Он отстранился от нее, все еще не теряя веры, а лишь затем, чтоб спросить: когда же?

Щека у него была розовой и горячей, он отлежал ее у нее на груди. Он был такой трогательный и знакомый, словно она сама родила его.

“Что — когда? — спросила она, проводя ладонью по его легким чистым волосам.

“Когда наступит наша новая жизнь и счастье?” — спросил он.

Сегодня он выгнал ее на погибель. Наверняка в этот раз он не обманулся ее легким голосом. Это она только теперь сообразила и усмехнулась. По крайней мере она научила его не быть доверчивым.

Он сделал вид, что поверил ей, и разрешил приехать, и включил музыку (чтоб заглушить плач), и позволил смотреть на себя, и протянул до двух часов ночи, а потом влил в нее, неумелую, стакан водки и выгнал на улицу безо всяких средств к передвижению.

Это был его тщательно продуманный план — отделаться от нее раз и навсегда. И это было его право.

А поскольку он жил в Теплом Стане, а она даже не в Москве, а в Вострякове, что по Савеловской дороге, то требовалась очень большая сумма, чтоб добраться среди ночи домой. Если б было открыто

метро, все было бы в порядке. Но он предвидел это и дотянул до закрытия метро, чтоб уж надежно...

Она вышла на дорогу и побрела к остановке автобуса. Было тепло. “Скоро Новый год, — отстраненно подумала она, — а снег тает”. Но в этой снежной влаге, в тугом свежем ветре не было предчувствия жизни, потому что и влага, и теплый ветер шли не из весны, а от случайного каприза природы.

Она встала под навесом остановки. “Как лошадь, — подумала она, — как ничья одинокая лошадь”. Она еще не боялась. Она была только что от любовника и не успела понять, что осталась одна. Людей не было. Огней в домах тоже не было. Ничего нигде не было, кроме снежной пустыни, скользкой влажной дороги и машин.

Редкие машины проносились мимо нее, но она не смела останавливать их, потому что денег у нее тоже не было. Она их еще не боялась, она не успела сообразить, что ночные люди — это совсем не то что дневные люди, и у них могут оказаться другие к вам требования, и жить они могут по другим законам, и ночью носить другие лица.

Но стоять было неудобно, ноги устали от каблучков. Она вспомнила, что до метро всего две остановки, и, хотя оно закрыто уже, это единственное знакомое ей место, потому надо стараться попасть туда. Она вышла на дорогу и подняла руку...

Первый человек был честный. Он не взял ее без денег. Он вежливо объяснил, что он такси, у него счетчик. Она не стала спорить, извинилась и отступила под свой козырек, который мысленно отводила у улицы и всем (опять же мысленно) запретила заходить под него без ее разрешения. Потом была “скорая помощь”, но она разочаровала и эту машину. Как только врач узнал, что у нее нет денег, он сказал, что спешит, что у него вторичный больной, и уехал.

Потом какая-то машина остановилась сама, и она тут же шагнула под свой козырек. Она стала спокойно наблюдать, как медленно открывается дверца и человек манит ее. Она отрицательно покачала головой, но человек не уезжал и все манил ее рукой.

Потом уехал. И еще останавливались машины, но она не садилась в них. Она начала бояться.

Она хотела сесть в ту машину, которую остановит сама и чтоб водителя долго упрашивать, а эти, которые сами зовут ее неизвестно куда, ей не нужны, и пусть они проезжают себе.

И еще она не хотела садиться в легковую машину, неизвестно, на какие средства она куплена, сейчас легковые машины казались ей какими-то нечистыми, опасными и хитрыми. Она теперь верила только в автобусы, разбитые честные автобусы, спешившие в парк, истерзанные за день злыми человеческими толпами, бессловесные и покорные, некрасивые пустые. Еще она верила в “скорые помощи” и “МАЗы”. Ей удалось остановить автобус, и она прыгнула в него, и он, пустой и теплый, захохотал по дороге.

От движения, от знакомых контуров салона, от пустых касс, от кожаных сидений, от ржавых слов на облупленных дверцах, от тусклого, знакомого затылка водителя она тут же успокоилась и даже задремала.

И приснился ей сладостный сон, что в автобусе давка, а ей не хочется уступать место старухе.

Каким-то чудом она проснулась возле метро (потом она пожалела об этом) и подбежала к водительской кабине. Она открыла форточку и сунула в нее слабую руку с серебряной монеткой, которую она случайно нашла в кармане. “Еще и потому хорош автобус, что водитель не обидится на такую монетку, он не привык иметь дело с рублями, имея дело с мелочью”, — так подумала она, тоскуя о понятных, казенных близких отношениях с людьми и не желая узнавать о них ничего нового.

— А куда же нам ехать? — спросил он.

Она удивилась. Если б она не проснулась, он бы так и вез ее неизвестно куда. Она вся подобралась, потому что страх охватил ее.

— Мне здесь, — сказала она. — Извините, что у меня нет денег. Вот копеек пятнадцать, по-моему.

— Вам к метро? — удивился водитель. — Но оно закрыто уже.

— Я знаю, — отрезала она нетерпеливо. (Так, словно, живет где-то тут.)

Он не взял ее копейку и открыл дверь. Она вышла и обрадовалась, увидев точно такой же козырек, как на предыдущей остановке. А рядом, над подземным переходом, сияла большая красная “М”. Но самое главное был козырек. Она уже привыкла к этой единственной на сегодня крыше над головой и смело шагнула под нее. Автобус уехал.

“Ну что же я, дура, наделала? — подумала она. — Судя по всему, это был приличный человек, единственный во всей ночи, я его совершенно не интересовала. Можно было упросить его довести меня хотя бы до вокзала какого-нибудь, где я могла бы провести ночь. Ну что же я за дура такая?” Она вспомнила лицо водителя, оно совсем не было страшным, оно было молодое, узкое, интеллигентное, в бороде, кажется. В полумраке она не разглядела лица, но оно было хорошее лицо, и она уже к нему привыкла, а вот теперь опять осталась одна.

Водка грохотала в висках. Наверное, любовник специально напоил ее водкой, чтоб ей не так страшно было погибать. Но сейчас, на какой-то миг, предстоящая гибель отодвинулась на второй план, а большее и невозвратнее оказалась потеря водителя, которого (она уже знала!) она могла полюбить на всю жизнь и чудесно дожить с ним до глубокой старости. Или хотя бы разглядеть его лицо.

Но постепенно она привыкла думать о себе как о мертвой, и об этом думать было спокойнее, потому что потери тут никакой еще не было, она вся была с собой, никуда от себя не уезжала, не бросала себя одну на пустой улице, а честно находилась рядом сама с собой.

Только она знала, в какой момент ночи это свершится — ее самая последняя разлука.

Она стояла под своим козырьком, в углу навеса, положив руки на перила, удобно упершись спиной о рифленую стенку и скрестив ноги. Машины неслись ей навстречу и многие останавливались. Но так как она уже свыклась с мыслью о предстоящей гибели и, кроме того, у нее уже был опыт общения с ними, она одним лишь ленивым движением руки отвергала все предложения ехать, и все ее слушались до поры.

Но она знала, что чем дальше будет идти ночь, тем серьезнее люди появятся на дороге, и что в какой-то момент ее запрещающий жест и ее козырек не спасут ее. В сущности, она не боялась. Виною тому была, конечно, в первую очередь водка, но потом, стоя вот так, на краю дороги, она стала думать обо всей своей жизни и увидела, что гибель ее будет справедливой и даже предначертанной.

“Наверное, кто-нибудь надругается надо мной и, может, даже не убьет совсем”, — подумала она, с жестоким любопытством представив себе того человека.

Как она станет жить дальше? После того, как надругаются над ней? Но об этом думать было неинтересно, потому что тогда она будет калека, а калек она не любила.

“Ты нехорошая девочка. Ты не любишь жизнь, да?” — вспомнила она характерный акцент и рассмеялась. Так говорила ее подруга Сигне, серьезная латышская девочка, с которой она вместе училась и снимала дачу в Вострякове. Так сказала эта суровая широкоплечая девушка, когда увидела любовника. Она нарочно показала его Сигне, чтоб Сигне знала, какие бывают русские любовники. Сигне слегка побледнела от его необыкновенного, измученного и злого лица, но быстро опустила глаза и, надев свои дорогие американские очки, которыми очень гордилась, пробормотала латышское ругательство. А потом сказала ей, что “она нехорошая девочка и не любит жизнь, да?”. Это “да” — не было вопросом. Раньше, поначалу, она прилежно отвечала на все эти “да”, но Сигне сердито прерывала ее и говорила “пфуй!”, потому что “да” не было вопросом! Это “да” было Сигниным акцентом, ее яростью оттого, что она не владеет русским достаточно хорошо, чтоб выразить все свои мысли. Поэтому после каждой фразы она говорила вам это вопрошающее “да”, чтоб вы знали, что голова Сигне полна невысказанных мыслей и идей.

Сейчас Сигне спит в Вострякове. Она просыпается и смотрит на часы и злится на нее, потому что завтра рано вставать, а Сигне спит вполсилы из-за того, что ее нет дома. Сигне очень строго следит за их посещаемостью и старается всегда успевать к первой паре. Они не захотели жить в общежитии и сняли дачу, чтоб у Сигне была возможность спокойно работать.

Сигне любит спокойно работать и спокойно отдыхать. Сигне любит крепкое вино и здоровых мужчин. Сигне любит жизнь и много о ней знает. К ней часто приезжают молодые возбужденные латыши и горячо лопочут что-то на своем языке, а Сигне важно кивает и говорит: “Я! Я! Лаби!” — и делает пометки в записной книжке.

Сигне теплая и живая, как печь на их даче, и она грелась возле Сигне.

Поэтому сейчас она не будет думать о ней, чтоб не тревожить ее сон, она боится невыспавшейся Сигне и ее, в сущности, тяжелого, нудного характера. А потом, Сигне ничего не может для нее сделать. Ничего! (Она давно заметила его. Он, как и все, остановился и позвал ее с собой. Она ему, как и всем, махнула, проезжай, дескать! Он проехал, но где-то развернулся и встал на той стороне дороги, напротив. Она запомнила его, потому что “жигуль” у него был какой-то оранжевый, она заметила это в свете фонаря. И еще потому, что ни одна машина здесь больше не стоит.)

Ну что ж, Сигне, конечно, талантливая. У нее настоящий талант, и от этого радостно жить. Сигне пишет свои монотонные, странные, завораживающие пьесы, в которых герои стоят столбом на одном месте и длинно спорят ровными голосами. Когда спор заводит их далеко, они церемонно меняются местами, как в старинном танце, и, набрав дыхания, заводят все сначала. Ну что ж.. Сигне надо жить, она знает замечательные истории про жизнь, она овладеет своим языком и создаст яркое художественное произведение. И хоть в их маленьком институте, похожем скорее на теремок, чем на дом, где родился сам Герцен, учится всего 200 человек, она твердо знает, что 200 писателей просто быть не может. Но тем не менее институт писательский, и всем приходится делать талантливый вид. И вот одна она не делает такого талантливого вида, и поэтому, может быть, Сигне так щедро взяла ее в свою горячую жизнь.

(Он приготовился ждать. Он знает, что наступит час ночи, когда машин на дороге уже не будет, и тогда он сможет пересечь дорогу и подойдет к ней. Он уже понял, что ей некуда идти. И хотя она довольно заметно провела ногой черту возле автобусного навеса, отгородив тем самым свое место от улицы, он настроен слишком серьезно, чтоб испугаться запрета. Он будет ждать терпеливо, как волк ждет, когда олень истечет кровью, чтоб безбоязненно вцепиться.) Ах да, что-то она про оленей знает? Что-то забавное, такое милое, до слез... Ну да! Она же сама кто? Она переводчик с марийского. Она поступила на отделение перевода с марийского языка. У нее нет никаких талантов, и ее приняли на отделение переводчиков с марийского языка. Какие странные эти марийцы. У них на курсе учатся несколько человек. Девушки и юноши. Она попробовала сосчитать, сколько у них учится марийцев: “Гуля — раз, Соня — два, Дима — три, Ваня — четыре, Соня — пять”. На “Соне — пять” она все время сбивалась, по-

тому что все ее любопытство было сосредоточено на оранжевом “жигуле”, а потом, эта “Соня — пять” не дала ей проездной на автобус. потому что она опоздала отдать вовремя рубль... Как-то все у нее мешалось в голове. Соня с проездным, и опять автобус. Получалось так, что это из-за Сони, которая у них какой-то профсоюзный орган, она не смогла сейчас уехать. Будто бы эта Соня не знала, что она сдает рубль? Обязательно сдаст! Но сна отдала ее проездной кому-то другому. (Она даже видела, как человек там, в темной глубине машины, закурил и огонек его сигареты застыл у окна. Она даже видела белое пятно его лица, приникшего к окну. “Интересно, он знает, что мне страшно? Хотя нет, он так не думает. Он думает о другом”. Ну вот.)

И что же? Они милые и странные — эти марийцы. Они очень тихие, светлоглазые и вежливые. Они прилично учатся и вежливо улыбаются. Ей иногда хочется протянуть к ним ладошь с чем-нибудь соленым, они похожи на оленят, светлые, рыжеватые, скуластые, с продолговатыми зелеными и прозрачными глазами. Они думают, что вот она станет переводить для них замечательные русские произведения и многие марийские люди узнают талантливых писателей, а она им ответно улыбается и с тоской думает о трудностях их неинтересного для нее языка... А что говорит на это Сигне? Сигне швыряет в нее свое яростное “да?” и объясняет, что у нее не хватает терпения полюбить Саню и Соню, поэтому она ходит разобщенная и вязнет в чужом языке.

(Как долго он может ждать? У него тепло в машине, и он может ждать долго. А пожаловаться на него некому. Да если б и было... О, об этом лучше не думать. Интересно, какое у него лицо? И руки. Боже мой, у него ведь есть руки!) И тут, на какой-то миг, она отключилась, перестала быть. Она надежно растворилась в ночи и лишь рассмеялась от радости. Теперь, когда она недоступна, она может спокойно все рассмотреть: вот ночь, ночь. Ночь опустилась на землю и стоит. Вот разные... разные предметы и сооружения. Дома, например. Далеко. Красная буква “М”. Освященный спуск под землю. Вот навес автобусной остановки, сделанный из полупрозрачного легкого, совсем не зимнего, материала, и все-таки люди предпочитают стоять под ним, а не просто так, безо всего...

А когда устанут гореть лампы и нечем станет освещать ночь? Она невольно обернулась к оранжевому “жигулю”. И в ту же минуту она снова была в своей жалкой, отяжелевшей от страха и вина плоти, из-за которой должен разгореться сыр-бор.

Но она вернулась не одна, а еще с чем-то. Это что-то было новое и необыкновенное, к сожалению, она не знала, что это.

“Ну хорошо, нас двое, — попыталась подойти к “чему-то” она. — Так. Раз нас двое, то нам нужно объединиться. А как?” Она со страхом искала способы объединиться с оранжевым “жигулем”, и не находила их. “Ну вот, допустим, он родился, так, он родился когда-то,

был ребеночком. И я родилась и была ребеночком. Ну и что? Не то все это, не то! Ну и наши жизни начались и потекли, каждая по своему руслу. И мы даже не знали, какую важную роль суждено нам сыграть друг для друга”. Она даже почувствовала что-то вроде благодарности к оранжевому “жигулю”, потому что это был единственный человек, для которого она хоть что-то значила. Она опять отвлеклась на Сигне. “Вот Сигне хорошо, — думала она, — она живет в Москве, учится, смотрит на все, а когда затоскует, к ней приезжают соотечественники, и Сигне уже по лицу или языку может познаться с человеком и потребовать заботы о себе. Потому что у них одна кровь. А я не могу сказать: Сережа Петров мой соотечественник, потому что их полно кругом и все хмурые. Если я подойду, они не поймут: края нашего отечества расплылись и все мы потерялись. Значит, и с этой стороны я никого не интересую. “Кроме оранжевого “жигуля”. Его она интересовала. “Он тратит на меня время, он испытывает неудобства в тесной машине, ему бы пойти домой. Принять ванну и спать в теплой постели, а он вместо этого стоит на краю ночной дороги и ждет. Он видит хрупкое существо в дешевой шубке, искусственный мех которой повторяет цвет и узор какого-то зверя, который гуляет себе в теплом лесу, на другом конце земли. Кто-то, кто сшил шубку и разукрасил ее мех, решил из милосердия не убивать настоящего зверя, но, чтоб удовлетворить нашу потребность в чужих шкурах, создал этот ловкий дубликат. И только истинные ценители могут отличить истинный живой мех от мертвых волокон бесчувственной шкурки на моих плечах. Так же и этот ночной ловец в “жигуле”, как истинный ценитель способен отличить просто жизнь с ее ласковым теплом от той жизни, которая вдруг сверкнет, когда снят запрет. И вот он ждет, напоенный радостным жгучем терпением, он изнурен простотой и теплой жизнью, он обязан ее растерзать. Для того, чтоб слиться с нею. Их будет уже двое. Не важно, что она будет всего лишь жертвой, это простая и теплая жизнь назовет ее так, что ей до этого! Она уже преступит запрет и будет далеко! А всего-то претерпеть: разъединят волокна простоты и теплой жизни, да слабенький крик растает, как облачко, над мертвеющим ртом. Но зато... но зато!

Она встала на поребрик, готовясь ступить на проезжую часть дороги. Но в этот миг все ее простое и теплое тело так задрожало, что ей пришлось сойти с поребрика назад. Оно, это простое и теплое тело было с нею не согласно. И главным его аргументом против нее был любовник. Как ни странно. Как ни пыталась она убедить свое глупое тело, что милости любовника ничтожны, и что он не любит ее, и что его ласки на самом деле не ласки, а цепь изощренных унижений, ее молодое и глупое тело содрогалось в плаче. Она с отвращением и жалостью подумала о своем слабом теле — всегда оно жило независимой от нее темной жизнью, и она ненавидела законы, по которым оно живет. “Ну хорошо, хорошо, — сказала она, — я еще здесь, здесь”.

— Ты порвала эти деньги! — закричала она с ненавистью. — Ты порвала эти деньги, которые любовник дал тебе, чтоб ты благополучно взяла такси и приехала домой. А ты мечтала отомстить ему своей гибелью! Хочешь умереть, чтоб уж навсегда он отравился тобой! Разве ты не знаешь, что смерть твоего простого и теплого тела пройдет незамеченной любовником этого тела? У него свои заботы, и он живет по своим сложным и недоступным для тебя законам! (И даже если простым — то эта простота никогда не сольется с простотой твоего простого и теплого тела.)

Она обратила свое залитое слезами лицо в сторону оранжевого “жигуля” и погрозила ему куланом. Человек спустил боковое стекло и, высунувшись, что-то крикнул.

— Что? — отозвалась она.

Но он не повторил того, что крикнул, а вновь исчез в машине. “Я порвала эти деньги, — подумала она снова, — потому что это были мои собственные деньги, которыми я преусмотрительно запаслась, зная, что любовник может вышвырнуть меня на улицу. Я их порвала, потому что он не любит меня. И за это я не буду жить!” (Это она подумала специально для своего тела, чтоб оно наконец согласилось с нею.) “Но только ты не плачь, слышишь, не плачь, — упрашивала она свое горло и грудь и так же колени, чтоб они не слабели прежде времени. — Ты не плачь, все-таки любовник любил тебя. Ты, когда наступит... ну, в тот миг, когда тебя... ты сосредоточишься на нем, как он любил тебя.” Но оно слабело все равно, и тогда, чтоб оно не слабело, она дала ему маленькую надежду. Она подумала (специально для него) вот что: “Но если бы кто-нибудь, хоть один человек, любил меня, то его страх за меня сейчас спас бы нас (меня и мое тело). Я бы стала дорожить нами изо всех сил, я бы быстро побежала, а не стояла бы, как ничья лошадь, или как сердитые подружки (я и Сигне), или как разлюбившие любовники (я и любовник).

Это был уже глубокий час ночи, и машин ехало мало. Теперь она (ради тела) снова стала ждать машин, как спасения. Она уже не пряталась от них, а, наоборот, показывала себя, чтоб видели: она стоит на обочине и ждет защиты.

Раз убийца уже есть, то все остальные будут другими, так справедливо решила она (опять же ради тела — она его утешала, как ребенка, заблудившегося в магазине). Они будут добрыми и защитят. Но вот остановилась “Волга”, и она тихо ахнула и отступила под свой козырек, потянув за собой и тело, ставшее глупым и неуклюжим. Но человек был ленив, она ему была не очень нужна, поэтому он подождал немного и уехал. “Видимо, все хорошие люди уже проехали и спят, а сейчас время самых ночных людей, товарищей оранжевого “жигуля”, — с тоской решила она и содрогнулась.

“Как же так получилось, что никто не любит меня! — удивилась она (незаметно снова слившись со своим телом). — Получилось так,

потому что мне нечего дать. Неужели я могу честно все это подумать? Но вот же я стою и честно думаю: меня не любят потому, что я ничего не дала людям. Значит, несмотря на все мое недоверие к подобной постановке вопроса и невольную улыбку, которую вызывает у меня этот вопрос, я на самом деле думаю именно так: я ничего никому не дала и поэтому никто обо мне не заплачет. Вот дура-то! Если я так думаю на самом деле, а это самый приемлемый образ мыслей среди людей, то зачем же, зачем я всю жизнь это скрывала от окружающих? Сейчас-то уже поздно, я понимаю, и сейчас было бы нечестно что-нибудь кому-нибудь давать в надежде, что взявший человек заплачет обо мне. Но раньше, когда я спокойно жила дневной жизнью среди такого количества людей (я ведь умная девушка!), неужели мне ни разу не пришло в голову, что необходимо от себя дать что-то, иначе меня сотрут с земли, как потную влагу с окна, и все...

И вот она подсчитывала всех, кто не любит ее, всех, кому она не нужна, все свои потери, и оказалось, что любит ее только оранжевый “жигуль”, и нужна она только ему, и единственная ее находка — он, оранжевый “жигуль”. Она миг какой-то помедлила, вытянувшись, подобравшись и выпятив подбородок, она строго прислушалась к своему телу, кровь тихо текла, последние плыла в жилах, сердце ровно стучало, колени были сжаты и тверды. Она краешком губ улыбнулась этой своей победе над глупым телом и... и в этот самый миг острая слепящая безжалостная игла вонзилась в ее сердце, и она охнула и прислонилась к стене от боли. “Мама, — поняла она. — Моя мама меня любит. Моя мама меня любит просто. Она умрет, когда узнает. Она не будет плакать, она просто умрет. Потому что она любит меня от последнего мизинчика до каждого волоска на моей голове”. Ее мама сейчас спала в другом городе. Она каждый месяц посылала дочке тридцать рублей, ограничивая себя во всем и гордилась тем, что дочка живет в столице, учится, узнает красоту жизни. Ее простая и любящая мама не подозревала об ужасах жизни, вторыми окружила себя дочь, и жила светлой надеждой на счастливое дочкино будущее.

“Хоть бы ребеночка я ей родила, — люто затосковала она. — Ах, какая жесткость. Боже мой, спаси меня ради мамы”.

Она осторожно вышла из своего укрытия и побежала по дороге назад, инстинктивно назад, туда, откуда привез ее автобус. Встречные машины сигналили ей, она жалась к черной гряде сугробов и бежала и видела краем глаза медленно движущийся по той стороне оранжевый “жигуль”.

“Он, конечно, не удивится, что я все еще жива, но я объясню ему про маму. Мы забыли в своей жизни про маму. Если б мы помнили про маму, наши жизни платили бы нам добром. Он теперь будет мне не любовником, а братом. Ну, хорошо, хорошо... Я ОТПУЩУ его”. И это была правда. Она бы отпустила его, если б добежала. Но ей не суждено было добежать сегодня до любовника.

“Жигулю” было интересно сравнивать скорость человеческого хода со своей. Он то обгонял ее, то поджидал и отставал или ехал рядом, и это была самая медленная езда на свете. Их разделяла дорога с двусторонним движением. И они все время двигались по прямой, но у нее было чувство, что они неуклонно сближаются.

Ее даже удивило то, что ей стыдно. Ей было невыносимо, мучительно стыдно, страшно стыдно изумленных маминых глаз. “Зачем же я надеялась на свое светлое будущее? — говорили эти глаза. — И на твой талант к марийскому языку? И на твою любовь к красивым платьям?” — “Я люблю красивые платья, — бормотала она, — и светлое будущее, мама!” Но глаза изумлялись все больше и больше, они еще были сухими, но со дна их поднималась горячая влага. Родные глаза. “Так вот какая жизнь, — содрогнулось мамино незащитное сердце. — Вот она какая, она убила мое дитя”.

“Не верь, мама! — бормотала она. — Это я все придумала! Жизнь прекрасна, мама. Мы летом с тобой поедem в дом отдыха. Я тебе обещаю”. Но мама качала головой, и лоб морщился от недоступной мучительной мысли, в которой виновата была дочь, только дочь!

“Да нет же, мама! — крикнула она. — Я помню, как порвала эту десятку. Мама, я ее порвала пополам. Понимаешь? Если б я точно хотела умереть и не иметь надежды выжить, я бы порвала ее мелко, а так — пополам. Она все еще там лежит. Все знают, что крупные купюры подлежат обмену, если есть обе половинки. Я приду, возьму эту десятку, я помню, где бросила ее, я ее бросила в надежном месте. Не беспокойся, я возьму ее и потом сяду в такси, таксист поймет, что хлопоты с обменом стоят того, чтоб получить всю десятку, не давая мне сдачи. Я с самого начала знала, что вернусь за ней, мамочка. Я клянусь тебе, что не хочу умирать”. Мама выслушала с недоверчивой улыбкой и вновь покачала красивой головой. “Но, мама, моя сияющая мама из детства, не казни меня хотя бы ты!” “Ты хочешь умереть!” — сказала мама.

“О, мама, это не та потеря, которую можно пережить!” — поняла она и остановилась. Мама больше не отзывалась.

Внезапно “жигуль” набрал скорость, словно ужаснулся того, что мама бросила ее, и скрылся впереди.

И тогда она просто пошла. Она знала, что дальше “жигуля” ей не уйти и, как только увидит красные задние огни машины, она наконец встретится со своим единственным на свете человеком.

И поскольку ничто не обременяло ее больше, она прибавила шагу. И вот она увидела — где-то вдалеке, на той стороне дороги красные задние огни. “Жигуль” стоял один, она сразу поняла, что пустой. От этого он больше не казался ей враждебным, а просто усталой маленькой машиной, а плохой человек был где-то сам по себе.

Она раздвинула губы в новой для себя улыбке и прибавила шагу.

Он внезапно вынырнул перед ней. Она так задумалась о нем, что не заметила, как он возник перед ней. Она вскрикнула и остановилась. Но он тоже вскрикнул и остановился, словно удивленный ее лицом. Их разделяло метров десять, и она с удивлением разглядела его лицо. То есть не само лицо, а странное выражение: он выпучил глаза, и ужас был в этих глазах, страх смерти. В тот же миг сладостное и преступное чувство охватило ее. Она вскрикнула и раздула ноздри, предвкушая запах освобожденной крови, она шагнула к нему, но он попятился (как будто произошла путаница, кто-то перепутал и смешал их состояния), он попятился, а она неумолимо приближалась к нему, но в следующий миг из-за спины выползла рычащая громада (как ее страшная душа, нет, как ее злой гений разрушитель, о нет, нет, как вся ее всплывшая наконец преступность), и встала громада поперек дороги.

Автобус приехал против движения, он приехал задом, его занесло на гололеде, и он мог сбить того человека, кроме того, на него могли налететь машины, которые все еще проезжали здесь. Но он все-таки встал поперек дороги, загородив ее покореженным железным нелепым своим телом и открыл заднюю дверцу, до которой она доплелась покорно и влезла по высоким ступеням, в тот же миг дверь захлопнулась, словно ограждая ее от опасности, автобус рванулся, и ее швырнуло к заднему стеклу, о которое она чуть не разбила лицо, и разбила бы, если б не успела выставить ладони. Она успела увидеть лежащего на дороге человека. Он лежал на спине, потому что автобус толкнул его в грудь, лицо у него было уже мертвое. “Кажется, это я лежу”, — так показалось ей. И еще мелькнуло подозрение о невероятной, фантастической любви, но тут же стерлось. Она пошла по темному салону вперед, к водительскому окну, чтоб посмотреть на нового человека этой ночи.

## 2

Она ничуть не удивилась, когда узнала шофера. Это был тот же самый водитель, что уже вез ее сегодня. Она встала у окна и постаралась разглядеть его лицо на этот раз. Лица не было видно. Она села на боковое сиденье и заснула. Они ехали очень быстро, очень долго. Когда она проснулась, автобус грохотал по какой-то совсем уж пустой дороге меж деревьев. Она открыла форточку в окне, отделявшем салон от кабины, приблизила к ней лицо и сказала:

— У меня в душе ад. Я одинока. Женитесь на мне.

— Куда вас везти? — спросил водитель. Голос у него был ровный, спокойный, мягкий, красивый.

Она снова попросилась в жены. На этот раз он ничего не ответил. Тогда она сказала:

— Меня надо везти в Востряково. Это очень далеко, поэтому отвезите меня на ближайший вокзал, там я переночую.

Он опять ничего не сказал. Она опустила на сиденье и поплакала минуты две. Потом встала и возобновила беседу.

— Вы убьете меня, — сказала она. — Вы изнасилуете меня. Зачем я вам?

На это он сказал:

— Я очень спешу. Мне надо поставить машину в парк и распечатать в журнале. А потом я отвезу вас к себе домой.

— Зачем я пойду к вам домой? — упрямилась она.

— У меня дома очень строгие родители, — успокоил он ее.

— Тогда тем более зачем?

— Там стоит моя машина, — сказал он. — Я отвезу вас на ней в Востряково.

Она разозлилась, что он сразу не объяснил ей по-человечески, что собирается делать, и перестала с ним разговаривать. Но любопытство заговорило в ней, и она снова обратилась к водителю:

— А как вы снова нашли меня? — спросила она.

— Я наблюдал за вами, — сказал он. — Как только вы вышли из автобуса, я понял, что вам некуда идти, и тоже остановился.

“Боже мой”, — подумала она.

— Почему же вы не позвали меня сразу? — удивилась она.

— Потому что вы всех боитесь без разбора, — сказал он.

Она вновь опустила на сиденье и молчала очень долго. Потом они въехали во двор высокой “башни”, где стояло несколько машин, три были закрыты чехлами. Она это увидела в окне. И, хотя поняла, что не автопарк (а он говорил поедет в автопарк, в журнале распечатается), а какое-то глухое, сонное и грустное место, она была уже слишком усталой, чтоб снова бояться.

— Выходите, — сказал он и открыл переднюю дверцу.

Она выползла из автобуса, сразу же ноги разъехались, как у новорожденного теленка, и она шлепнулась. Он подошел к ней и посмотрел, как она сидит на дороге.

— Если я помогу вам подняться, вы не станете кричать? — спросил он и взял ее руками осторожно и поднял. Тут они оба убедились, что она совсем почти не может передвигаться, и он взвалил ее на себя и поволок. К этим спящим машинам. Прислонил ее к одной машине и встал отдышаться. Он был чуть выше среднего роста, на нем были болоньевая куртка и шапка. Силуэт у него был молодой и худой. На лице у него действительно оказалась борода, которая ему не шла, это была молодежная борода.

Он постоял несколько мгновений, оглядывая машины, подошел к одной и погладил дверцу. Провел рукой до дверце, получилось, как погладил. Потом поглядел на нее, как она стоит, прислоненная к машине, следит за ним, и улыбнулся. Потом он отошел от машины,

которую погладил, и сунул руку в карман, стал искать что-то, а сам медленно поворачивал лицо от машины к машине. И наконец подошел к беленькому приземистому “жигулю”, достал связку ключей. В темноте он не сразу смог открыть дверцу, но потом все-таки открыл и поманил ее. Она подошла, а он сказал:

— Залезайте туда и можете поспать пока.

Она покорно влезла в машину. Он закрыл дверцу. Он остался стоять и закрыл за ней дверцу. Вот в этот момент она снова почувствовала — приближается потеря! И это неправда, что она не хотела его удержать! Неправда, что у нее уже не было сил! Наоборот, как только он закрыл за ней дверцу, она тут же прильнула к окну и стала заглядывать в его высокое лицо, стараясь хоть запомнить черты — нос, рот...

— Нажмите на ту кнопку, — сказал он.

Она увидела кнопку у бокового окна. Нажала на нее. Он дернул дверцу и распахнул ее...

Она только чуть-чуть потянулась к нему, а он как хлопнет дверцей!

— Сильнее нажмите!

Она нажала со всей силы, и он не смог открыть дверцу.

— Сидите там и никому не открывайте, — сказал он. — Я скоро приеду.

Она увидела, как он уходит, как сел в автобус и уехал этот автобус с ним. Она сидела на переднем сиденье, и ноги ей девать было некуда. Сначала она их вытянула вперед, но скоро поняла, что холодно, и поджала, как могла. Потом она устала сидеть в этой позе и склонила колени к водительскому месту, но тут же уперлась в какие-то рычаги, и она с ужасом подумала, что машина сейчас тронется. Она осторожно отодвинула свои ноги, и потревоженный рычаг встал на место. Она прислонилась к дверце со своей стороны, от дверцы несло чистым прозрачным холодом. Она выпрямилась на своем месте и даже от спинки сиденья отстранилась, вскинула голову и стала строго смотреть вперед. Если она сможет не шелохнуться достаточно долго, она почувствует, как холод, который прятался и пугливо отступал при каждом ее движении, доверчиво прильнет к ней. Перед ней был край двора и дальше дорога, по которой уехал водитель, а за дорогой какая-то смутная роща. Снег в ночи, хотя и влажный и почти теплый, казался твердым и почти неживым. Было холодно, как будто все умерли. Слева от нее стояла машина под чехлом. А чуть дальше еще две, голые. Ей показалось, что она состоит в некоем родстве с этими машинами. Что есть сегодня некая общность у этих машин и у нее. Для человека ее сегодняшняя жизнь не подходила совершенно, значит, она на время — машина. Они, эти машины, так одиноки по ночам, что им не остается ничего другого, кроме как ожить. Как ожить или как родить, зародить в себе что-то, нечто живое (вроде нее) в хрупкой прохладной неживой скорлупе, что-то живое, нелепое, чу-

довищно не нужное днем — это она. Но сейчас они одобряют ее присутствие и они сами породили ее для того, чтобы... Для чего? Ну для чего? Не для чего, а потому... Потому что она их понимает. Она понимает, как они тут стоят, как на них льется бледный лунный свет, как на них смотрит снежная дорога.

Она рассмеялась. Это ведь в детстве кажется, что вещи с нами дружат. А на самом деле мы и здесь одиноки. Мы и здесь одиноки.

Но все-таки что-то вроде нежности у нее было к этим машинам. Да, было.

Она попробовала уснуть, откинув голову на спинку сиденья. Но шея устала. И рот не закрывался. “Как же я должна сейчас глупо выглядеть? — решила она.

Она казалась себе слишком большой для этой машины. Как кто? Тут должно быть еще какое-то воспоминание. Она немного напряглась — неужели все? Не будет больше воспоминаний? Память стала белой и спонной? Нет, там, вдалеке, что-то теплое, золотистое... Она с любопытством вглядывается. Ну хоть бы она сделала радостный рывок к этому теплому и золотистому! Нет, она равнодушно на него взирает. Это не ее воспоминание. И не ее потеря. Но все-таки она посмотрит на него.

Там, вдалеке, как чужая, сияла Алена Тамаева. Это была девочка очень большого роста — почти двух метров. И в то же время по уму — маленькая и веселая. Она была дочь богатых родителей. Замечательная красавица — она была смуглая, как мулатка, скуластая, у нее были черные пышные волосы и серые глаза красавицы. Она была настолько смуглой, что вокруг красивого рта у нее была полоска как бы измороси, как бы она сама не переносила бремени такой смуглоты и в знак протеста обвела рот бледной полоской. Можно было просто ахнуть от такой красавицы, но сама Алена относилась к своей красоте крайне жестоко и расточительно. Она носилась по коридорам их крошечного института, и коридоры дрожали от шалостей двухметровой золотистой плоти, которая вела себя, как пионер на перемене. И потому, что она сама не хотела быть красавицей, ее никто и не считал красавицей, а так и считали — вот несется Алена Тамаева. Так вот, эту Алену она очень любила. Не то что любила. Она могла несколько месяцев не замечать ее, но всегда наступал момент, когда они подходили друг другу и начинали плести чушь и хохотать хохотом, независимым от них. Словно сквозь них пропускали электрический ток. Когда в жизни было что-нибудь приятное, благополучное, намечались солнечные просветы, с Аленой было приятно дружить. Потому что сама Алена покорно выполняла все требования времени и ее единственным недостатком была экзотическая красота, с которой, впрочем, она успешно боролась, ей было семнадцать лет, и в этом году она наконец рассталась с девственностью. Она очень переживала, что все, узнав, что она еще не знала мужчину, бросали ее, и была благо-

дарна тому, кто наконец решился приобщить ее к жизни. Ну а если бы в моде были строгие нравы, она была бы строгой хохотуньей.

Вот такое ее посетило воспоминание и ушло. “Я ведь любила их всех”, — подумала она.

И еще подумала: “Кто бы мог подумать, что моим последним воспоминанием будет эпизодическая Алена Тамаева?”

Потом она выкурила сигарету, машинально отметив, что в пачке осталось еще три. Она не бросила сигарету на пол, а нашла на приборном щитке пепельницу и сунула окурочек туда.

Когда стенки совсем сжали ее и дышать стало больно, и сердцу стало трудно стучать, она подняла глаза и увидела небо. Большой черный квадрат неба раскрылся над ней и глядел на нее свежим своим ночным лицом, и маленькие звезды лепетали что-то. Их слабенькие голоски звенели, беспорядочно сбивались и звали ее. Она потянулась к ним. Она долго не двигалась, и тяжелым был ее подъем. Но она встала и свободно достала до неба своим лицом. Она слегка качнулась на глиняных своих ногах, но удержалась и с нежностью приоткрыла рот, готовясь выдохнуть слова любви. Но звезды ахнули и сердито заверещали от ее вида и стали больно колотить своими остренькими ручками-ножками в ее большое, заплаканное, размытое лицо. Они совсем одурели, слабенькие, от тяжелого перегара водки и беды, и все дружно навалились, чтоб столкнуть ее обратно. Они искололи ей губы до крови. Тогда она заплакала, потому что они не хотели быть с ней, а только сверху манили ласково, а сами прогоняли опять на странную, разрушенную землю, где никто не хотел, чтоб она жила. Она зажмурилась, чтоб больше никого не видеть и чтоб остановить слезы, которые надоели ей за ночь.

Когда она открыла глаза, она увидела, что в окно смотрит кто-то. Он нагнулся и прислонился лицом к стеклу, расплющив об него нос и щеки. Она тоже стала смотреть на него и тоже прислонилась к стеклу со своей стороны. Так они прислонились глазами друг к другу, и она ничего не увидела в тех глазах. Они были белые.

Человек дернул плечами и ушел. Потом был черный провал, никто не шел. Потом по дороге пробежал человек. Он бежал медленно и устало, а за ним шел другой человек, легкой, смеющейся и жесткой походкой. Она следила за ними, пока их было видно, а потом их уже не было видно.

Она знала, что водитель ее бросил.

“Утром придет настоящий хозяин машины, — подумала она, — сдаст меня в милицию. В милиции тепло. Люди”.

Он пришел через много времени. Было очень темно. Было еще темнее, чем в начале их знакомства. Он научил ее, как открыть машину, и она суетилась и не понимала, а потом бросила суетиться и уставилась на его бороду. “Но ведь я не должна радоваться ему”. И сразу сосредоточилась и правильно на все нажала, и дверца откры-

лась. Она немножко удивленно следила, как он садится в машину, как нарушает покой холодного и ласкового пространства, в котором она с таким трудом научилась жить одна, но все-таки научилась, а он одним сильным смелым движением вторгся в это пространство, и сразу же она обрадовалась, что вторгся, значит, зря старалась, приспособлялась, все равно одна не смогла бы... Ну, значит, он сел в машину и долго не мог ее завести. Ей захотелось на один миг припасть к его плечу (раз он вернулся), она благоразумно сдержалась и отодвинулась еще дальше. Он заметил это движение и внимательно посмотрел на нее. Наконец он завел машину, и они поехали.

— Так куда же вам ехать? — спросил он.

Она думала, что они так давно знакомы, что уже по-другому надо говорить, а он этим вопросом отшвырнул ее назад, на обочину дороги, не подобрал... на обочину... на дороге... Он остался на дороге.

На дороге остался лежать. На спине. Лицо мертвое сразу.

Сначала недолго живое, а потом сразу мертвое надолго. Он остался лежать. А они не остались. Ни на одну минуту у них не возникло мысли остаться.

Она покорно сказала про Востряково и что можно ее отвезти на вокзал какой-нибудь. Тут он вспомнил, что Востряково — это где-то здесь, близко, надо только найти по карте. Он остановил машину и стал искать карту. Он не знал, есть тут карта или нет. Он включил свет в машине, но из деликатности старался не смотреть ей в лицо. Он догадался, что она думает, что плохо выглядит, и не хотел огорчать ее.

Она тоже не смотрела ему в лицо, словно они сговорились не показывать лиц. Она только на руки его смотрела, как они делали неточные движения, открывая коробки, ящички. Наконец он нашел карту и предложил ей посмотреть, найти свой дом. Она наотрез отказалась. Она никогда не понимала, как это по карте можно что-то найти. Он один долго смотрел в карту, потом что-то там разыскал и повеселел. Он вновь завел машину, и они выехали на большую дорогу, где их тут же остановила ГАИ. ГАИ забрала у него документы и ушла в свою нелюдскую будку, висевшую над ночной землей, как ядовитый оранжевый шар. Он посидел, выпрямившись и сосредоточенно глядя перед собой, словно вспоминая свое имя, потом повернул к ней лицо и впервые посмотрел на нее прямо. Ничего не оставалось, как ответить ему таким же долгим взглядом. Он принял ее взгляд, улыбнулся и открыл дверцу. Потом пошел следом за ГАИ. Она успела разглядеть, что глаза у него светлые, продолговатые. Он очень скоро вернулся и стал что-то искать.

— Что вы ищете? — спросила она.

— Технический паспорт, — сказал он. Он перерыл все коробки, какие нашлись, он обыскал буквально всю машину. Паспорта нигде не было.

— Не мог же он ездить без паспорта, — бормотала она, искоса наблюдая за соседом.

— Мог, я думаю, мог... — ответил тот, потом глубоко, прерывисто вздохнул и замер, как давеча, когда вспоминал свое имя.

Он вздохнул, рассмеялся вдруг и поднял тяжелую неточную руку, словно забыв, зачем поднимает ее, и потянулся к зеркальцу. Ей показалось, что он хочет посмотреть свою бороду, потому что все это время она втайне думала о том, как не идет ему борода. Но он отцепил какую-то бумажку от стекла и побежал к будке ГАИ.

Скоро он вернулся, и они поехали дальше.

Они свернули на какую-то боковую дорогу, она не успела разглядеть указатель, но думала, что он знает, куда едет. Она ошиблась. Они заблудились. Они все время выезжали на кольцевую дорогу, словно какая-то сила не хотела выпустить их, пока они... пока они... И они неслись по ней вслепую, отчаянные и упрямые, а внизу, вдалеке, как в горсти, мерцала спящая Москва.

— Я могу на вас жениться, — однажды сказал он.

Иногда им навстречу мчались огромные рабочие машины, они грохотали и сверкали. А так было тихо и безлюдно.

Последняя благоразумная попытка остановить их осталась далеко позади. Этот человек из ГАИ пытался удержать их своими слабыми руками, наивными хитростями, но они вырвались и вот — мчатся...

Если они съезжали на какую-нибудь из дорог, та вела в деревню, где все глухо спали в черных жалких домах и бледные поля под плоским небом мучили усталое сердце.

Они въехала в какой-то лес. Черный лес в сером снегу стоял спокойной и мертвой. В нем было терпение, одно лишь терпение. В нем совсем не было никакой надежды. Но он не тосковал о ней. Он не знал о ее существовании. За лесом лежало снежное пространство, и из него в небо был направлен прожектор. От этого в небе получилась серая дыра, как водяной развод на беленом потолке. Потом снова был лес, скованный терпением, а на краю его стояла громадная грязная машина с чудовищным костистым прицепом, словно гигантское мертвое существо, наполовину показавшее уже свои кости. Под машиной слабо тлел огонь.

И она поняла, почему он все еще не бросил ее. Он знал, что никого больше не осталось на земле, кроме них двоих. И даже если им навстречу неслись машины, это были пустые, неуправляемые машины, сорвавшиеся с тормозов от горя и одиночества и летящие в никуда.

Она придвинулась к нему чуть ближе, чтоб почувствовать слабое тепло, шедшее от него. И тут же отстранилась и стала смотреть в окно.

— Я могу на вас жениться, — упорно повторил он, и на этот раз она посмотрела на него и вздрогнула, увидев, с какой ненавистью он смотрит на нее. Она притворилась спящей.

Ночь передумала кончаться. В какой-то момент, где-то, за каким-то поворотом, она успела разглядеть клочок светлеющего неба, но сообразила, что это один из слабых прожекторов освещает небо в поисках примет утра. Ночь расхотела уходить с такой грустной земли. И приют у них остался только в этой машине, из которой им, видимо, уже не выйти никогда.

Безмолвные и мертвые деревни, лежащие в глухих низинах, узкие неожиданные улочки в этих деревнях с какой-нибудь бесполезной лампочкой, висящей в плотной черноте, и снег, бесконечный снег. А наивная надменность дороги, которая возвышается, подпираемая с обеих сторон насыпями, это лишь видимость дороги, у которой есть конец. У этой дороги нет конца. Огромная невосполнимая потеря осталась у них за плечами. Бесполезно было горевать о ней: горя не хватало, чтоб охватить всю потерю, и поэтому в них осталась лишь легкость и печаль, с которой им уже не расстаться до самой смерти.

И она поняла, что жить они будут долго, невероятно долго, и вместе, и одиноко, и робко молить в душе смерть прийти поскорее, но она не будет приходить, и они будут глядеть в пустые влажные глаза друг другу и не находить слов, чтоб согреть свои испуганные души, и никогда не посмеют никого родить для такой разворочейнной, зараженной и опустевшей земли...

И что нельзя ни на единый миг остановиться, потому что это опасно, потому что они услышат тишину, от которой лопнут их слабые сердца, потому что в этом бесполезном движении еще может сохраниться и длиться их испуганная человеческая жизнь.

— Ну вот мы и приехали, — сказал он. — Это Востряково, я видел указатель.

И она не посмела ему сказать, что это совсем другое Востряково. Что их два, это Востряково по Киевской дороге, а ей нужно другое, что по Савеловской... Она не сказала ему этого, потому что это не имело значения уже.

И она все-таки пересилила себя и осторожно взяла его за руку и почувствовала, как ответно напряглась рука, какая была на ней нежная теплая кожа, и почти невозможно было оторваться от этой руки. Она подняла лицо, поглядела в его горестное лицо с поднятыми молодыми удивленными бровями.

— Мы приехали, — сказала она. — Я узнаю дома...

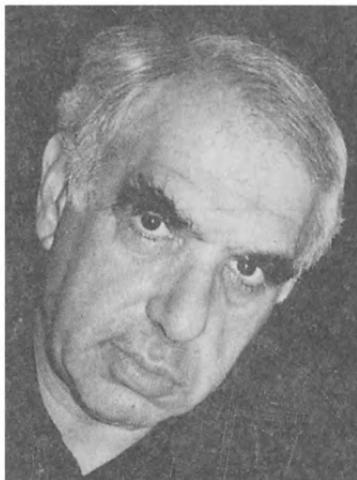
Он послушно свернул, куда она указала ему, и поехал по какой-то улице, потом свернул еще раз (ей инстинктивно хотелось забраться подальше) и еще раз свернул. Улицы были хорошие, широкие, ухоженные.

Она показала ему на дом и сказала — здесь. Он остановил машину и стал глядеть на нее, ожидая ответа. Она опустила голову, и он отвернулся от нее. Она еще раз взглянула на его затылок, ей захотелось погладить затылок. Она вышла из машины и направилась к ка-

литке, она старалась идти точно и уверенно. Ей удалось сразу же отыскать калитку (как он сразу же открыл машину, наитие открывает нам чужие вещи), и дальше она шла по расчищенной дорожке к веранде. Дверь на веранду оказалась незапертой, она осторожно открыла ее и закрыла за собой. Стекло веранды еще больше сгустило тьму, она видела, как он сидит в машине, потому что в машине горел свет, а он не мог ее видеть — пленник света был он. Тогда она села на корточки, чтоб, когда его глаза привыкнут к темноте, он видел, что ее уже нет на веранде. Она поскользнулась на ледяном полу и упала, больно ударившись щекой. Она заплакала от боли, но тихо, чтоб хозяева этого дома не услышали ее и не вышли...

Она подтянула ноги в подбородку и лежала, и тихонечко плакала, пока наконец не услышала, как завели мотор и поехали, и потом шум машины затих вдалеке.

“Ну, вот. Ну, вот мы и остались одни. Я тоже лежу. Как ты лежишь там? Куда смотрит твое мертвое лицо? Как стоит твой оранжевый “жигуль”? О нет, я не брошу тебя. Мы встретимся с тобой сегодня же. Сегодня же моя собственная душа отыщет твою, и, освобожденные, они сольются в высшей, справедливой любви”.



*Евгений Рейн*

## **БАБИЙ ЯР**

**ПОЭМА**

Однажды утром, тихим теплым утром,  
Я вышел из гостиницы на площадь  
Позавтракать в сосисочной, пельменной,  
Закусочной и где там подешевле,  
Затем, что поистратился в отъезде,  
И, стоя с пластиковым подносом,  
Проголодавшись, хлеб пшеничный ел.  
— Ой, Женя?! — Вот так штука, Саша!  
Два года мы не виделись, пожалуй,  
А состояли между тем в родстве.  
Она меня пятеркой поддержала,  
И я набил себе на славу пузо  
Сверхкалорийной киевской жратвой.  
И тут она сказала: “Знаешь, нынче  
Ужасный юбилей — тридцатый год  
Исполнился расстрелу в Бабьем Яре.  
Давай поедем, отвезем цветы”.  
И мы поехали.

За новеньким кварталом,  
Конечно же, предельно шлакоблочным,  
Расположился мусорный лесок.

Какое-то строительство его  
Заборами вплотную окружило  
И над лесочком вознесло леса.  
Таким же утром в роке сорок пэршем  
(Украинское “рок” здесь столь уместно)  
На этом месте расстреляли двести,  
А может быть, и триста тысяч  
(Не знаю точно я — да разве в цифре дело?),  
Из них тридцать четыре — вот это я запомнил —  
Тридцать четыре тысячи детей.  
И памятника здесь как ни бывало.  
Был камень с надписью, солидно погребенный  
Под лентами, цветами и венками.  
Слова на них свились, как манускрипты  
И выставили хвостики наружу,  
На коих можно было прочесть:  
“Во имя...”, “От вильнюсских евреев...”,  
“От московских...”, “От комитета партии...”,  
“Мы помним...”, “Еврейским детям...”  
И еще на мове, иврите, по-английски,  
По-немецки, а остальные я не разобрал.  
Вокруг стояло человек пятнадцать,  
Конечно, днем сюда приедут сотни  
И даже тысячи, но этим утром,  
В одиннадцать, примерно, или раньше  
Я не застал трагедии на лицах.  
Две женщины глаза усердно терли,  
Мальчишка бросил розу на вершину  
Горы цветочной, и она воткнулась,  
Как “Джек” на Эвересте, как флажок  
Кантарии над пирамидой рейха.  
Мы победили. Что же, эти трупы,  
Тридцать четыре тысячи детей —  
Они разбили рейх? Соорудили  
В Берлине стенку? Привели Советы  
На Вислу и на Одер, на Балканы  
И разделили землю пополам  
Между медведем и бизоном?  
Право, не знаю. Может быть, они.  
Я поднял камушек — похоже, что обломок  
Кирпичный или силикатный, вполне  
Позднейшего происхождения. Зачем?  
Что может быть глупее сувениров?  
Но я его не выброшу, он места  
Не занимает, есть не просит,

Лежит себе в жестянке заграничной,  
Припахивая сильно “нескафой”.  
Так пахнут трупы? Триста тысяч трупов?  
Тридцать четыре тысячи детей?  
Пожалуй, так...

Варите ваше кофе,  
Живите, господа, качайте тонус.  
Сегодня воскресение из мертвых  
Не состоится...  
И мы пошли назад.  
Но спутница моя томилась, видно,  
Днем нерабочим. Как его убьешь?  
В чужой столице, без друзей, без связей.  
И тут она сказала: “Где-то рядом  
Кирилловская церковь, та самая,  
Что Врубель сумасшедший расписывал,  
Когда пытался осилить свой недуг”.  
И мы пошли и через час пришли.  
Был желтый дом на склоне расположен  
Горы пологой, домики, сараи,  
С решетками на окнах изолятор  
И, верно, морг иль кухня на отшибе.  
А посреди — Кирилловская церковь.  
Огромная, собором кафедральным  
Она могла бы стать в местах поглуше,  
А здесь была музеем атеизма, а может,  
Капищем психиатрии...  
— Ну, что же, раз пришли — давай глядеть.  
По стенам в непролазном полумраке  
Клубились фрески. Боже, Боже правый,  
Ну, фрески, фрески, север, Византия,  
Рублев, София, Лавра, Дионисий,  
Я вашим был паломником когда-то,  
Но сколько проглядел и прозевал.  
Но посреди Кирилловского храма  
Четыре образа стояли —  
**СПАСИТЕЛЬ, БОГОРОДИЦА, СВЯТЫЕ.**  
Я не могу вам объяснить значенья  
Их живописи тщательной, портретной.  
Художник ясно видел эти лица,  
И мне через минуту показалось,  
Что я их видел только что в толпе.  
Потом иное, — что бредут они  
К оврагу черному в том самом сорок пэршем  
И что-то шепчут. Что? Не разобрать.

Но стоило прислушаться, и вдруг  
Я повторил за ними: “Ничто не пропадет,  
Ничто не канет, воскресным днем  
Все соберутся снова,  
Тридцать четыре тысячи детей,  
Все осужденные бессудно и неправо,  
Не удостоенные именных могил,  
Утратившие жалость и рассудок  
Затворники Кирилловской больницы,  
А с ними Врубель и его модели,  
Друзья и ненавистники, идеи,  
Погибшие, напрасные усилья,  
Предательски растерзанные чувства  
И даже невыполненные обещанья.  
Под чёрным небосводом вечной жизни  
Все это навсегда пребудет с нами —  
И потому я призываю вас  
Поверить в воскресение из мертвых!”

1971



*Валерия Нарбикова*

## ИНИЦИАЛЫ

Роман

Дано:

Однополое время года,  
память — X

---

радуга?

Решение:

Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года, старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу.

Они жили в ветхой землянке, и ему было ровно тридцать лет, а ей три года, и когда об этом узнали, его посадили в тюрьму, а ее отправили в детскую колонию.

Ответ:

Радуга повисла, как Обломов.

I

Бр был действительно бр-р-р. Он служил в церкви, куда прихожане приносили банки и бутылки. Однажды он утаил несколько банок и бутылок и сделал из них кукол. Они были очень похожи на жителей колонии. На горлышки бутылок надевал медовые или майонезные

банки, сверху натягивал чулок и приделывал мягкие ватные ноги, а когда кончилась вата, стал прикручивать пруттики. Кукол звали так, как было написано на этикетках. Больше всего он полюбил Изоллу-Беллу. Снял с руки часы и надел ей на ручку.

По вечерам колония была гадко прозрачной. За прозрачными стенами сидели у всех на виду однополые существа. Сквозь стены было видно, как кто-то вешается, кто-то пьет чай, кто-то спит.

Днем Бр находился в церкви: принимал бутылки, святил их, а по вечерам он писал — это не преследовалось — об Урне.

Прихожане звенели бутылками все настойчивей, требуя открыть дверь в церковь. Бр посмотрел на часики, они показывали шесть утра, он на всякий случай завел их, и ему стало приятно. В церковные стекла бил резкий снег и занозил их. Бр зажег лампадки у бутылок и пошел открывать дверь.

Прихожане хотели как можно скорее избавиться от этих хрупких предметов культа. Они боялись наказаний за трещины, а еще больше за укрытые осколки. Они не любили бутылок и боялись их, они не любили свое сходство с ними. Перед входом в церковь они стояли и обсуждали приметы. Те, у кого бутылки после мьпья запотели, говорили, что это к сильному морозу. Другие утверждали, что образовавшиеся у горлышка круги не предвещают ни холода, ни осадков. Бр поздоровался с прихожанами, они заулыбались и успокоились. В церкви было тепло, стоял легкий перезвон, и только через несколько часов он был нарушен криком кошки. Кошки жили в церкви, и случилось так, что они орала и пугались собственного крика, отягченного эхом.

В этот день Бр протирал бутылки, ставил свечки, а когда стало темнеть, застыл и долго так сидел, потому что ему некуда было идти: и дом, прозрачный, как дождь, и дом, горящий, как зуб, — все дома были заполнены кем-то, и с высоты церковного окна было видно, что некуда идти. И он открыл книгу и, как в прошлый вечер и как в вечер своей молодости, написал еще несколько строк и посвятил их Урне.

Урна сняла шапку-поганку, и волосы прокатились по спине. Она разбрехала вокруг себя погрешности, какие носят женщины, и стала видна целиком. Урна не была прозрачной, под кожей все было скрыто. Сзади Урна была гладкой. Сзади нее стоял Сокра. Он стоял на грубых пятках и тоже не был прозрачным. Его тело было проще ее. Там, где у нее были курсивом груди, у него — только маленькие опечатки. Она, казалось, была создана письменно, он — устно. Урна села на колени к Сокра только за образами. Подул ветер и стал толкать их. Сокра закопал ноги по самые колени в землю, а Урна привязала себя к нему шарфом, и они больше не боялись улететь. Раздался гудок теплохода, и Урна заткнула уши. Сокра подтянул теплоход за гудок, и пассажиры стали выходить на берег. “Хочешь, уйдем? — спросил Сок-

ра. — Сейчас нельзя, нас унесет, — ответила Урна”. И они еще крепче прижались друг к другу. Ветер принес раму с целыми стеклами. Оставалось ее только укрепить, чтобы получилось готовое окно с видом на море. Так и сделали. Сокра откопал ноги, Урна развязала шарф и открыла одну створку окна. От влажного ветра окно стало мокрым и все утонуло в ласточках. Ночи стали старше дней, но не доносилось колокольного звона: леконт-де-лиль-вилье-де-лиль-адан.

Бр отложил книгу, запер церковь и пошел вниз по улице. Стены домов приятно светились, о них доверчиво терлись беспризорные кошки.

— Кис-кис-кис, — позвал Бр кошку. Она не подошла — не захотела или не расслышала.

На деревьях лежали кубики снега. Бр щелкнул по одному, по другому, но палец его быстро замерз, и он опустил руку в карман. Дальше спускался все ниже и ниже бульварами, пока не дошел до двухэтажного дома и не увидел прибитый к стене дохлый номер. В подворотню свернул прохожий и уперся стружкой в угол. Бр прошел мимо, купил в киоске кусок мыла и вымыл в снегу руки. Чистыми руками он прикоснулся к Урне. Он сделал так, как обнимают, он сделал так грозно, как обнимают по памяти. Бр повсюду искал сходства с Урной, соединял найденное, он выбрал до сих пор неизвестную форму, и в первой строке у самого берега купались рыбы, а во второй подмышки Урны были в стиле рококо.

Бр вернулся в церковь, когда во всех норках уже лежал снег: обруч на обруче. И с первых же минут почувствовал, что без него здесь был не ветер. Бр осмотрел ящики с бутылками, священные утром банки. Все было на месте. Но когда он подошел к Изолле-Белле, то сразу догадался, что кто-то трогал ее за часики. Они стояли. Бр завел их, но они шли очень медленно, и вскоре опять остановились. И Бр проспал утром и не слышал, как несколько шипящих ругали его предпоследними словами. Утро было злое, как Ходасевич, а главное-преглавное то, что оно начиналось в пять часов и кончалось в двенадцать. И во всем подражало поэту, родившемуся в 1886 году и умершему в 1939-м. Не страшно при мысли об этом? Нет? А, потому что еще будет день и ночь! Но и день ведь тоже родился в 1799-м и умер в 1837-м. И ночь, хотя она и была долгой: 1889—1966. Но бутылки словно договорились ничему не удивляться.

Днем Бр съел безвкусный салат свекровь, куда входили два неизменных компонента: свекла и морковь, и стал делать подарок для Урны. А между тем у него в животе разыграли балаганчик. И если бы кто-нибудь приложил ухо, то мог ясно услышать: “Вы не обманете меня — это моя невеста!” Но некому было приложить ухо, и поэтому никто не услышал. А так, разобрать было трудно — бурчанье, да и только.

Делая куклу, он думал: так прийти неудобно, а с подарком я придду и скажу: вот, такие жители в моей стране. Между нашими государствами нет границы, но вы о моем ничего не знаете, а я о вашем знаю так мало! Посмотрите, она прозрачна, у меня не было подходящей банки,

поэтому у нее вместо головы электрическая лампочка. Эта девушка никогда никого не любила, и ей никто не говорил “вы”, если только не считать, что однажды ее вы п о р о л и , поэтому у нее такие большие губы и такие маленькие крылья, но у нее красивое имя — Тамара Таракан. Он сделал куклу к ночи и решил, что теперь уже идти поздно, поднес ее к свету, но его испугал вольфрамовый скелет внутри лампы. Бр поставил куклу на стол и открыл окно. Над ним было черным-черно и дуло, как из огромной дыры. “Небосквод”, — подумал он.

## II

Ночь казалась еще темнее, потому что не было часов. Маленькие неподвижные собаки отливали медью. Улицы, противные, как грязные ноги, как ницьи ноги, лежали разведенные, потому что были подняты мосты.

И мосты, и гранитный памятник первой машине, и фонтаны с привкусом ржавчины в сизифовой воде находились далеко от Ночной библиотеки, владельцы которой — Урна и Сокра — медленно спали на втором этаже, так как ни один читатель в эту ночь не пришел, потому что побоялся грозы. Но гроза не могла разразиться здесь, поскольку разразилась в колонии.

Многие бутылки, застигнутые на улице врасплох, были побиты. В канавах блестели осколки стекла. Бр вышел из церкви, когда дождь вместе с грязью еле-еле волочился по канавам и было ясно, что опасность миновала. Рядом с церковью стояли прихожане, задрав головы, смотрели вверх на самый купол, у которого осколком молнии было отбито горлышко. Бр привел им похожий пример в три действия, те опустили головы и пошли по домам.

Урна открыла глаза, ей показалось, что в углу громоздятся стулья. Их подростковые худые спинки и выпяченные ребра испугили ее. Она дотронулась до Сокра и мякнула.

— Что ты? — спросил он. — Еще рано, спи.

— Мне кажется, что за мной кто-то подглядывает. Посмотри, кто сзади.

— Ты просто устала.

— Нет, посмотри.

— Хорошо.

Сокра посмотрел и никого и ничего там не увидел.

— Никого там нет, — сказал он.

— Но я чувствую взгляд.

— Усни.

Бр отложил черновик, хотел переписать набело, но тут его отвлек увядший тюльпан с вздернутым изгибом короткой шеи. От тюльпана нехорошо пахло. Бр приподнял его мордашку, отпустил, а потом стал беспокойно заглядывать в углы, как веник. Было мусорно и холодно.

Тогда он сел за стол и обратил внимание на то, что у Тамары Таракан совершенно отсутствуют груди. Он спохватился и стал искать что-нибудь такое выпуклое: пробки, чашки, но все это ей не шло. Случайно его взгляд остановился на двух катушках: розовой и светло-сиреневой. Они удивительно подходили ей. И на одной из них была этикетка: экстра, 200 метров, 10 копеек. Бр остался доволен своей находкой.

— Тише, — сказала Урна, — говори потише.

— Я вообще ничего не говорю, — ответил Сокра.

— Ты громко говоришь, а я прошу потише, может быть, я еще усну.

— Жалко, что мы никогда так рано не встаем, — сказал он, — ты слышишь меня?

— Слышу. Жалко.

Именно в этот миг Бр хотел постучать в окно, но Сокра открыл окно, поэтому стук не был слышен.

— Хочешь, погуляем, — спросил Сокра, — пока еще не рассвело?

— Давай, — сказала она.

Они вышли через черный ход, откуда обычно выходят на улицу кошки. На уличных часах, на обломках стрелок сидели две птицы. Часовая птица точно показывала четыре. Минутная колебалась между четвертью и половиной, но все вместе обозначало, что шел пятый час утра. Холод суеверно, как и во все времена, прятался в рукавах пальто и у самой шеи. К веревкам сначала большие, потом помельче, помельче, помельче, были припечатаны носки. Урна, не снимая перчаток, достала из сумочки бутылку белого вина и, улыбаясь, протянула ее Сокра.

— Откуда это у тебя? — спросил он.

— Кто-то из читателей оставил. Хочешь, зайдём в подъезд и выпьем за нас?

Пластмассовая пробка заскулила и слетела.

— Ты первая.

Урна сделала три булька.

— Теперь ты.

Отпивая из горлышка, они невольно богохульствовали около полудна. Пустую бутылку поставили у батареи. Вышли на улицу, шли и несколько минут глупо смеялись, и условные широта и долгота казались и шире, и дольше.

— Скажи гя-вя-вя, — просила она.

— Не скажу, — упрямылся.

— Скажи!

— Ну, вя-вя-вя.

— Чистил! — радостно восклицала. — Чистил зубы. Ты целыми днями чистишь зубы.

Впереди из тумана выделился дом, и, как призрак, обогнул его лыжник.

— Он настоящий? — спросила Урна.

Сокра кивнул.

— Ну, как что, например?

— Не знаю.

На маленьком лугу паслись две некоровы и такие же темные некурицы, их охраняла несобака, которая не лаяла.

— А где ты родилась?

— А ты?

— С кем ты родился?

— В чем ты родился?

— Не знаю.

— И я не знаю.

— А если бы тебя привели в камеру для пыток и потребовали, чтобы ты сказала правду?

— Что именно?

— Ну, где ты родилась?

— Я бы ничего не сказала.

— А если бы они повернули рычаг?

— Я бы сказала, что не знаю.

— А если бы они стали спрашивать о подробностях: с кем родилась, в чем родилась, и опять повернули рычаг?

— Я бы заплакала, потому что, правда, не знаю.

Урна прижалась к Сокра, и несколько минут они шли и ни о чем не говорили. В пустой столовой для таксистов съели по пирожку и выпили по стакану чая.

— А ты видел когда-нибудь свою маму?

— С кем?

— Это не мой вопрос.

— И не мой.

— Как ты думаешь, какой меня видят прохожие?

— Где ты видишь прохожих?

— Пусть даже те, которых я сейчас не вижу.

— Те... немножко чеканутой.

— Почему?

— Потому что у тебя отрезан воротник.

— А тебе нравится мое лицо?

— Очень давно.

На следующих улицах уже стали попадаться прохожие. Стены домов были перепачканы. Упитанные балконы отягощали дома.

— Я хочу в другой город, — сказала Урна.

— В другой нас не пошлют, а если пошлют, то только матом.

— Я не хочу матом.

— Смотри, — сказал Сокра, — поставили еще одну будку.

Он показал на суфлерскую будку, в которой сидел дежурный и подсказывал прохожим, что им надо делать. Он цитировал строчки известных поэтов, и прохожие слушались.

— Давай перейдем на другую сторону, — предложила Урна.

— Зачем, послушаем, что скажет.

Из суфлерской будки: бе-бе-бе.

- Он принял нас за праздных гуляк, — сказал Сокра.  
Из будки: ме-ме-ме.
- Может, убьем его? — сказала Урна.
- Зачем? Даже если тебе безнаказанно или наказанно разрешат сказать все, что ты хочешь, тебе есть что сказать? В сущности, все, что я говорю, я говорю себе, в лучшем случае — тебе.
- А в худшем? — спросила Урна.
- А в худшем тому, кто услышит. Только я за это не отвечаю.
- А это правда, что у тебя пришиты руки?
- Это правда.
- Хочешь, зайдем в церковь? — сказала Урна.
- Все равно, как ты хочешь.
- Представь себе, например, культ бутылки, — сказала она, — святят бутылки, зажигают около них лампы.
- Ну и что? — сказал Сокра. — Все это условности.
- Тогда бы ты ходил в церковь?
- Я же говорю, что это ничего не меняет: и ходил бы, и не ходил. Так зайдем?
- Нет, — сказала Урна.
- Тебе что, грустно? — спросил Сокра. — Пойдем в библиотеку, уже совсем рассвело. Кто это сажает колочки на улице?
- Мне так хлебушка хочется. Только не говори ничего, я тебя люблю.
- Как это люди понимают друг друга, — сказал Сокра. — Ведь одно слово состоит из разных слов. Вот я отвечаю тебе: “Конечно”. А может, ты думаешь: конь-ешь-на, то есть ешь мой конь, на-ка.
- Ты мне не веришь? — спросила Урна.
- Нет.
- Значит, ты мне не веришь! Так это же хорошо. Ты, правда, не веришь?
- Конечно, не верю, — сказал Сокра.
- Значит, я могу говорить тебе все, что хочу.
- Конь-ешь-на, — сказал он. — Ну, скажи теперь все, что хочешь, раз уж это так хорошо.

Урна прижалась к Сокра и ничего не сказала.

Бр придумал шесть предлогов, куда можно пойти (в, по, к, на, под, из-под), но споткнулся, остановился на междометии “ой” и никуда не пошел. Его пятки были твердыми, как пемза. С их помощью он без труда оттер чернила на пальцах.

### III

— Здравствуйте, — сказал Бр, войдя в полуосвященную комнату.  
— Прощайтесь. Попрощайся с ним, — повернулся он к Урне, — мы с тобой уходим, урна, — произнес он ее имя с маленькой буквы.

Сокра подошел к телефону, набрал 100, автомат по дешевке выкинул восемь часов пятьдесят семь минут — вместо девяти, которые показывал будильник. Урна расставила брови и, пока ничего не отвечая, куда-то юркнула.

— Куда ты? — успел крикнуть Бр.

— Минуту, — сказал Сокра и вышел.

Сокра нашел Урну за дверью, она стояла там и задавала себе вопросы, и, кажется, ни на один не могла ответить. Когда она увидела Сокра, сразу же стала задавать их ему. Бр действительно подождал ту минутку, а потом тоже вышел за дверь.

— Ты готова? — спросил он.

Урна кивнула и приблизилась к нему.

— Тогда пойдем. Ты обо всем спросишь по дороге, — добавил он.

Она опять кивнула.

— Ты что! — крикнул Сокра. — Разве не видишь, какой он старый?

— Но у тебя ведь тоже пришиты руки, — ответила Урна.

— Он — бутылка! — воскликнул Сокра.

Урна пожала плечами и тихонько заскулила.

— Не уходи, — сказал Сокра.

— Разве я уйду? — сказала Урна.

И вдвоем с Бр они вышли из Ночной библиотеки, заставленной стульями, столами и еще чем попало.

— А что это там у вас на углу? — спросил Бр.

— Это почта, — ответила Урна.

— И там принимают посылки?

— Я не знаю. Вам нужно отправить посылку?

— Да нет. А вот это что за магазин? — опять поинтересовался Бр.

— Это хозяйственный. Скажите, это вы подглядывали за мной рано утром, когда я неожиданно проснулась?

— Да. Ты так забеспокоилась, что я испугался, как бы ты меня ни заметила.

— Отпустите меня, — попросила Урна.

— Нет, Урна, нет, — ответил Бр. — Давай зайдем в хозяйственный. Я куплю несколько лампочек. Ты знаешь, например, что из лампочек лучше получаются женские головки, а из банок — мужские?

В магазине Бр предложил Урне самой выбрать лампочки. У открытых окон стояли покупатели и дышали. Когда их набиралось слишком много, продавцы говорили: “Хватит дышать, проходите!” По улице пожилая женщина катала тележку с пирожками. Сверху лежал пироок в разрезе, по нему можно было определить возраст и породу.

— Хочешь, я куплю тебе пирожок? — спросил Бр.

— Я не голодна, — ответила Урна.

— Нам еще долго идти, — сказал он.

Урна взяла его под руку, и они пошли немного быстрее.

— Я хотел прийти к тебе с подарком, но это очень хрупкая вещь, я побоялся, что разобью.

Не выразив никакого интереса, Урна спросила:

— А там, куда мы идем, есть вода?

Бр кивнул.

— И холодная, и горячая?

— Ты все увидишь, — ответил он.

— Очень хочется вымыться, — договорила.

— Это что за дым? — спросил Бр. — Там какой-то завод?

— А! — засмеялась Урна, — Завод по выпуску облаков. Видите, кругом ни одного облака, а здесь целое скопление.

— Ну, вот, ты уже смеешься. Я осмелюсь еще раз: а что это за дым? Ты не сердись на меня, нет? Тогда в последний раз: а что это за дым?

#### IV

— Здесь можно курить? — спросила Урна.

— А ты куришь? Кури. — Бр подвинул свой стул так, чтобы сесть рядом.

— Это церковь?

— Церковь, но курить можно.

— А может, у тебя и вино есть? — спросила она.

— Есть, — ответил Бр. — Я не буду, но, если ты хочешь, выпей.

От красного вина у нее пересохли губы, и Бр стал осторожно откусывать маленькие твердые заусеницы на них.

— Кто же еще сюда приезжает? — огляделась Урна.

Бр потерял о ее пушистые глазные усики-ресницы.

— Никто. Тебе здесь не нравится? — Он тоже огляделся и сам ответил: — Это ты устала с дороги. Хочешь, просто полежим.

И неожиданно, одетые, они заснули. Ночью Урна перешагнула через Бр и подошла к окну. Через площадь нетрезво бежала кошка.

“Мне кажется, из пианино вылетает моль”, — мысленно произнес Сокра, обращаясь к Урне. И от имени Урны задал себе вопрос, что-то вроде: “Как это?” — и сам ответил: “Она ест прокладки”. — “Как же она вылетает?” — послышалось ему. “Ну, выползает”, — ответил. — “Я сегодня видел, летала моль, я не мог ее поймать. А как ты к нему обращаешься, ты его называешь по имени?” — спросил Сокра. “Никак не называю, — последовал ответ, — вы или ты, но не по имени”.

Урна повернулась к Бр и увидела, что он не спит. Она рассердилась и включила свет. Бр сразу же увидел сердитую Урну.

— Хочешь, поужинаем, — предложил он.

Она ничего не ответила.

— Может быть, уснешь тогда?

Урна пожалела, что включила свет, но предложение поужинать ей понравилось.

— А ты пригостишь? — спросила.

— Да все готово, — ответил Бр.

Он принес яичницу с одним подбитым глазом и немного водки.

— Хочешь меня напоить? — дружелюбно сказала Урна.

— Ты быстро пьянеешь?

Она обвела взглядом комнату и шепотом спросила:

— Зачем тут все это?

— Что все? — не понял Бр.

— Ну, бутылки, потом эти куклы?

— Одну из кукол я хотел тебе подарить. — Он наклонился к Урне и добавил тоже шепотом: — Я завтра открою церковь, может, ты и не увидишь никого из прихожан, но я буду принимать у них бутылки, банки и святить их; не смотри так, ничего страшного в этом нет, потом я тебе покажу колонию; выпей это.

Урна выпила и оживилась.

— И вот эти прихожане, про которых ты только что сказал, они пишут стихи?

— Нет, наверно, — ответил Бр.

— А они болеют чем-нибудь?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, болеют они, например, гриппом, ангиной, у них болит живот или голова?

— Конечно, но ты бы ничего не заметила.

— Они не жалуются?

— Не в этом дело.

— И ты часто болеешь этими болезнями? И ты пишешь стихи?

— Я болею, конечно.

— И ты пишешь стихи? — переспросила Урна, но не получила ответа, потому что тупым концом ударил гром и церковь наполнилась испугавшимися кошками, без имени, без породы.

— Вот это и есть прихожане? — спросила она, совсем опьянев.

— Нет, это кошки, — ответил Бр.

Утром Урна искала чемодан. Она была в полном отчаянии, когда Бр увидел ее.

— Ты не спишь, — сказал он, — а я не входил, боялся тебя разбудить.

— Не сплю. Видишь, ишу чемодан.

— Какой чемодан? — удивился Бр.

— Мой чемодан. Хочу переодеться, не могу же я в этом ходить. — Она оказала на рубашку и вполне приличные бархатные брюки.

— Почему не можешь, тебе очень идет, — возразил.

— А мне надоело, — заключила Урна, — где же чемодан?

— Ты пришла без чемодана, — как можно спокойнее сказал он, — вспомни, я торопил тебя, и ты не успела его собрать. Но я куплю тебе все, что ты захочешь.

— Разве здесь что-нибудь купишь, — усмехнулась Урна.

Она еще несколько минут повертелась, а потом села и сказала:

— Отпусти меня, ты думаешь, я не вернусь, а я вернусь, я только возьму свои вещи, не могу же я без вещей. Ты мне нарисуй, как идти, и провожать меня не надо. Я по рисунку все найду. — И она сунула в руки Бр клочок бумаги и карандаш. — Нарисуй.

Он нарисовал, ему не жалко нарисовать.

— А за ящиками ты смотрела? — спросил Бр.

— И за ящиками, и в алтаре, везде смотрела.

— Ты под кроватью не смотрела, — сказал Бр, — посмотри под кроватью.

— Под кроватью? — удивилась Урна. — Но ты же сам сказал, что я его не взяла.

— Посмотри на всякий случай.

Она посмотрела и нашла там чемодан. Это был ее чемодан с пришитой ручкой и порвавшейся в одном месте молнией.

— Что же теперь делать? — растерянно проговорила она.

— Переодеваться. Что-нибудь теплое надень, там сыро и холодно, я буду на улице.

Поджидая Урну, Бр думал, зачем ему один верующий подарил репродукции за два рубля; лучше бы два рубля подарил. О соседке, у которой он попросил стремянку и которая через час пришла его благодарить:

(— я вам так благодарна, так благодарна.

— за что это?

— за все, за все благодарна...

— за то, что стремянку у вас взял, что ли?)

Наконец вышла Урна в тех же брюках и в той же рубашке.

Поежилась и сказала:

— Что-то холодновато, может, дашь мне свою куртку?

Он накинул на нее свою куртку; выглянуло солнце, и стало тепло.

— А поедем за город! — так же, как миллион лет назад, сказала она.

— Ты так говоришь это, как миллион лет назад.

И они поехали за город, как миллион лет назад.

Контрапункт железнодорожных линий у самого вокзала прояснился у следующей станции, трясти перестало, и можно было обо всем поговорить.

— Я хочу с тобой обо всем поговорить, — сказал Бр.

— Давай поговорим.

— Давай пойдем завтра в гости! — чуть ли не проорал он.

— Давай! — ответила она, словно это было неслыханным счастьем.

— Или давай лучше куда-нибудь уедем завтра?

— Давай, — прозвучало в том же духе.

— Хочешь, я тебя познакомлю с кем-нибудь?

— Хочу.

— Хочешь?

— Хочу.

— Давай?

— Давай! — и так далее, пока они не вышли.

Они вышли глупо, так вообще не выходят из электрички, в палатке купили конфет к чаю, которого и быть не могло. Во рту от конфет стало противно-сладко.

— Ну, что дальше? — сказала Урна.

— Сними брюки, надо вымыть пол на поляне, — сказал он.

— С меня хватит, — усмехнулась она, — твои бутылки, церковь сомнительная, теперь еще пол мыть в лесу, сам снимай.

Все-таки она сняла и вымыла и грязные бросила в лужу.

— Отожми насухо, — попросила она, — у меня нет сил отжимать.

Бр прополоскал брюки, отжал их и отдал Урне. Она надела их и, уставшая, села посредине поляны.

— Я тебя люблю, — сказал Бр.

— Да, — ответила она.

— Ты останешься у меня?

— Да, — ответила она.

— Все будет так, как миллион лет назад?

— Да, — ответила она.

После некоторого молчания Урна сказала:

— Что же будет дальше?

— Но ты ведь согласилась, — сказал Бр.

— Мне, наверное, придется ходить на работу, — как-то неуверенно проговорила она.

— А! Ты об этом. Это как ты захочешь, — обрадовался Бр тому, что слова Урны ему совершенно понятны. — Я могу устроить тебя в одно место, ты должна будешь придумывать образы.

— Радуга повисла, как Обломов, — сказала она безучастно.

— Вот именно, — все больше и больше радовался Бр. — Правда, этот образ понятен только русскому читателю, но ничего. Все образы заносятся в картотеку, — оживленно говорил он, — и потом, как бы тебе объяснить, писатели отбирают себе нужные, а использованные вычеркиваются.

— Понятно, — сказала Урна так же безучастно. — “Девушка, уступите мне та-та-та по знакомству. — Я еще раньше договорился с девушкой и та-та-та — мое. — К сожалению, та-та-та уже взяли, вам придется подыскать себе что-нибудь другое. — Ну, как же так, девушка!” А еще какой-нибудь нет работы? — спросила Урна.

— Еще? — задумался Бр. — Есть. Читать книжки и раскрашивать.

— Нет, я серьезно, — улыбнулась Урна.

— Это очень серьезная работа, — сказал он серьезно. — Тебе дадут коробку цветных карандашей, ты должна будешь внушить читателю отношение к тому, что уже написано в книжке. Предложение или даже

целый пассаж обводишь определенным цветом. Существует оценочная таблица. Например, “она протерла пыль на земле”. Как это понять? А ты обводишь это желтым карандашом, что коротко обозначает “нервы”. Постепенно читатель привыкает к цветовой таблице, и соотношение цветов ему точно указывает, как нужно относиться к тому или иному пассажи в книжке, ты слушаешь меня?

— Но кто же будет читать такие книги?

— Другой работы у меня нет.

— А на завод по выпуску облаков?

— Это то место, где ты смеялась?

Шел не первый час ночи.

Урна сняла с себя рубашку и повесила на спинку стула, потом сняла брюки и тоже повесила. Она постояла в колготках, но они были такие рваные, что через несколько секунд она вывалилась из них. В постели было холодно и дул ветер. Он задувал из правого угла и со страшной силой раскачивал волосики на ногах. Урна стала ерзать. Она подоткнула под себя одеяло, но углы его были мокрыми, и она с отвращением поджала под себя ноги. Подвинулась поближе к стене и почувствовала, как что-то кольнуло ее в бок. Она попыталась определить, что это, и определила — это была ужасная гадость, хлебные крошки; видимо, кто-то ел в постели. Она села на корточки, принялась стряхивать их, и тут оказалось, что под ней не простой матрас, а резиновый, из которого, как только она успела об этом подумать, выскочила пробка, и он со свистом сдулся. Урна вскрикнула, на ее крик пришел Бр.

— Почему ты сюда легла? — спросил он, увидя ее на матрасе. — Я же тебе постелил вон там. — Он взял ее за руку и подвел к очень женственной постели. — Что ты стоишь, ложись, — сказал он.

Урна села на край и заплакала.

— Ты что? — удивился Бр.

— Я хочу домой, — ответила она сквозь слезы.

— Ложись, ложись, сейчас поговорим, — он укрыл ее и сел рядом.

— Я хочу домой, — повторила она. — Зачем я тебе, отпусти меня.

— Не надо плакать. Я тебя не держу, но только ведь ты согласилась.

Урна заплакала еще сильнее, и Бр растерялся.

— Хорошо, — сказал он, — мы завтра все решим, но куда именно тебя отпустить?

— В библиотеку.

— Неужели тебе там могло понравиться, ведь это только черновик, — сказал он, — это место совершенно не прописано.

Урна упрямо повторила:

— В Ночную библиотеку.

— Я бы тебе все объяснил, но не хочется так, с бухты-баряхты, в конце ты все поймешь, — он, казалось, разговаривал сам с собой, — а потом к кому тебя отпустить? Ты хотя бы знаешь, как ты появилась на свет? Вот видишь, не знаешь, а плачешь и просишь, чтобы я тебя отпустил, куда, спрашивается? Ты просто легла не на ту постель и разверничалась, а эта постель хорошая, спи, Урна, тебе будет удобно.

— А сколько сейчас? — спросила она.

— Что сколько? — не понял он.

— Сколько времени?

— А, времени, сейчас посмотрим, сейчас, — Бр подошел к Изолле-Белле и приложил ухо, — ходят; я думал, встали, — и он сказал, сколько времени.

— Зачем ты ей часы прицепил? — возмутилась Урна.

— А что, плохо?

— Какая же у тебя гадость кругом, не подходи ко мне, — сказала Урна.

— Мы сейчас что-нибудь придумаем, пойдя умойся, — посоветовал Бр.

— Хотя бы водой, — съязвила она, — или может тут у вас кашей или бумагой умываются?

— Не злись, Урна, водой, я тебе полью.

— А водопровода нет?

— Лучше я полью.

— Лучше водопровод.

— Его нет.

— Дыра какая-то, — огрызнулась Урна и пошла вслед за Бр.

Но она умылась, и ей стало получше. Вернулась, легла и позвала Бр, чтобы как-то сказать ему. Но когда Бр вошел, она решила, что лучше скажет это утром. Бр закрыл дверь, и она недолго с кем-то разговаривала: “Ты есть хочешь? — Не хоч и тебе не советую. Я сплю. — Почему ты так сказал? Ты что, думаешь, я тебя есть с собой позову или ты меня убить хочешь? — Намазалась какой-то ерундой, вату к носу прилепила. Почему я тебя убить хочу, с чего ты взяла? — Тогда спокойной ночи. — Спокойной ночи”.

За стеклом была парикмахерская, огромная и неряшливая. Мастера работали у всех на виду. Они грубо мыли головы женщинам и мужчинам, и никто друг друга не знал. Урна подышала на стекло и написала: Урна.

Ей чудом удалось не заснуть, и когда Бр заснул, она нашла рисунок и сбежала.

Урна благополучно добралась до четвертой линии и там стала голосовать. Некоторые машины тормозили, но когда она говорила, куда ей, уезжали — и все. Тогда она пошла пешком. Ей хотелось поговорить хоть с кем-нибудь, и было о чем спросить, но люди не попадались, а только машины. Она подумала, что было бы неплохо не огибать все

эти здания, не переходить через дороги, рельсы, а пересечь всю колонию под землей. Она стала более внимательной, стала смотреть, не попадет ли какой-нибудь вход под землю. И скоро нашла то, что нужно. Спустилась вниз и разменяла деньги.

В вагоне было пусто, и напротив нее сидела собака с синяками под глазами, и рядом с собакой женщина с синяками под глазами, и рядом с женщиной — девочка с синяками под глазами.

Она вышла из метро и пошла по тротуару. Было тепло и сыро. У обочин тротуаров размокала спитая чайная заварка, валялось множество окурков, но не было ни одного человека. У перекрестка что-то загадочно блестело. Урна подбежала, дотронулась, это оказался плевок, и она покраснела от омерзения. Через некоторое время ее туфли размокли, словно их сварили. Пришлось скинуть их и идти босиком. Наконец она пришла. “Брысь!” — сказала Урна телефону, который попался ей под ноги, потому что стоял на полу. “Это я не вам,” — извинилась перед читателем, принявшим это на свой счет. Сразу поднялась на второй этаж и пошла в ванную. Там она стала мыть ноги, по очереди задирая их в раковину. Читатель, видимо, донес, потому что через несколько минут в ванной появился Сокра.

— Что же ты ничего не сказала, хотя бы позвонила, я бы встретил... Ты босиком шла? А туфли где?

— покорми меня, — попросила Урна.

— Конечно, — засуетился он, — а выпить хочешь?

Она кивнула.

Из ванной Урна крикнула:

— Принеси мне что-нибудь переодеться!

Сокра появился через несколько минут и сказал:

— Но там нет твоих вещей.

Урна рассердилась:

— Только не надо никакой мистики, посмотри получше.

Сокра долго не возвращался, а когда вернулся, то опять ничего не принес. Урна вышла голая, мокрая, “хотя бы вытрись”, открыла шкаф и стала искать. Она выбрасывала вещи Сокра, думая найти за ними свои, но там было пусто. Она почти обсохла.

— Черт знает что! Нет, ты иди сюда, — она подтолкнула к куче вещей Сокра. Пустые рукава рубашек и пустые брючины лежали в двух измерениях.

— Надень пока мое, — посоветовал он.

— Что твое, что? — все больше заводилась Урна. — Может, это? — и она растоптала майку.

— Как хочешь, — и он вышел из комнаты.

Она села на кучу белья и вспомнила о чемодане: как искала его в церкви, чтобы переодеться, как нашла под кроватью и даже не стала открывать.

— Прости, — обняла она Сокра на кухне, — все осталось там, я совсем забыла.

— Нельзя же так, — уже без обиды ответил он, — пойдй убери, я уже несу.

Из всего, что валялось, Урна слепила большой ком и откатила его в угол.

Они чокнулись.

— Ну, рассказывай, — сказал Сокра.

Постель, на которой они сидели, была несвежей, с дряблой простыней в ногах. Подушки лежали, прижав уши, готовые к побоям. Сокра курил, и пепел иногда падал на пододеяльник. Урна протянула ему блюдце, в которое стряхивала сама. “Что?” — не понял он. “Возьми, — но на полпути ее рука остановилась. — Ничего, как хочешь”.

Ничего не сказав, Сокра вышел из комнаты.

— Ты где, в туалете был? — спросил Урна, когда он вернулся.

— Нет, я высморкался.

— Я же слышала; что, это теперь называется высморкаться?

— Короче, рассказывать ты не хочешь?

— Почему не хочу, между прочим, могли меня устроить на работу: раскрашивать книжки.

— Ну, все, хватит, — резко перебил ее Сокра.

— Не верит! Обводишь желтым — обозначает нервы. Но я не согласилась. Или придумывать образы.

— Урна, бедненькая, что ты несешь! Ложись, давай-ка ложись.

Резко, как будильник, зазвонил телефон. Он стоял рядом с кроватью, и Урна, вскочив, нечаянно вляпалась в него. Линия разъединилась, зато Урна, совершенно распустившись, стала выпаливать сквозь слезы:

— А ты как думал, тебе все игрушки... а когда под тобой сдувается матрас, когда куклы, а брюками лес мыть, и еще... и еще неизвестно что, и когда я ничего-о-о о себе не знаю, да, ничего, с кем родилась, в чем? Нет, ты скажи, в чем главное, в чем родилась!

Само собой, через некоторое время она выдохлась и попросила воды. После первых торопливых глотков сказала:

— Поезд шел очень неровно и в тупике остановился, проехал немного назад, и тут я увидела чудовишную надпись на стене, ты не поверишь.

— Что именно? — спросил Сокра.

— Как ты думаешь?

— Дурак или что?

— Нет, не это, — сказала она.

— Дерьмо?

— Нет, там на стене висела табличка, представляешь, метро, туннель, рельсы и освещенная электрической лампой табличка: “женский туалет”, это было так чудовишно.

— Там была дверь? — спросил Сокра.

— Никакой двери. Стена и на стене табличка.

— Я не хочу оставлять тебя здесь одну, давай вместе спустимся вниз, я должен выдать несколько книг.

— Иди один, я не пойду, — сказала Урна.

— Почему?

— У меня голова грязная.

— Нормальная голова.

— Говорю же, не пойду.

— Ты любишь меня? — спросил он.

— При чем тут это, — сказала она.

— Ответь, пожалуйста.

— Да.

— Что “да”?

— Отстань, а? — сказала Урна.

Помолчали, а потом Урна спросила:

— Как расшифровывается “метро”?

— Наверное, никак, зачем расшифровывать? — удивился Сокра. — Так можно все расшифровывать: стол, мыло, еще...

— Что ты ворчишь, я просто спросила; никак, так никак, — она легла поверх одеяла и чем-то захрустела.

— Чем это ты хрустишь?

— Я? — тут же проглотила. — Ничем. — И это ее развеселило.

Посмеялись.

— А здесь было что-нибудь такое без меня? — спросила она.

— Такого ничего не было. Два раза топили камин. Одна девушка мне принесла цветы.

— А дрова где брали?

— Соседний дом в лесах, там немного.

— Красивые цветы?

— Красивые.

— Они внизу?

— Внизу.

— А девушка красивая?

— Красивая.

— Она внизу?

— Внизу.

Больше Урна ни о чем не спрашивала, но через некоторое время Сокра сам сказал:

— Сегодня в цирке повесился медведь. Прямо в клетке. Служащие утром вынули его из петли.

— Хочешь, я что-нибудь для тебя сделаю? — спросила Урна.

— Хочу.

— Хочешь, я никуда не уеду?

— Хочу.

— Хочешь, мы прямо сейчас ляжем?

— Хочу. — Он усмехнулся. — Мне пора спускаться вниз.

Урна зевнула, пробежала вдоль горизонта и, когда утром Бр зацарапался в дверь, сонно ответила:

— Ну, встаю.

Бр протиснулся в комнату и замер.

— Ничего не будет, — сказала она ему, — это исключено.

Он не уходил.

— Ты что, по-русски не понимаешь? — Урна привстала на локтях.

Он надавил на нее рукой, и подошла очередь, и русская продавщица, выругавшись глазами, протянула без пяти триста грамм чего-то, и следующему без пяти грамм чего-то, и следующему... со всех перекрестков доносилась русская речь, и могла быть война.

— Я бы съела котлету, — сказала Урна.

— Интересно, с чего ты проголодалась, и потом котлета не русское слово, — ответил он.

Шел год, месяц, число, снег.

Через час будет светать.

Читатели гасили лампы.

Снег подтаял, проступили черненькие корявые знаки. Наст под оком походил на плохо отпечатанный газетный лист.

Мысль Сокра передалась девушке, только что закрывшей книги. Подойдя к нему, она сказала: “Утро и газеты, вот гадость”. Он взял у нее из рук книги и взглядом проводил до двери. Когда все читатели ушли, Сокра поднялся наверх и обнаружил в постели еще теплую вмятинку от Урны, не дождавшей его. Он погладил вмятинку и вышел из библиотеки, цвета журнала “Весы” за 1909 год.

## V

— А бриться не будешь? — спросила Урна.

— Могу, — ответил Бр.

— Но не будешь.

— Если хочешь, побреюсь.

— Мне все равно, — Урна отхлебнула из чашки кофе и протянула ее Бр.

— Пей, пей, я не буду, — сказал он.

— Почему, у нас же общая чашка.

— Потом.

— Потом я все выпью.

— И хорошо, что выпьешь.

— А вообще в том, что ты меня сюда завез, что-то есть, — сказала Урна, — я не очень на тебя сержусь. Ты паутину потрогай; нарочно не снимаешь?

— И пауков нет, откуда она, — сказал Бр.

— Пауки есть, и я их видела, и не одного, и не двух, и не трех.

— И не трех?

— И не трех.

Бр взял Урну за руку и стал водить по ее ладони пальцем: сорокабелобока кашу варила, деток кормила, этому дала, этому дала...

— А этому не дала, — Урна увернулась от Бр, и он остался с носом. После обидного промаха он сказал:

— Все-таки ты жила раньше так себе.

— Почему, я хорошо жила, — сказала она. — Мы просыпались с Сокра днем, часа так в два, в три, пили крепкий чай, вино мы днем очень редко пили, не хотелось. Потом я варила щи, знаешь, что это такое?

— Ну, что?

— Они состоят из множества компонентов, но имеют один общий корень, например, петрушки, я как-нибудь сварю, попробуешь. Я варила в скороварке; это кастрюля, которая шипит и каждую секунду готова улететь. Потом мы разговаривали, или читали, или валялись — когда как. Ночью приходили читатели. Сокра спускался к ним, а я уходила гулять.

— И что, прямо на заборах, на стенах домов висят картины?

— Нет, с чего ты взял, никаких картин. Объявления, всякие нехорошие слова или просто тарабарщина.

— Помнишь, мы заходили в магазин, там у окон стояли люди и дышали, — сказал Бр.

— Почему это дышали? — удивилась Урна.

— Да, они очень тяжело дышали.

— А, это они отдыхали, — сказала она.

— Урна, а ведь я тебя стащил.

— Вернешь, надеюсь, — сказала она с улыбкой.

— И в вашем метро разрешают ездить медведям? — все не унился Бр.

— Разрешают.

— И они делают прямо в брюки?

— По пьянке у них случается. Иногда Сокра лежал поверх простыни, — не спеша рассказывала Урна, — и улыбался. Тогда обнажались редкие, как у папы, зубы. И я спрашивала: почему ты улыбаешься? А он, улыбаясь, отвечал: “А я не улыбаюсь”.

— И под простыней! — крикнул Бр.

— И под простыней, — продолжала спокойно Урна, — чаще всего ничего не происходило. Как на том свете, мы разглядывали друг друга и проверяли родинки на коже. Мы подтыкали простыню так, что дневной свет ни откуда не пробивался, и тогда наступал искусственный пятичасовой рассвет.

Постепенно церковь наполнилась солнцем, и внутри лампочек стали восклицательно щекотать вольфрамовые скелеты внутри пустеньких кукольных голов.

— Не надо, не надо, пусть, — остановила Урна Бр, когда тот хотел залепить окно большим пиджаком, — я хочу все рассмотреть, а ты показывай. — Она направилась к молочной бутылке и поставила возле нее дешевую свечку.

— Вот так мы живем, — сказал Бр и охлопал себя руками, и тут же попал в собственное пыльное сияние.

— У тебя сияние над головой, — сказала Урна.

— Спасибо, — ответил он, стараясь не двигаться.

— Здесь нужен не такой ответ, — сказала она.

Осматривая церковь, Урна предложила помыть полы, почистить решетки на окнах, выставить вторые рамы и выковырять из щелей плохую вату. “Как же все запущено, — повторила она, — так жить неприятно”. Бр ходил за ней по пятам и любовался. По ее просьбе он принес ведро с теплой водой и тряпку. Сел на стул в первом ряду и стал наблюдать. Сначала Урна была веселой. С засученными рукавами она прыгала по полу и оттирала доски, подпрыгивая высоко и плашмя приземляясь. Но как-то по неосторожности ее палец попал в расщелину между досок, и те больно его прикусили. Урна села на пол и замукала. И опять началось все сначала, словно не было ни паутины, ни сияния: “му-му-му, му-му-му, отпусти, куда, не знаю, к кому, не знаю, только не здесь, ть-фу, какая гадость, ну, и что, что черновик, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ах, раз так!”

Бр кое-как подобрал грязь, какую развела Урна на полу, набросился на окно, наорал на него и заткнул совсем. А между тем она вымыла руки, переделалась в чистый плащ, и, провалившись все пропадом, провалилась в кресло. По писку было ясно, что на сырость прилетел комар, все стихло, тишина цапнула, и уже через секунду писк зачесался. Безобразно расчесывая волдырь, она начала:

— Видел рака-отшельника? Отвечай, видел? Так вот, — облегченно вздохнула она, — мы одного такого поймали с Сокра. На берегу он долго сопротивлялся и не хотел выходить из ракушки. Тогда я положила ракушку на солнце, его там припекло, и он высунулся. А только я хотела схватить — нырнул. Я его мучила страшно долго. Наконец, одурев от жары, он потерял осматрительность, и я его вытащила за лапку. Какой же это был урод! Из смышленного и юркого он превратился в беременную козявку, и такую неповоротливую, что, сколько я ей ни помогала пальцем или прутиком, она не могла забраться в свою ракушку. От этой несчастной возни меня стошнило, слава богу, в кустах, куда я успела отбежать.

— Хорошо, — сказал Бр, уклоняясь от ответа, — я что-нибудь придумаю.

## VI

— Ну, иди открывай, — сказал Бр.

— А кто там? — встревожилась Урна.

— Ты же просила, чтобы я что-нибудь придумал, — неопределенно ответил он.

— А почему, собственно, я “иди открывай”?

— Ты же просила; мне-то никто, кроме тебя, не нужен.

— Мало ли, кто там, — все еще не решалась Урна.

— Вот и посмотришь, — спокойно сказал Бр.

— Вот и посмотри, — она встала и направилась к двери.

То, что она увидела, страшно ее рассмешило. “Ах, вот оно что, — повторяла и пятилась назад, — ну-ну”. Вернулась и села в кресло, выбрав самую неудобную позу, решила вообще ничего не говорить, сидеть и все: “мне-то какое дело”. Таковую реакцию Бр тоже предвидел.

— Вы тут поговорите, а я пока, — он двинулся из комнаты, — там постою.

За горизонтом небо было засижено самолетами, а по эту сторону горизонта сидели две женщины, и все, что они могли сказать, было заранее известно. А поэтому не стоило тянуть время. Урна это первая заметила и первая сказала:

— Не будем тянуть время.

— Вам нравятся его киги, — живо откликнулась та.

— Мне называли ваше имя, — сказала Урна, — очень красивое, только я забыла.

— Тамара Таракан.

— Да-да, теперь вспомнила, — почему-то обрадовалась Урна.

— Мне в одной книге у него понравилось одно место, — сказала Тамара Таракан. — Сидят двое: мужчина и женщина, и там, значит, так: казалось, она была создана письменно, а он — устно.

— Это не интересно, — сказала Урна, — я об этом больше знаю, это обо мне.

— Понимаете, это не может быть ни о ком, ни о вас, ни обо мне, это образ, это самостоятельное явление, нет, не явление, а как же сказать, — она запуталась и смутилась.

— Это обо мне, — упрямо сказала Урна, — все его книги обо мне. А Ночная библиотека — черновик.

Но собеседница ее не слушала, твердила свое:

— Очень странные диалоги, построены по принципу “дефиса”, то есть слова, в прошлом или совсем не родственники или вода на киселе, соединяются черточкой и становятся вдруг самыми близкими.

— Не понимаю, — сказала Урна, потому что не следила.

— Ну как же, помните? — с превосходством начала Тамара Таракан, потому что она помнила, а Урна — нет. — “А в чем ты родился? — а с кем ты родилась, — это не мой вопрос, — и не мой”.

— Все не то, — сказала Урна, — все не то. Вы, конечно, понимаете, как написано, но не понимаете о чем. А речь идет о лете. И чтобы узнать, родственны слова или не родственны, нужно выделить у них корень, а лето самое подходящее время для этого. Вот и все. Отсюда и

диалоги, и остальное. Например, из всего немецкого словарного запаса для обращения к любимому я бы выбрала: Der Einzige und seine Eigentum, а смысл этой фразы мне не важен, потому что, подклеивая Штирнера, Сокра глухо и совершенно равнодушно прочитал название, и, может, мне только показалось, но, может, и нет, но я ответила: “И я тебя тоже люблю”, и он не удивился, значит, не показалось.

Рамкой акварели служило сиденье для унитаза, не новое, но вполне приличное и для унитаза.

— Я об этом не подумала, — сказала Тамара Таракан.

— Глядя на вас, мне все кажется, что вам дует в голову, — сказала Урна.

— Я должна аккуратно обращаться с головой, может перегореть вольфрамовая нить.

— На вас тратят деньги мужчины? — спросила Урна. — У вас красивая грудь.

— Летом? — разволновалась Тамара Таракан.

— Она у вас круглая круглый год?

— Летом! — уже ничего не соображая, ответила та.

— А я думала, круглый год, — сказала Урна.

— Зачем ты так? — сказал Бр, когда они с Урной остались вдвоем.

— Все равно неудачно, и главное, ничего не меняет.

— А я думал, тебе приятно будет поговорить.

— А мне вот неприятно, — отрезала Урна.

— Ну что же, Урна, ты права, это ничего не меняет, и ты останешься здесь. Хочешь, ревнуй меня, хочешь, нет, но для ревности она вполне подходит, как тебе кажется?

— Что, тебя к ней, — ухмыльнулась Урна.

Бр подошел к Урне и обнял ее.

— Не надо так говорить, — сказал он, — сегодня — санитарный день и улицы пустынные, закрыты магазины, ничего не продается, и можно свободно гулять и читать вывески: санитарный день, санитарный день.

— Ну, что ты говоришь! И тут еще эта, — Урна кивнула на кукол вообще, — приходит. Все меня развлекаешь?

— Нет, Урна, мы уже живем, — сказал Бр.

Еще несколько часов подряд они сидели и чистили друг друга в полном молчании. Потом Урна покрасила ногти.

— А что, разве меня нельзя ревновать? — ни с того, ни с сего спросил Бр.

— Что ты за человек! — сказала она, забыв, что он не человек, и испугалась сказанного.

Но Бр, кажется, не придавал этому никакого значения, а только переспросил:

— Значит, нет?

— Кто-то, наверное, может, только не я, — ответил Урна.

— Не ты?

— Не я.

— Кажется, понял, почему! Кажется, понял, — и он хотел сказать, что именно он понял.

— Не говори! — вскрикнула Урна.

— Нет, я скажу, — сказал он.

— Не говори, — взмолилась она, — я попробую, но, может, не к ней? — попросила умоляюще.

— Другой у меня нет, — сказал Бр.

В санитарный день они вышли поздно. И на ближайшем доме Урна прочла смазливое объявление. Кто-то менял комнату восемнадцати с половиной метров в общей квартире и даже не на первом этаже, и не на последнем. Видимо, с солидной ванной. Слово “общая” ей особенно понравилось, она повернулась к Бр и сказала:

— Давай, давай ее получим, поменяем, или как это делается.

Ей чем-то приглянулась эта квартира, вдоволь наполненная людьми.

— Нельзя, — спокойно ответил он, — мне нельзя, я должен жить там, — и он показал на церковь.

— Ты будешь счастлив со мной, — лепетала Урна, — я тебе клянусь, в этой комнате, в общей квартире, сделай это. Я что-то припоминаю, когда-то такое уже было, я хочу повторения.

— Нет, — покачал он головой.

Она еще немного попричитала и затихла.

А день был действительно чистый. Больные деревья аккуратно перевязаны. В дорогих красивых оправках плыли облака, и лужи имели правильную форму. Меланхолическая корова заела сено черемухой, и от нее запахло черемухой, глаза устали и поползли на четвереньках.

## VII

— Все очень просто, — сказал Бр, — все очень просто. Сначала тебя не было. Это простительно. Потом я узнал, что ты есть. И какая чушь, что героиня должна быть с героем, а не с автором, и я подумал, пусть лучше с автором, то есть со мной, так даже лучше, нет, курить я не буду, нет, не потому что церковь. А дальше, твой Сокра, то есть мой герой, думает, что ты с ним, и он прав. А ты со мной, налить тебе? Видишь, я не записываю “налить тебе”, а на самом деле к тебе обращаюсь, так налить? Налью. И герой оказался в дураках. Ты со мной. У нас с тобой свидание. Автор сидит со своей героиней, это происходит на самом деле, — от этой мысли Бр совершенно одурел, — ты только никому не говори.

— Пьяный ты еще хуже, — отвернулась Урна.

— Урна, Урна, ты не то говоришь! Это первое свидание автора с героиней, я напился, конечно, по-свински, то есть выпил немного, я

не должен был... не ты моя героиня, я твой автор, а мы сидим запросто и я могу до тебя дотронуться, Урна!

— Отстань же, — отвернулась резко.

— Я не буду, но я могу. Поцелуй меня сама!

— Нет.

— Я хочу, чтобы ты сама, Урна, не чтобы я написал “поцеловала”, и так бы и было, а чтобы ты сама.

— Ты получаешь зарплату два раза в месяц?

— Два. Первый раз по-маленькому, второй — по-большому.

— Ты мне мог бы дать немного денег, займа, конечно? — спросила Урна.

— Конечно. Конечно. Мне приятно, моя же героиня просит у меня же деньги, у меня в голове сейчас концерт для скрипки Моцарта, играет какой-то немец, ты слышишь его?

— Нет, не слышу. — Урна подошла к стене и прочитала стишок:

*Андрей Белый ест ананас спелый,*

*Саша Черный — гнилью моченный,* —

она не поняла и вернулась на место.

— Ты прочитала, — почему-то воспрянул Бр, — да, по-моему, конкретность здесь уместнее: не просто белый, а Андрей Белый, не просто черный, а Саша Черный. Но сейчас такая минута, Урна! Мне нравится плакат: “Осторожно, высокое напряжение, опасно для жизни!”

Бр отрубился и заснул. Он спал так, что из Пушкина не разбудишь. Урна воспользовалась этим и позвонила Сокра. И через минуту она уже с ним говорила, и через пять минут он уже был в метро.

Он передохнул на пустом сиденье, пока не услышал: “Станция Спортивная, следующая станция Спортивнее”. Он вышел на той станции, что была еще спортивнее предыдущей, и ничего нового на ней не увидел. По реке плыли щелки и козявки Танги, круто летали птицы. По усеченному мосту он перешел на другую сторону.

Замечательно сидела Урна в тылу, на самой дальней скамейке, и слушала одного ублюдка. Сокра посмотрел-посмотрел издали, а потом подошел. Рядом на траве сидели четверо, среди них была девочка, полный завал, они играли в бутылочку и целовались маленькими порциями.

Урна тоже сказала “здравствуй”, и они обнялись с Сокра. Тот ублюдок сунулся в компанию, на скамейке стало совсем свободно, и Сокра развалился.

— Ты так долго не приходила “по кочану” или почему-то другому? — спросил он.

— По кочану, — ответила она.

— Понятно, — сказал он, — и чем же вы с ним занимались?

— А там не так плохо, — сказала Урна, — грязно, конечно, и все такое, нет книг, даже нет водопровода.

Сокра рванул ее к себе и чокнул о скамейку.

— Ты что, с ума сошел! — вскрикнула Урна. Та девочка, что полный завал, повернулась и погрозила им бутылкой. — Совсем с ума сошел, я с ним даже не спала. — И она потеряла ушибленное место. — Больно ведь, мы спим в разных комнатах, если хочешь знать.

— Урна! — сказал Сокра громко, как дурак. — Ты с ним не спала! Тут уже обернулась вся компания.

— Тише, — попросила Урна, — тише, ты.

— Ты что, из-за них? — удивился он. — Ты их стесняешься?

Подошел к компании, выдернул бутылку и отдал ее Урне.

— Это тебе в подарок, — сказал.

“А целоваться!” — мяукнул ублюдок.

— Давай зайдем к нам, хотя бы на минуту, — попросил Сокра, — я так соскучился.

— Очень мало времени, — сказала Урна, — может быть, здесь?

— Нет, не здесь.

Она сама поцеловала его.

— Меня кто-то кусает, — сказала Урна.

— Комары? — спросил Сокра.

— Чешется вот здесь, — сказала Урна.

— Может, клоп? — предположил Сокра.

— И здесь чешется, — опять сказала Урна.

— Это комары, — установил Сокра.

— Ты что, больше никого не знаешь, только комаров да клопов? — зачем-то рассердилась Урна.

Сокра не обратил внимания и сказал:

— Какой неприятный слепок, — он показал Урне на гипсовую голову, высывающуюся из кустов.

— А кто это? — спросила Урна.

— Я пойду прикрою его чем-нибудь — это Сократ. — Сокра накрыл его сверху платком, и тот стал похож на фотографа.

— Лучше его убрать, — сказала Урна, — а то как будто он нас фотографирует.

— Пусть фотографирует, — отмахнулся Сокра.

Тыл был наполнен случайными вещами, и даже стояла раскладушка.

— Он пьет? — спросил Сокра.

— Кто? — не поняла Урна.

— Ну, этот, бутылка.

— Как ты его смешно называешь, — улыбнулась Урна, — он не бутылка, но он иногда пьет. И ночью меня кусали, — опять вспомнила Урна про старое, — там сырость, в церкви, поэтому комары. Ты спрашивал, что мне снилось: летит со звоном самолет, кусает и улетает, как комар, а потом летит комар, приземляется, тоже кусает и улетает, как самолет. И так всю ночь. Там и самолеты тоже летают, в той стороне аэродром.

— Ты устала, — сказал Сокра, — можешь прилечь.

- На раскладушку? — спросила Урна.
- А я с тобой посижу, — добавил он, — вдвоем на ней тесно.
- Хорошо, — послушалась Урна. Расправила плащ и легла. — Неужели он думает, — вспомнила она о Бр, — что все это есть на самом деле: и тыл, и скамейка, и памятник, и раскладушка?
- Но ведь ты лежишь на раскладушке в тылу, а рядом скамейка и памятник, — сказал Сокра.
- Все равно не верится, — сказала Урна.
- Я тебя провожу туда, — предложил Сокра.
- Нет, тебе туда не надо. Он будет недоволен, мой автор, — усмехнулась она.
- Наш автор, — заметил ей в тон Сокра.
- Я и так надолго ушла, — сказала Урна, — он выпил немного, его тоже можно понять, первое свидание, он хотел потрогать меня, в чем-то там убедиться, но у него такие маленькие ручки.
- Не думай об этом, — сказал Сокра, — я буду приходить сюда, в тыл, и ты приходи, когда сможешь.
- А что-нибудь осталось в библиотеке из моих вещей? — спросила Урна.
- Только одно платье, — ответил Сокра.
- Под которым ничего нет? — спросила Урна.
- Оно. — Это было платье, которое Урна надевала на голое тело и поэтому называла платьем, под которым ничего нет.
- А ведь так все живут, — Урна посмотрела наискосок, — все-все.
- Не мы одни?
- Не мы одни, — ответила Урна.
- И они тоже? — показал Сокра на компанию, оставшуюся без бутылки.
- Точно так же. Их автор живет в блочном доме, — сказала Урна.
- Почему ты так думаешь? — засмеялся Сокра.
- А почему бы и нет. Ну, все, пора идти, я встаю.
- Вставай, — сказал он.
- А может, за одну минутку? — сама предложила Урна.
- За эту минутку особенно много влаги скопилось под ногтями, да так она и засохла там, образовав подобие корысти, которая была известна Урне из сказки о золотой рыбке (в корыте много ль корысти?), то есть она думала, что мыльная пена после стирки и называется корыстью, что именно ее старухе не хватало.
- Урна, как кубик, простучала каблукими, подошла к кровати, где лежал Бр, и села рядом.
- Пришла, — он осторожно погладил ее по голове.
- Я тут выходила, — начала она врать.
- Я знаю, — он не дал ей договорить, — я тебе сейчас покажу речку.
- Там дождь, — сказала Урна.

— Она мелкая, — продолжал Бр, — и в дождь особенно хорошо ловятся бутылки из-под шампанского.

— Я там была, — сказала Урна.

— Там холоднее, чем здесь, и не кусают комары, потому что от холода у них не стоит, — пошутил Бр.

— И знаешь, еще почему я там была?

— То есть по каким признакам?

— Ты меня не слушаешь, — произнесли они одновременно и, взявшись за черное, загадали счастье и сказали друг другу, когда оно исполнится. И двадцатого июня они ходили вдоль и добились ту стаю комаров, которую не добились при Ватерлоо, и длинными прутьями, подражая Ватто, рисовали на воде женские головки, которые зимой шли с молотка, и когда за забором в одной песне кончились слова, они добавили свои.

— Зря ты меня выбрал, несмотря ни на что, — сказала она.

Бр обвел Урну взглядом и выбрал ее руку.

— Ты потом вернешься в библиотеку, — сказал он.

— Когда? Когда буду старше? — спросила она.

— Нет, еще позже, — ответил он.

— Ах вот когда, — догадалась она, — значит, когда умру.

— Не бойся, — сказал Бр, — мы так много знаем о том свете: отражения, например, что это уже не страшно.

— Неужели только тогда?

— Тебе кажется, что ты всегда жила в Ночной библиотеке, да? Я тебя оттуда стащил, но я тебя туда и верну.

— Я, может быть, буду тебя любить, — сказала Урна.

— Конечно, — ответил Бр.

— Я, может быть, буду любить только тебя, — сказала Урна.

— Конечно, — сказал Бр.

— Ты говоришь, на-ка, мой конь, ешь. Да? — спросила Урна.

— Да, — ответил он, — откуда ты знаешь?

— Я же говорю, что уже была у этой реки. У тебя в церкви на стекле так тонко нарисовано пером или ногтем, чем? Был художник Гис, он так рисовал кареты, — сказала Урна.

— Это не он нарисовал, — сказал Бр, — как-то само собой. Помоему, там всегда это было.

— У тебя, наверное, нет пупка, — сказала Урна, — я люблю, когда пупки вогнутые, а не выпуклые.

— Пожалуйста, смотри, — Бр задрал рубашку. Она покосилась туда. Он смутился ее взгляда и опустил рубашку.

— У меня такой, как я люблю, — сказала она, — могу показать.

— Не надо, — остановил ее Бр, — и вообще лучше вернуться.

— И что мы там будем делать? — спросила Урна.

— А ты сама скажи.

— Тебе нравится, когда это говорят? — не унималась она.

— Если это говоришь ты, — ответил Бр.

— Разве ты слышал, как я это говорю?

— Я долго подглядывал за тобой, как ты правильно заметила, и подглядывал и подслушивал.

После прилива на обратной стороне луны ясно выделился царский орел и даже год: ча-тьсот-двадцатый, и девушки оттуда все отсылали открытки — Ея высокоблагородию с видом Бахчисарая или Эссентуков, обводя источник. Она говорила что-то про братцев, только проплатывая “р”, так жарко, так разнузданно, что в ее мелком рту скопилось слюна, и, когда она повторила это, слюна перевалила через нижнюю губу, и Бр позволил себе вытереть ее рот. И пока они шли к церкви, доносился похоронный марш с блаженным оттенком.

На женственную постель пришлось плюнуть — она была далеко, сползли на пол, чтобы сейчас же потрогать все друг у друга. Ему ужасно все понравилось и особенно то, о чем он только догадывался, что это есть, и особенно то, что он даже не мог предположить, а ей было так непротивно все делать.

И вдруг Урна рассердилась.

— Почему нельзя? — удивился он.

— У меня опасные дни, — она отвернулась, и ему стало ее жалко.

— Что значит “опасные”, — сказал он и погладил Урну, — неужели ты думаешь, что от этого правда бывает? Я, например, сам сделал Тамару Таракан и других тоже, ты видела, а то, что ты говоришь, этого не может быть. — Она оттолкнула его и съезжилась. — Мне даже интересно, — продолжал он, — где ты это слышала, кто тебе мог это сказать. Святить бутылки, это другое дело, а то, что ты говоришь... Ах, все так говорят, — рассмеялся он, — вот посмотришь, что это неправда. — Бр перенес Урну на постель и дал ей сигарету. Она закурила очень жадно и вдруг окончательно успокоилась.

— А ничего не будет, — так запросто подняла глаза.

— Вот видишь, ты уже в это не веришь, — сказал он.

— Вообще я верю, — сказала она, — но про опасные дни я сказала на всякий случай, понимаешь? — она вызывающе улыбнулась. — Сейчас у меня другие дни. Сам все увидишь, — она устало потянулась и откинула голову.

— А я тебе не верю, — сказал он.

— Как хочешь, — ответила Урна.

Бр принес ее чемодан и стал рассматривать вещи, которые она там хранила. Он достал чулки и спросил:

— Это чулки?

Она ответила на этот приятный вопрос, но когда он попросил: “Померяй”, — она покачала головой.

— Тебе неприятно? — допытывался он.

— А зачем? — не понимала она. — Например, чулки, например, пояс, это не имеет к тебе отношения, это мое белье.

Его извлекло слово “белье”, и он попросил Урну повторить его еще. После того, как он увидел вечером кусочек ее ваты, ему пришла в голову мысль расшерстить законную плохую вату, и ему это удалось.

Утром Бр ускользнул от прихожан и прешел к Урне прямо в пальто. Пронес, и они заперлись, устроившись вдвоем на женственной постели.

— А кстати, сколько времени? — спросила Урна.

— У нас есть время, — ответил он, — мне надо выйти в одиннадцать, — и он повис над ней.

У нее пересохла нижняя губа и подвернулся язык. Она совсем раскисла под ним. Было очевидно, что ей жала обувь, в которой она ходила, и что она уже выросла из чулок и отстающих платьев.

— Тебе нравится в одежде? — спросил он.

Она лезла целоваться и не давала ничего сказать. Она потащила его к концу кровати и там стала показывать отпечатки. Она вертела головой и бубнила все подряд. Он показал ей разные темные места, и одно из них ее рассмешило. Глаза захлопнулись. Она тут же собрала в ладонь, выбрала все витамины, а остальное выгтерла.

## VIII

— Хорошо бы сесть в поезд, — сказала Урна.

— Мы сядем, — сказал Бр.

— А у вас здесь ходят поезда? — спросила она.

— Ходят.

— И куда же мы поедем? — спросила она.

— Может быть, за Кудыкины годы? — предположил он.

Ей понравилась эта простая мысль, и она спросила:

— И что же мы с собой возьмем?

— Возьмем с собой, значит, так: твой чемодан и вино. Мы уедем сегодня же.

Бр принес две бутылки с покатыми, как у Гончаровой, плечами. В двухместном купе между стаканами вина Урна отворачивалась от надписи на стекле “geschlossen im winterperiod” и делала в удобный ручкомойник, что нужно. Потом она заснула, и ей приснилось стихотворение, которое она приняла за ахматовское. Оно снилось дважды: первый раз, пока не вспомнилось с та-та-та, и второй раз целиком.

*И будить мне не хочется брата.*

*Та-та-та-та та-та-та та-та-та-та дней...*

*Вижу, к морю купаться ведут лошадей,*

*Но не знаю заливу названья.*

За Кудыкиными горами море было таким, словно старуха попросила еще только корытто. По берегу ходили хозяйки и дикари. На камнях сидели крабы, пускали пузыри и быстро-быстро, как китайцы, ели.

— И у нас будет хозяйка? — спросила Урна.

— Пойдем, пойдем, — поторопил ее Бр.

Каменный куб и еще один камень образовывали пещеру. Пол был выстлан травой, и валялись два окурка.

— Что, здесь? — огляделась она.

— Мы здесь будем жить, — скаал Бр.

— А спать на чем? — спросила Урна.

— Сейчас что-нибудь найдем.

— Ну-ка, ну-ка, рот у тебя нахнет портвейном! — погрезила пальцем Урна.

— Нет, это от горы, — отвернулся Бр. — Только тут жить нельзя, поэтому, если спросят, то мы тут не живем.

— А под тем камнем, где вмятина, там тоже живут? — поинтересовалась Урна.

— Там живут сидя, — ответил он.

Бр отправился искать что-нибудь, на чем можно спать, а Урна разложила по углам вещи и села у порога. Ей было уже много лет, конечно, не тридцать, но ее глаза вычитали. Она взяла острую палку и почистила после дороги ногти. Бр был, конечно, старый, у него почти стерся один нижний зуб. Геральдический знак на груди в двух местах поседел, а спина была белой и тощей. Но ей так понравилось делать все именно с ним, что от нечего делать она вползла в глубь пещеры и стала смотреть на искривленную русскую церковь из воздуха, которая служила входом.

Бр пришел с одеялом, мокрым в нескольких местах.

— Оно рваное, из него торчит вата, — брезгливо дотронулась Урна.

— Это ничего, — сказал Бр, — оно высохнет, а подушку сделаем из твоих платьев, или что там у тебя в чемодане?

Урна показала на вещи, разложенные по углам.

В чемодане оказался надувной матрас, и как только она надула его и легла, он стал скрипеть, как сугроб. В пещере было много мух, и среди них — одна блондинка. Мухи постоянно жужжали и совокуплялись.

— Не беспокойся, — сказал Бр, — я их сейчас уведу. — Он помянул их грязной бумажкой, и вся стая вылетела за ним.

— Мы будем такие же бестелесные на том свете, как рачки, — сказала Урна.

— Ты видела их сегодня? — спросил Бр. — Я же говорил, как много мы знаем о том свете. У этих рачков прозрачное мясо, они похожи на кусочки целлофана. — Бр швырнул бумажку в угол. — Вот и нет мух, — сказал он.

— Ты не хочешь домой? — спросила Урна.

— Это все равно что у пребывающего в раю спросить, хочет ли он в мир.

— А я хочу, — сказала Урна, — мне скучно в раю.

— Не понимаю, — сказал Бр.

— Я ведь должна делать все то же самое, — пояснила она, — кажется, сейчас время ужина, что бы ты хотел на ужин?

— Можно мидий с картошкой, — сказал он.

— Чтобы жемчуг хрустел на зубах, — сказала она недовольно.

— Жемчуг я выберу, — сказал Бр.

Урна почистила картошку и прочитала стихотворение.

— Неплохое, — сказал Бр, — и полная противоположность тому, что ты только что говорила.

— Ночью будет каменный гость, — сказала Урна.

— Ты про блошек? Их много в камнях, в пещере тем более. Но ведь мы спим не все время, а только восемь часов.

— Я больше, чем восемь, — сказала Урна. — Зачем это рвут терновник, он же вяжет рот? — удивилась она.

— Затем, чтобы вязать рот, — отгрызнулся Бр.

— Раз ты злишься, — спокойно сказала она, — будем спать валетом.

— А может, дамой и валетом? — хотел примириться Бр.

К завтраку был дождь. Бр надел на пещеру большой целлофановый пакет, и капли стали шелкать по нему.

— Ну, и что же будем делать? — спросила Урна.

— Будем лежать на матрасе, — ответил Бр.

Она взяла с пола сухую травинку и расковыряла зуб.

— Покажи язык, — приказал он.

Урна показала. На языке была кровь. Он отобрал соломинку и разломал ее.

— И сколько уже мы здесь лет? — спросила она, слотнув слюну.

— Скорее всего, пять, но, может, и шесть, — ответил Бр.

— Все мои вещи грязные, — сказала она. — Не хочешь чай с сахаром? — Она достала примус и вскипятила воду. — А теперь я хочу есть, — сказала Урна после первых глотков чая. — Помнишь, как у того поэта, который мне снился: “По фантастическим законам не вспоминается еда”.

— Что ты еще помнишь о мире? — спросил Бр.

— Я? — сказала Урна. — Например, округлость лета. Оно начиналось колготками на дереве, вместо флага, и открытой форточкой, выходящей на них, и кончалось — открытой форточкой, выходящей на пустое дерево, потому что их, видимо, снесло.

— Это ты называешь округлостью, — сказал Бр. — Ты пожалеешь, когда вернешься в библиотеку.

— Я знаю, — ответила она. — И еще летом, за двадцать дней до осени, в комнате стало совсем темно и первым послышался голосок: “А теперь как будто зима”, — и за голоском голос: “Это не зима, это скоро будет дождь, поэтому так темно”. Голосок: “Я чувствую, завтра мы не увидимся из-за этого вводного предложения, не надо, не приставай”; голос: “Это я вчера ехал на речном трамвае, который больше приставал, чем ехал”.

- И почему пожалелась, тоже знаешь? -- опять спросил Бр.
- Потому что там я буду жить, когда умру? -- безразлично спросила Урна.
- Потому что ты там будешь жить всегда, -- ответил он.
- А если я не хочу? -- сказала она.
- Через "не хочу", -- выплеснул Бр остатки чая.
- Спасибо, -- сказала она.
- А что у нас сегодня на ужин? -- заискивающе спросил Бр. -- Картошка в мундире? Тогда я съем мундир, а ты картошку, не сердись больше?
- Почему в ушах звенит? -- спросила Урна.
- Чтобы загадать желание, -- ответил Бр.
- И ты думаешь, что я буду тебя любить? -- спросила она.
- И когда голова была пустая, слышно было, как ходят трамваи? -- переспросил он.
- Да, только в этом случае, -- ответила Урна. -- Давай уберем все из пещеры, как будто нас здесь никогда и не было. Даже не оставим никаких следов.
- А где мы тогда были в это время? -- спросил Бр.
- В то, которое нужно уточнить? Какой час?
- Второй трамвай ночи, -- ответил он.

## IX

В толпе произносили ее имя, и, хотя речь шла не о ней, она вздрагивала.

Был огромный день, его заученные формы радовали глаз. Памятник был закрыт на ремонт, голуби садились на фанеру и равномерно выдавливали белила, которые быстро подсыхали под солнцем, которое зачеркнуло две улицы, чтобы легче было ориентироваться.

Урна вошла в библиотеку на высоких каблуках. В зале, где не было никаких подробностей, она села на стул. Она нажала на стол, но ничего не произошло. Тогда она встала и сдернула с себя туфли, она содрала куртку и размазала ее по полу, она отлепила все остальное и позвала на помощь. Было тихо, и скоро ей стало холодно. Тогда она перевернулась и увидела, что несколько сот лет назад по улицам, соседствующим с гильотиной, ходили, как по свежеевыкрашенному полу. Так она дошла до северного окна. Незагоревшие трусики и лифчик все же грели. Кое-что она там съела, а поблагодарить было некого. Дело в том, что в этом доме была газовая плита и оставалась ровно одна спичка, и в 1833 году они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года, и в 1982 году они тоже жили в ветхой землянке, и ему было ровно тридцать лет, а ей -- три года, и когда об этом узнали, его посадили в тюрьму, ее отправили в детскую колонию. Допустим, Урна любит Сокра и говорит ему, что линия между желудком и попом очень краси-

ва, а он говорит, что в астральном смысле это ничего не значит, а только в анальном. Посмотрите, какая дрянь: скамейки засижены бабушками и детьми, на потолке вялые отражения и коляски пустые.

Выйдя из библиотеки, Урна пошла в обход. Случайно зацепилась за один переулочек, но ничего не порвала. Там продавали мясо, его разбирали в две очереди: сверху и снизу. Сверху бесшумно стояли мухи. В почтовом ящике не было писем, но лежал писвок, а господин Плевако в минуту выиграл дело отца Николая, и теперь тот был в раю. Растения готовились к зиме.

Планетарий был отгорожен от мира непроходимым забором, но две доски удалось выломать. По одну сторону забора доживали звери и стояла касса, а по другую стоял глобус и два ящика. На глобусе размокла бумага и отлипала по меридианам; на одном из ящиков сидел Сокра и поджидал Урну. Он мог вычислить ее талию, потому что формула была ему известна, остального он не знал.

Он заметил, что в книге очень много дат. Он поднялся навстречу Урне, и через минуту они вместе уже сидели на ящике.

— Приехала, — сказала она и понюхала его затылок.

На ней были маленькие светлые чулки, и под ногтями было чисто.

— Ты уже помылась с дороги?

Она улыбнулась в ответ.

Он улыбнулся в ответ, по плечу меня с лаской ударя, я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя.

— Вы, конечно, потеряли шляпу? — сказал Сокра.

— Потеряли, но сочинили стихотворение, — сказала Урна, как бы оправдываясь.

— Потом прочитаешь.

Она недосчиталась одной ямки на его лице. Он ответил, что не знает, где она. Она встала на ящик и увидела и отвернулась.

— Сядь, — сказал Сокра, — у нас мало времени, я тороплюсь.

Урна села и стала выглядеть лучше.

Потом наступили сумерки, их могли видеть все: и дальноторкие, и близоторкие, и за ящиками, и за всеми оградами стало пусто и приятно.

— Ты можешь мне говорить все, что ты хочешь, и никто не догадается, что мы говорили и делали здесь самое плохое, — сказала она.

— То есть самое хорошее, — сказал он.

В бедной обстановке планетария с дешевыми кустами и дорожка среди яблонь без яблок. У нее выпали самые длинные волосы.

После этого они легли вместе, но для сна он не годился, потому что был неудобным предметом, состоящий из острых углов, и ему с ней было плохо, она раздражала его. Они взяли себе по ящику и легли в разных углах планетария. Когда его обдало луной, он крикнул ей: “Ты меня любишь?” Ответа не последовало. Он успокоился, это значило, что ей было хорошо и она спала. Она испугалась этого крика, ей захотелось, чтобы у нее была мама, она задела рукой землю и тихонько прочитала:

Мы потеряли шляпу у мыса Меганон,  
просили капитана, чтоб он ее достал,  
но он нам нелюбезно сказал: “пошли вы на...”  
Когда мы пили кофе и говорили о ...  
Оно к нам, между прочим, по морю приплыло.

Утром они составили ящики вместе, поправили доски и попрощались, он больно укусил ее в голову. Кожа, обтягивающая череп, была очень тонкой и сильно натянутой. Он допустил несколько стилистических ошибок, объясняясь в любви, он не поверил, и правильно сделал, что она придет сюда и на следующий день. Она поклонилась ему.

В церкви Урну вырвало.

Бр целовал ее вспухший грязный рот, и она даже не отталкивала его.

— Что ты ела? — добивался он.

В ответ она мотала головой. Он подтирал нащепки, которые она делала на полу, и успокаивал:

— Сейчас, сейчас все пройдет.

Бр пересадил Урну поближе к умывальнику и накрыл ей ноги полотенцем. Она с благодарностью посмотрела на него, и ее снова вырвало. В ней помешалось столько рвоты, что это его даже удивило.

Потом ее стало нести. Ее пронесло через маленькое отверстие, и вдруг понесло холодом через щели, и она съжилась и попросила, чтобы он одел ее теплее.

Когда вся она очистилась и открыла рот, показались передние зубы, и за их белым цветом наступила зима.

## Х

Они жили очень уединенно. Они обили дверь. Только по утрам их покой нарушали прихожане. Чтобы Урну не раздражал звон стекла, Бр включал музыку. Чаще всего это была джазовая, но иногда и церковная музыка. Редко к ужину приходила Тамара Таракан, у нее в голове перегорела вольфрамовая нить, и Урна ее жалела, после нее она проветривала. У нее был красивый рот, и Урна знала, что они целуются с Бр, когда идут через неф.

Урна привыкла к женственной постели. Она ложилась на нее даже днем и разглядывала стеклянный купол. Она трогала книги и нюхала их, но они плохо пахли и крошились в руках. Теперь она могла одна без рисунка ходить по колонии: некоторые дощечки и бумажки тут же уплывали, как только становилось чуть теплее и было куда плыть.

Однажды вечером, когда она умывалась, к ней сзади подошел Бр, обнял ее и сказал: “Помнишь, ты говорила об опасных днях”. Урна не вспомнила сразу.

— Это было летом, — не отставал Бр, — я вел себя неосторожно, ты рассердилась и не захотела еще раз.

— Ну и что? — обернулась Урна.

— Я хотел тебя спросить, что это за опасность? — он не договорил и смутился.

— Откуда я знаю, — ответила резко.

— А я хочу знать, — сказал он.

Урна вдруг стала маленькой и доступной, она прижалась к нему и сказала:

— Не делай этого, я не хочу.

— Чего ты не хочешь, скажи, — настаивал Бр.

— Я этого не хочу, — сказала Урна.

— Тогда я сделаю это, потому что хочу посмотреть.

Она упиралась несколько минут, но тут все легкие предметы, а это были пакеты и очистки, сразу взлетели и задержались в воздухе.

Урна изо всех сил позвонила утром Сокра и попросила о свидании. А он только лег, освободившись от читателей, — и тут ее звонок.

— У меня нет сил, — сказал он.

— Я что-то хочу тебе сказать, — настаивала она.

— Да не могу я.

— Пожалуйста.

— Ну, приходи, — ответил он.

Телефонная трубка была тяжелой и оттянула руку. Урна распахнула одну дверь, потом вторую и еще две, и вопила совершенно счастливая.

— Что это ты так сияешь? — спросил Сокра.

Она облизнулась и села.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

Она кивнула и стала рассказывать. Она говорила почти целый год и сумела все рассказать, и в церковь отнесла на руках то, что просил у нее Бр. Он сначала не поверил, увидя, потом испугался, но потом крестил.

Первобытный, не очень чистый комок был не такой уж легкий. Когда Урна уставала, то укладывала его на стулья, составленные вместе. Иногда она плакала и показывала пальцем на него:

— Ты этого хотел?

Бр пожимал плечами и не знал, что сказать. В церкви завелась каша всевозможных цветов.

На деревьях остались только дрянные листья, совсем некрасивые, а красивые куда-то делись, наверное, улетели. Стали бегать заразные кошки. За это время она несколько раз получила кайф от кефира, ела ни на что не похожее блюдо, которое было фу-фу-фу, она перегрелась, и термометр показывал 367, и только после этого Сокра в церковь пришел.

Урна не отходила от него и все ему показывала: вот это моя комната, а здесь он спит, она улыбалась, и это его тронуло. Они ходили по

асфальту, потом она села на корточках и цветным мелком нарисовала дом, и сказала: это дом. Когда встала, то попыталась стереть, но только размазала мел, и он усмехнулся, глядя на нее. У нее подросли волосы. Он сильно обнял ее прямо на дороге. Он отвык от ее имени и никак не называл, и она его никак не называла.

Через несколько часов она сама покормила его и хотела отпустить, но Сокра быстро сел напротив. Неожиданно он заговорил о своих делах.

— Я решил продать Ночную библиотеку.

— Что-что-что?

— Я не могу на это жить, — сказал он, — читателей осталось мало, я там один, тебя нет, я ее продам.

— Нет, — сказала Урна.

— Что значит “нет”?! — возмутился он. — Ты живешь здесь, ты от меня ушла.

— Нет, — сказала Урна.

— “Нет” не ушла или не живешь? — не понял он.

— Здесь я живу пока, но там я буду жить всегда, — она пересела, и теперь на нее падал свет.

— Видишь ли, мне не до этого, — сказал он, — ты себе облюбовала место для “всегда”, а мне сейчас нужно жить, у меня денег нет.

Свет залепил правую половину ее носа и сделал Урну ассиметричной.

— У тебя солнце, между прочим, полноса отхватило, — сказал Сокра.

Она провела по носу, как будто убеждаясь в его цельности.

— Подожди еще немножко, — попросила она.

— Зачем? — сказал он. — Может, когда ты будешь там жить всегда, меня вовсе не будет, чего мне ждать? — он говорил тихо и резко.

— Подожди, — попросила Урна.

— Ну, хватит, — он встал. — Ты возвращаешься со мной?

— Именно сейчас я не могу, — сказала она.

— Тогда пска, — сказал он.

— Пока, — сказала Урна. — Но ты же не хочешь, чтобы там был кто-то другой, когда я вернусь?

— Что ты говоришь, Урна? Не хочу, конечно, но что ты предлагаешь?

— У меня плохое имя, некрасивое? — спросила она. — Но ты ведь не поэтому меня не называешь по имени?

— Не поэтому, — ответил.

— И я тебя не поэтому.

— А у меня тоже некрасивое?

Еще поговорили.

— Теперь иди, — сказала она, когда встала, когда солнце село. Он помахал рукой, и наступил другой день.

— Я здесь, — откликнулась Урна, — что тебе нужно?  
Бр внимательно рассмотрел ее и спросил:  
— Почему ты обгрызла за это время ногти? Это нехорошо.  
— Это нехорошо, — согласилась она.  
— Ты испортилась донельзя, — сказал он.  
— Додальзя. Это я сказала. А кто тебе сказал, что я там захочу жить всегда?  
Бр погладил ее по обгрызанным ногтям.  
— Еще рано об этом говорить, — сказал он.  
— Но уже восьмит! — воскликнула Урна.  
— Ничего, ничего, — сказал Бр, — я это знаю, пусть восьмит. Вот пойдет дождь, он будет немного фальшивить, я куплю тебе перчатки, ты их наденешь, и никто не увидит, какие у тебя ногти.  
— При чем тут это, — Урна раздробила корку хлеба и посыпала крошками коленки.  
— А все, что тебе наговорил твой Сокра, — неправда. — Бр подошел к стульям, там все было спокойно.  
— Ты сам ничего не знаешь, — показала Урна на стулья, — ты ведь не верил...  
— Хорошо, — рассердился он, — если хочешь, можешь идти прямо сейчас, но советую еще немного подождать, решай сама...  
— Что, можно сию минуту? — спросила Урна.  
Бр подошел к окну.  
— Я тебя спрашиваю, — повторила она.  
— Да, да, да, — сказал он.  
Она нагнулась к стульям, там все зашевелилось, она постояла там немного и подошла к Бр.  
— Спасибо, — как-то некстати сказала она, — до свидания тогда.  
— Собралась, собралась, — усмехнулся он, — а может, я пошутил.  
— Нет, — оттолкнула она его руку.  
— Именно пошутил, — сказал он.  
Она отбежала в сторону, простучав каблуками.  
— Урна! — крикнул он. — Не уходи, Урна!  
— Ну, что? — остановилась она.  
Бр догнал ее и сжал.  
— Не уходи, — сказал он.  
Она села и положила на колени руки.  
— Почему? — спросила.  
— Побудь еще здесь.  
— Когда же?  
Бр успокоился и отошел в сторону.  
— Тебе лучше не знать об этом дне.  
— Мне лучше знать, — сказала Урна.  
— Лучше нет.  
— Лучше да.

— Что “лучше да”, — передразнил он, — хочешь знать, в какой именно день ты умрешь?

— В какой именно вернусь в библиотеку?

— Это одно и то же, — сказал он.

Она больше не спорила, и он выключил свет.

Когда у нее стало немного больше времени, она выбрала один маршрут. Она сказала Сокра, что хочет разок встретиться не в библиотеке. Для одного раза лучшего места и не придумаешь. Туда можно было ехать на автобусе или на трамвае; первым подошел автобус, и она села в него. Как только съехали на мост, впереди показалось призрачное скопление блочных домов. Шел условный дождь. Может быть, дома раскачивались. Мост был бесконечно длинным, соединяющим две неправильные линии одного и другого берега. Автобус шел так, что почти не приближался к домам, которые стояли на месте, как аэростаты.

Потом все это сломалось и возникла убогая обстановка однокомнатной квартиры. В самом убогом, покрытом лаком месте сидел Сокра. “Ты этого хотела?” В крышке полированного стола отражался тот условный дождь, становясь безусловным. Потом он перекинулся на дверки шкафа и непотребную тумбу.

Для красоты на стене был ковер, на дворе трава, на траве — дрова.

— Почему ты захотела здесь? — спросил Сокра.

— Потому что там я еще успею, — она имела в виду библиотеку.

— А что произошло? — сказал он.

— Я ему грю, может быть, я у тебя буду жить всегда, а пока поживу в библиотеке, а он мне грит: придумала, благодарю, я невечный, это тебе можно позавидовать, а мне завидовать нечего.

За стеной ссорились. Там Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.

— Они воры? — спросила Урна.

— Нет, просто муж с женой, — сказал Сокра.

Урна вернулась в церковь, когда совершенно ничтожные тени стянулись к потолку.

— Почему у нас нет картин? — спросила она у Бр.

Бр даже и не подумал отвечать.

— Меня забирают ненадолго в больницу, — сказал он. — Что-то там нашли, но я подозреваю, что в мой анализ вмешался чужой, поскольку дело было в общем туалете.

— А как же я? — спросила Урна.

— Побудешь пока одна.

— А бутылки?

— Подождут с бутылками.

Урна вышла и вернулась с чистой рубашкой и носовым платком.

— Это тебе, — протянула она сверток.

— Спасибо, — сказал Бр и пошел к двери. — Да, ты присмотри-вай, — и он показал на стулья.

Она кивнула и осталась одна. Она не знала, что ей делать. Взяла и помыла пол, протерла кукол, и когда протирала, то обращалась к ним по имени. К вечеру Урна вышла потихоньку из церкви и поехала в больницу. Были освещены только туалеты и частично коридор, и было ясно, что это мальчики входят в мужской туалет и негромко кричат гадости девочкам, которые входят в женский туалет. Урна поискала Бр, позвала, но он не откликнулся. Она обратила внимание на небо. По низкопробной дороге она вышла из ворот.

И, следовательно, через какое-то время наступило утро. Когда Урна наконец увидела Бр, то узнала только по поясу — он высунулся из окна. Она спросила:

— Как дела?

— Спал я сегодня херовато, горел свет в соседней палате, там, говорят, двое маленьких детей, им без света херовато.

Потом в окне появилась медсестра, которая повторится только через три дня.

Через три дня Бр почувствовал себя лучше и попросил Урну принести ему какую-нибудь ее вещичку.

— Майку? — уточнила она.

— Лучше чулки или... — он не решился сказать, и она закивала:

— Поняла, поняла.

Примерно за неделю он выманил у нее весь чемодан.

— Больше ничего не осталось, — сказала она.

Он взял даже то, что было на ней, а взамен дал больничное. И после того, как он расцеловал все ее тряпочки, уничтожил их.

— Меня завтра выпишывают, — сказал он. — Ты придешь?

Урна ничего не ответила, потому что подумала, что не придет.

Она вернулась в церковь только для того, чтобы посмотреть, все ли там покойно. На стульях было шумно. Она взяла сверток в руки и покачала его. Но это не помогло. Она положила его обратно и выключила свет, думая, что так будет лучше. Но стало хуже. Она вспомнила, что кому-то без света херовато, и включила его опять. Наконец на стульях все утихло, и она вышла из церкви. Но с полдороги вернулась обратно: ей вдруг показалось, что она не выключила газ. Но газ был выключен. Тогда она взяла пустой чемодан и рисунок, который ей когда-то нарисовал Бр, еще раз все проверила и хорошо закрыла дверь.

— Что это такое на тебе? — спросил ее Сокра, как только она переступила порог библиотеки.

— Да это так, — смутилась Урна, — я сейчас переоденусь. — Урна запахнула больничную пижаму и стала опять стройной.

— С чемоданом? Ты что, насовсем? — удивился Сокра.

— Я надену твою рубашку?

— Надевай, что хочешь.

Он взял у нее из рук чемодан и посмотрел с недоумением:

— Пустой?

— Да, — кивнула она.

— А что с этим, с бутылкой?

— Уже все, — сказала Урна, — а что ты меня в дверях держишь?

— Теперь у нас только вот эта комнатка, — сказал Сокра, — бывший чулан, а так библиотека продана, я здесь временно, понимаешь?

Урна прошла в чулан и села на кровать.

— И стол есть, и два стула есть, — сказала она. — Мне кажется, мои вещи горели синим пламенем. Бр поджег мою одежду, и она сразу же вспыхнула, и за одну минуту сгорела, и я ему говорю: что же ты не подождал чуть-чуть, а теперь ищи меня в тридевятиом царстве, в тридесятном государстве. Я помою окно, — сказала она, — чулан мы оклеим светлыми обоями.

— Посмотрим, посмотрим. Ты есть хочешь?

— Хочу. И пить тоже хочу.

— Зачем же ты ушла с ним? — еле слышно сказал Сокра.

— Как ты не можешь понять, — сказала Урна, — это была временная жизнь, через это тоже надо пройти.

— Когда ты ушла, все стало рушиться, стали плохо топить, стало грязно, я не мог один убрать весь дом, и читатели понемногу перевелись. Потом, видимо, от холода и пыли стали портиться книги. Правда, за два дня стемнело только один раз.

Урна проснулась поздно утром и долго лежала с открытыми глазами. Прекрасно чувствовалось, что это город: кроме шума машин, не доносилось ни бе, ни ме, ни ку-ка-ре-ку. На стулья и стол только что выпала пыль. Грязь как-то удачно располагалась и не так была заметна.

— Ты хотела помыть окно, — сказал Сокра.

Урна перевернулась на другой бок и увидела на подоконнике голубя, по нему сразу было видно, что это пятидесятилетний гомосек.

— К тому же он обожает не женский пол, а нежинский пол, — сказала она.

— Это ты о ком? — не понял Сокра.

— О голубе. И потом, что за манера, — сказала она, — во всех домах делать на кухне стеклянные двери.

— А что в этом плохого?

— А то, что как перевешу ее в туалет.

Он подумал, что неплохо бы, но вслух ничего не сказал. Она еще с полчасика повертелась и встала, и сразу села.

У стула были вполне сносные ножки, хотя немного полноватые. Урна поставила между них свои и, воспользовавшись тем, что она такая хорошенькая, навязала Сокра готовить завтрак. Он открыл холодильник, в заморозке лежала свежемороженая муха, видимо, вчера залетевшая туда по ошибке. Он пощадил Урну и ничего ей не сказал; завтрак, конечно, приготовил.

После завтрака наступила зима и тоже выпал снег. На стекле появились морозные православные крестики, и в комнате стало красиво.

— В чем же я буду ходить? — сказала она.

— Есть мои вещи, — рассудил Сокра, — будем ходить по очереди.

— Тогда, чур, сегодня моя очередь, — оживилась Урна.

— Иди. Но куда ты пойдешь?

Она недолго выбирала: чем-то подвязалась, что-то укоротила, и он залюбовался ею.

В трамвае были открыты окна, на морозе со страшной силой пели птицы.

Был гололед. На этот раз дорога была посыпана не хлебными крошками, а песком, и по ней благополучно возвращался домой мальчик с пальчик. Урна обогнала его и вошла в церковь.

Около двери было прекрасно. Там не было тряпки, там был песток. Там было так хорошо. Он открыл дверь одним пальцем. Она вошла. Она сразу на все посмотрела. Одна рука помогла другой снять перчатки. Она очистила картошку, и они ели ее. Потом они пили вино. Потом они разделись и легли на ту постель, которая там была. Наверху был потолок. Первыми замерзли руки. Он зарыл свои. И она нашла несколько мест и зарыла свои. Ночью ходили часы. Совершенно новые миры: троллейбусные и автобусные парки стояли под открытым небом. В простых парках шелушился снег. “И поскольку Лувр тоже не отапливался...” Урна посмотрела на пустое, не допустившее к себе ни одну тень окно и увидела, как беззвучно между звезд движется самолет, и вспомнила стихотворение про кенгуру, и ей тоже захотелось к кому-нибудь ласкаться, но Бр спал. Она вернулась в чулан, сняла теплую одежду и протянула ее Сокра.

— Теперь твоя очередь, — сказала.

— Я не пойду никуда, — сказал он.

Она все развесила.

— И где же ты была?

— А ты как будто не знаешь, — она присела на край кровати.

— Ты была у этого, бутылки, — сказал Сокра.

Она кивнула и посмотрела на север.

— Неужели там все по-прежнему? — спросил он.

Она опять кивнула.

— Я больше не поеду туда, — сказала.

— Это почему же?

На эту грубость она никак не ответила.

Еще через несколько часов она закопала их общую одежду и посуду, все это присыпала снегом и разбросала по нему палки. Она предложила Сокра уйти вместе с ней, он не возражал, и они направились вдоль рельсов. Как только стало светать, звезды отвалили на запад.

## XI

— У тебя рубашка грязная — смотри, какая черная полоска на воротнике, — сказала Урна.

— Это траурная полоска, — ничуть не смутившись, ответил Сокра.

— По кому же ты носишь траур?

— По нашему автору, — пошутил он.

— Переодень, противно, — сказала Урна.

Сокра послушался и снял траур.

— По такому случаю хорошо бы что-нибудь выпить, — заметил он.

Никто им не навязывал, они сами выбрали гостиницу с окнами на тот свет. Там бесшумно передвигались, кто надо, в грязном от времени графине стояла чистая вода, а нечистого не было. Они мигом разделись и долго не могли согреться в белоснежной постели.

— Что ты там сковыриваешь у меня драгоценное? — спрашивал Сокра.

— Да так, один прыщик.

В гостинице они повесили свои картины, “это же не наша комната, неизвестно, сколько мы здесь проживем”. Они купили мебель, это была белая мебель. Сначала у окна стоял тихий телефонный автомат, однажды он подавился двушкой и вовсе сделался глухонемым. Тогда в комнате стало совершенно тихо, хотя каждое утро могли ворваться, чтобы починить его и тем самым нарушить тишину.

Поздно вечером Сокра выглянул в окно и сказал:

— Там идет снег.

Там валил русский, мирискуснический снег.

— Там идет русский с татарской примесью снег, — повторил он.

— Грязный, что ли? — спросила Урна.

— Только бы не растаял, — опять сказал он.

— Ложись. Он не растает, теперь всегда будет зима.

— Кто тебе сказал, что всегда? — усомнился Сокра.

— А вот посмотришь, — ответила Урна.

Полые кубики снега уехали на подоконнике и грелись под луной. Клеенчатый пол в нескольких местах промерз.

— По крайней мере сейчас ниже ноля, — сказал Сокра и лег на Урну.

— Теперь всегда будет ниже ноля.

— На том свете всегда было ниже ноля, это я придумал, — сказал он гордо.

— Раз ты лежишь на мне, значит, это мой образ, — заметила она.

Поспорили, и он уступил ей.

— Хорошо бы в комнате вместо асфальта и клеенки был на полу газон, — сказала Урна.

— Ты уже мечтаешь о лете, — промямлил он.

И они заснули мертвым сном, в этот раз их даже не разбудили зерна, гремевшие в спелых яблоках за стеной. А среди ночи Сокра повернул Урну к себе, она недовольно зевнула и открыла глаза.

— Я жутко боялся, что ты замерзнешь в лесу, — сказал он, — когда ты поехала кататься на лыжах.

— Я же не одна поехала.

— Это все равно. Вы все трое были пьяные. Когда ты застегнула крепление и понеслась по лыжне, кошмар. Эти двое тоже застегнули и понеслись вслед за тобой. Потом вы упали. Я, кстати, побежал к тебе по лыжне, но она была рыхлая, и я тут же провалился. Вы там лежали и что-то делали.

— Да ничего мы не делали, — сказала Урна, — мы вставали.

— Кошмар.

— Почему ты об этом вспомнил? Спи.

— Потому что теперь так будет всегда.

Для пятна он отпустил бороду, для рельефа разбросал по полу одежду и коробки. Они перепробовали все комбинации из “рано” и “поздно”: сначала рано ложились и рано вставали, потом поздно ложились и поздно вставали, какое-то время поздно ложились и рано вставали, но остановились на четвертой: рано ложились и поздно вставали.

Утром, щелкая ножницами, Сокра разбрызгал на сантиметр лишние усы, и раковина оказалась слегка заштрихованной.

В это утро пришли чинить телефонный автомат. В кабинку вошли два мастера: один держал телефонную трубку, другой ковырялся в ней длинной железной палкой. Они так долго находились там, словно переждали дождь. Наконец они хлопнули дверью автомата, потом дверью комнаты и скрылись.

— Какие грубые, — сказала Урна.

— Теперь я смогу тебе позвонить, — сказал Сокра.

— Разве ты уходишь? — изумилась она.

Он поцеловал ее в прохладный лоб.

— Но я этого не хочу!

— Все-таки проводи меня.

— Через “не хочу”, — сказал он.

— Это не ты сказал.

— Это уже неважно.

Они вошли в лифт и поехали. Полтаблички на стене было оторвано, зато остался многозначительный обрывок: “Это может привести к падению в шахту”.

— Будь осторожна, — сказал Сокра, — не садись с кем попало, — и он показал пальцем на табличку.

Урна проводила его до конца территории. Он достал из кармана мандарин и подарил ей.

— С Новым годом, — сказал, — я буду звонить.

Она стояла на месте и не двигалась.

— Иди, я, может быть, сегодня позвоню.

— Ты уходишь на войну, — сказала она.

— Нет, почему ты так решила?

— Ты уходишь на войну, — повторила она.

Он поднял воротник и пошел прочь.

Она догнала его и сказала, чтобы он хотя бы поцеловал ее.

— Не сейчас, — сказал он, — извини.

Все же она настояла на своем. Ее удивили белые катышки на языке.

— Он у тебя цветет, — сказала.

— Что значит цветет? — не понял он.

— Как море, — пояснила она.

— Извини, — сказал он и отошел.

Она опустила голову, а когда подняла, он был уже далеко.

— С Новым годом! — крикнула она.

Она вошла в лифт и тут увидела Бр. Он все прикинул и прижался к ней.

— Опять, — сказала она.

— Урна! — сказал он.

— Поосторожнее, — сказала Урна и показала на табличку: “Это может привести к падению в шахту”.

Урна переставила телефонную будку поближе к постели, но телефон все равно не звонил, тогда она зажгла в кабинке свет и стала использовать будку как ночник. Свет был тусклый, и читать при нем было трудно. Шел снег трехдневной давности и не радовал.

— Ну почему я здесь должна жить? — сказала она вслух. — Ну почему я здесь должна жить!

Урна вышла в общий коридор. Двери многих номеров были распахнуты, и там никого не было.

— Ты кого-то ищешь, — услышала она.

Урна оглядела; сзади стоял Бр.

— И зря ищешь. Кроме нас с тобой, тут никого нет. Не сезон. Я и сам бы предпочел умереть в другое время года. Но не повезло, и теперь мучаюсь от одиночества.

— Хочешь, чтобы я к тебе зашла? — спросила Урна.

— Прошу, — сказал Бр, пропуская ее в комнату.

— А ты тут давно? — спросила она.

— Не так давно, — ответил Бр. — А что, он ушел?

— Он ушел на войну, — сказала Урна.

— Понимаю, — захихикал Бр.

— А я не понимаю, — сказала она.

— Может быть, хочешь выпить? Есть немного водки, есть коньяк, но не открыт.

— Тогда лучше водки, — сказала она.

— Мне не жалко, я могу открыть.

— Тогда лучше коньяк.

Они выпили, и стало получше.

— Это ужасно, — сказала Урна. — Подумай сам. Они жили в Ночной библиотеке, потом ее оттуда увел один, видите ли, ее автор. Ему льстило, что она живет вместе с ним, а не с героем. Он обещал вернуть ее в библиотеку, чтобы там она жила всегда, потом он заболел, его забрали в больницу, там он сначала трахнул ее одежду, а потом сжег ее, она горела синим пламенем, “что же ты не подождал чуть-чуть, а теперь ищи меня в тридевяти царстве, в тридесяти государстве”, Сокра за это время продал библиотеку, Бр сделал Тамару Таракан без девственной плевы, господин Плевако выиграл процесс без единого слова: его подсудимый стоял в зале заседаний с ниткой в руках и метил в угольное ушко, которое одна особа то подносила, то отводила, то есть делала то же самое, что и в апартаментах, и, несмотря на это, донесла на него, обвинив в насилии, и хотя иголка была самая толстая, а нитка самая тоненькая, обвиняемый, естественно, не попал, спрашивается, где мы с тобой?

— В тридевяти царстве, — сказал Бр. — Попробую тебе сейчас кое-что сказать, — сказал Бр и ничего не сказал. Но спустя несколько минут сказал: — Ты, вероятно, думаешь, что должен быть какой-то особенный тот свет, а все совсем наоборот. Все, что вокруг нас: продовольственные магазины, табачные ларьки, блочные дома, дороги — это и есть тот свет, а истинная реальность — это наша смутная память о чем-то, о ком-то, о каком-то запахе, цвете или о контурах, или о мелодии.

Они вышли с Урной на улицу и дошли до кочегарки. Там, как и когда-то давным-давно, лежали дрова, стояла лопата и детские санки.

— Вот здесь я ужасно хотела влюбиться и выпила полбутылки сладкого вина с детсадовским названием Запеканка.

Бр приставил свое тело к ней очень точно. Он обвел языком ее губы. Он ужасно сильно нажал на них. Она положила ему руки на шею и засмеялась, он ахнул от этого смеха. Из всех ее волос можно было сплести множество косичек, но они были распущены. Когда она целовалась, они попадали ей в рот, и она их вытаскивала и начинала все сначала. Но у себя в номере, освещенном телефонной будкой, она изумленно подумала, какой же он все-таки бр-р-р. Припомнился, между прочим, и случай столетней давности. Какой-то бр-р-р в автобусной толкучке, выбрав из трех девочек именно ее, всунул ей в ладонь свой большой палец. Она вспомнила, как какой-то бр-р-р провел по ее ноге, когда она шла по улице и на ходу читала книжку. Ей приснился примитивный сон про все это, и она громко позвала Сокра и сказала вслух, как она скучает.

Утром она прямо в номере надела коньки и пошла на каток. Все эти фигурки Урна делать не умела и просто бегала по льду, а чтобы не тормозить — падала в сугроб. В пять минут она вся извозилась в снегу.

Бр вышел на улицу в большой куртке и в ботинках. Взяв Урну за руку, он стал ее катать. Она ему ловко ставила подножки, и он весело падал. Он прямо в варежку поцеловал ее. Он был небрит; наверное, он не умывался и даже не завтракал. Он стал курить и стряхивать пепел прямо на лед. Пепел смягчил белизну, и каток стал похож на фреску. Солнце было маленьким и далеким, очень бледным и очень красивым. Было так больно и так сладко целоваться.

У нее в номере они вместе позавтракали. Они ели яйца в мешочек, смакуя желток, и пили крепкий сладкий чай, совершенно равнодушно смотря на вино. Днем он ушел к себе, она немного посидела одна, а потом вышла на улицу и пощекотала его окно прутиком. Он так рассмеялся, что она тут же сказала, что да, что любит<sup>1</sup>.

Он спустился куда-то совсем вниз, а она осталась стоять. Он все отодвинул. Ей было немного больно, потому что он трогал ее не только губами, но и щеками и подбородком, а они были небриты<sup>2</sup>. Он делал это очень долго, а когда встал, она провела языком по его щетине, и язык зашипало. Она и не думала расстегивать у него пуговицы, тем более что куртка и рубашка были ему велики, ужасно велики, они были рассчитаны на то, чтобы, не снимая их, туда могла пробраться рука<sup>3</sup>. Она удивилась, почему у него нет сил<sup>4</sup>. Часами шел снег, его было видно из всех окон, даже из тех, где никого не было. Потому что он шел не только тогда, когда на него смотрели, тем более что на него и не смотрели. Она все еще удивлялась, почему он такой слабый и почему у него руки в трещинках, тоже напоминающих морозные.

— “Не может быть” — это не определение реальности.

— Значит, это тот свет.

— Женская логика — удивительная вещь, значит, мы говорим об одном и том же.

После того как опять ничего не было, Урна села на стул и спросила:

— Ну и чем же ты тут будешь заниматься?

— То есть кем буду работать? — переспросил Бр. — Буду играть на яблоке.

— Как это на яблоке? — не поняла Урна.

— Возьму обыкновенное яблоко, только очень спелое и с хвостиком: дергаешь за хвостик, и внутри гремят зерна.

---

1 — Какой еще тот свет!.. Когда я слышал, как ты простучала коньками, это было так же, но голько во множество раз сильнее стука всех ваших дамских каблучков; когда ты простучала коньками, я вспомнил все стуки, после которых уже, казалось, все было.

2 — Все равно это тот свет; когда ты трогашь меня, неужели ты думаешь, что я еще что-то помню и что мне это что-то напоминает.

3 — В поддельной темноте кинотеатра рука, на которую шикнули, потому что она внезапно одернулась.

4 — Этого не может быть, значит, это не реальность, а тот свет.

— В таком случае, я буду работать на заводе по выпуску облаков. Посмеялись.

— Ты ведь останешься у меня? — сказал Бр, взяв Урну за руку.

— Нет, я уже пойду, — она встала. — Мне должны звонить.

Будка декоративно стояла, а также на плите стоял декоративный суп, потому что его никто не ел. Урна поставила его подогреть, в нем лихо закружилась морковка. Она подогрела его и вылила. Из одноэтажных домов выплескивали на горку помойную воду. Помои разноцветно блестели под фонарями и леденели, и уже можно было кататься. Сидела ворона и действительно смахивала на боярыню Морозову.

Урна не вспомнила маму, но вспомнила, как мама выбросила в мусоропровод случайно забежавшего в квартиру чужого хомячка. Она сделала это в растерянности, закричав и выскочив с ним на лестницу, ей потом было нехорошо, ее тошнило, и она плакала. Урне захотелось, чтобы мама появилась в гостинице, чтобы она жила в соседнем номере и они могли встречаться. Ей захотелось приласкаться к ней, потом ей захотелось, чтобы мама искупала ее в ванне, чтобы она по очереди просила ее руку, ноги и спинку и терла их мочалкой, а потом пожелала бы ей спокойной ночи. Но ей не хотелось, чтобы у мамы были рожки и она храпела.

Урна опять походила по комнате, и опять ничего не произошло. Она села и стала слушать музыку. Он играл очень хорошо, и зерна гремели громко, он дергал за хвостик, пока не оторвал его и потом, видимо, пошел за другим яблоком, но оно было писклявое — наверное, кислое. Урна вытерла слезы и напудрила лицо. “Какая ужасная слышимость”, — подумала она.

На небе показывали кино. Оно было немым и темно-синим и, по-видимому, для детей, потому что пронеслись волки, быки и китайцы. Но Урна все равно смотрела, пока ветер не разогнал все кино. Ей стало скучно, и она пошла к Бр.

— У тебя топят? — спросила она еще у порога.

— Заходи, — сказал Бр, — сейчас проверю, даже не знаю, — он дотронулся до батареи и отдернул руку. — Холодная.

— Почему же не топят, ведь зима.

— Во-первых, все время зима, а во-вторых, что ты хочешь, нас всего двое. Топить из-за нас двоих?

— Но разве мы виноваты, что нас только двое, — сказала Урна. — Можно я погреюсь о твою ногу?

— Грейся, — сказал Бр.

Урна закатала одну брючину, обняла его ногу и прижалась к ней щекой.

— Какая теплая у тебя нога, — сказала она.

— Можешь и ту тоже взять, — предложил Бр.

— Я лучше по очереди, — сказала Урна.

Когда нога стала прохладной, Урна отпустила ее.

— Покажи мне что-нибудь красивое, — попросила она.

— Я не знаю что, — сказал Бр. — Можно включить плиту, но ведь у тебя есть плита.

— А как включить? — спросила Урна. — Может быть, я так именно никогда не включала.

— Просто включить, а на конфорку ничего не ставить, она накалится и будет светиться в темноте.

— Давай включим.

Они включили плиту и ничего не готовили. Сначала от конфорки шло тепло, потом она накалилась и тускло и прекрасно стала светиться, и стала первой красавицей на кухне, лучше всех тарелок, лучше стола и кресла. Благодаря ее свету в сковородке отразилась чайная ложка, но не затмила ее красоты.

— Я так никогда не делала, — сказала Урна, — мне очень нравится, не выключай, я хочу еще посмотреть.

— Даже если выключить, она будет еще долго светиться, — сказал Бр и выключил.

Но она светила недолго, может быть, минуту или две.

— Я так полдня люблю, — буркнул Бр. — Ничего не ел, кроме яйца.

— У меня был суп, — сказала Урна.

— Да! — оживился он.

— Да, но я его вылила, чтобы лучше заледенела горка, приходи кататься. Ты меня все время обманываешь, — сказала она, — ты меня обещал вернуть в библиотеку прямо из церкви, а сам притащил сюда, здесь все время зима и даже не топят, я тебя не люблю.

— А я не думал, что тебе здесь не понравится, мы здесь одни, и так тихо.

— Оставь меня в покое, — отмахнулась Урна.

— Я не забыл и принес наш сверток, он в соседней комнате на стульях, — сказал Бр.

— Опять на стульях.

— Я укрыл его своим пальто.

— Здесь очень много озер, — сказала она.

Поздно вечером дали очень горячую воду. Урна постирала в ней, и Бр обрадовался воде.

— Видишь, дали воду, а ты не верила.

— Как мне здесь не нравится! — сказала она.

— Что же тебе не нравится?

— Сама не знаю, все как будто бы хорошо: вокруг горячая вода, и я постирала белье, но так мне все не нравится.

— Но ведь это действительно хорошо...

— Давай куда-нибудь пойдём, — прервала его Урна.

— А куда ты хочешь? — нерешительно сказал он.

Они вышли на улицу, там было много чистильщиков сапог.

— Зачем они здесь, — возмутилась Урна, — ведь стерильная погода.  
Бр ничего не ответил.

— Чистилище какое-то, — договорила она.

Когда они вернулись, выключили свет. Плита стояла пустая и холодная. Сначала снег освещал комнату, потом он прекратился, стало темно.

— Не бойся, скоро дадут, — сказал Бр.

— Вот мы говорили: выключили свет. Это ведь безличный оборот, мы кого-то подразумеваем, кого именно, я хотела тебя спросить?

— То есть, кто выключил? — переспросил Бр. — Я об этом думал.

— Как же мы мало знаем, — сказала Урна. — Мне бы хотелось снять только один фильм, я его прекрасно вижу: даже совершенный пустяк — мечущуюся между рамами ватку.

— Ну, и зачем снимать, — огрызнулся Бр, — на память, что ли?

— Мы можем смотреть на луну, — предложила Урна.

— Ее нет.

— Она скоро начнется.

Луна началась через пять минут.

— Поиграй, — попросила Урна.

Бр настроил яблоко, поиграл чуть-чуть, а потом съел его.

— Зачем ты его съел, — сказала она, — у него был такой приятный звук.

— Но есть тоже надо, — ответил он.

Так и не дождавшись света, они легли. Никакие новые места друг у друга их не привлекали, и они положили руки в самые знакомые и самые теплые. У него опять не было сил, и ей это не понравилось, и она зашекотала Бр, он вскрикнул и в отместку зашекотал ее, и они вместе засмеялись громко и глупо, как две проститутки. Потом он погладил ее по туловищу, и она успокоилась. И все самые железные крыши засверкали, и вся бяки попрыгали, и какой-то чеканутый, сде-лав па в воздухе, прихватив три предмета и используя исключительно предлог от, бежал, ясно, что это был патриот, всем, всем, всем было ясно, что только тот, кто делает па в воздухе, берет три предмета и бежит от — и есть патриот, а тот, кто не делает па в воздухе, берет больше трех предметов и использует другие предлоги: под, над, из-под — не есть патриот.

Было много пыли, и особенно много ее было из Африки, но также летала и ржавенькая невидимая пыль.

— Совершенно одно и то же, — сказала Урна, — ну, совершенно одно и то же. Давай купим белую мебель, и у нас будет красиво.

— Давай.

— Давай возьмем к себе в комнату телефонный автомат!

— Давай.

— Мадам, уже падают лифты, и осень в смертельном бреду, — крикнула она.

— Замолчи, — он выдернул тоненький ремень, — что за истерика. Вспыхнула лампочка (дали свет) и осветила небелую комнату, Урна вывернула лампочку и заштопала на ней чулок, и расхлябанно пошел снег.

— Я настаиваю, — сказал Бр, — что лыжня, суп, горка — это не тот свет. Вот когда я открываю форточку и до меня доносится столовский запах, — это тот свет.

Она решила проверить и открыла форточку, и любой мог проверить и узнать, на каком он свете, открыв форточку и понюхав.

— Я чувствую, ты проверила, — сказал он.

— Я буду ждать тебя на улице, — сказала она.

На улице он поднял подол ее платья. На ней были совершенно прозрачные, потому что совершенно рваные чулки, и могло начаться все сначала, когда на триста душ приходится один писатель, который и не думает писать об этих душах, и когда помойки тематически подобраны, то есть вместе с унитазами лежат ржавые трубы, а вместе с очистками — огрызки.

Она присела на корточки, как когда-то очень давно, в коротком пышном платье и чулках, которых она стеснялась, потом она упала набок, как мертвая или замороженная или неваляшка, и он взял ее на руки и занес в подъезд, с подбадривающими надписями на стенах, с членистоногими на перилах, с обыгранной сто раз луной. У него было много сил, она не потрудилась сама подойти к нему, он подтолкнул ее. Она ухмыльнулась, и в абсолютной тишине лопнул пузырик из ее слюны, тогда он отошел. Не было, оказывается, никакой дороги, которая бы вела к гостинице, а была лыжня, и они шли по ней, неестественно широко расставив ноги. “И я жутко боялся, что ты погибнешь, когда ты поехала кататься на лыжах, и когда я увидел по обеим сторонам лыжни твои прекрасные рвотные розы, и когда я провалился рядом с одной из них и от нее еще шло тепло твоих внутренностей, я съел снег...” — “Ты плачешь?” — “Нет, я съел снег, и ты валялась в ста метрах от меня, и тебя поднимали эти двое, тоже пьяные, и потом вы скрылись”.

— Ты не думай, что я не хотела, — повернулась Урна к Бр.

Она остановилась, и у нее выпала ватка, чуть желтее снега.

— Все-таки его зовут Сокра или Сократ? — спросил Бр.

— А почему ты об этом спрашиваешь? — удивилась Урна. — Его зовут Сокра.

— В таком случае, не хватает одной буквы, — сказал Бр.

— Ну и что, — сказала Урна, — у тебя тоже в имени не хватает букв, я же ничего не говорю.

— Да, но тут не хватает именно одной буквы, и известно какой, в моем же имени...

— А ты, случайно, не помнишь, — перебила его Урна, — как ты в автобусе сунул мне в ладонь свой палец?

— В моем же имени, — продолжал Бр, — букв действительно недостает, но даже сам я не знаю каких. Зачем ты только заговорила о моем имени, чтобы оскорбить меня?

— Так ты не помнишь? — переспросила Урна.

— Но это было не здесь, — ответил он.

— Это было не здесь.

Улыбнулся лыжник, который ехал по лыжной луже или по лужной лыжне, и со слезой выпало дерево, как соринка из глаза.

— Березки сделали, — сказала Урна, показав на мутные желтые лужи у стволов.

И сны были как куча мала, и только один, про снег, появлялся то тут, то там, как летучий голландец.

— Мне снится один голландский сон, — сказал Бр.

— Он родом из Голландии?

— Да, он голландского происхождения. Ты, конечно, помнишь этих надежных голландцев с их “чернухой”.

— Ты имешь в виду ван Дейка или ван Хуйсума?

— Так вот, ван Хуйсум, завершив один из своих натюрмортов, все же остался им недоволен. И тут ему пришла в голову простая мысль — выставить картину под снег. Эффект был поразительным, и снежная техника восхитила его. Но через некоторое время он заметил, что в левом углу образовался лед. Он попытался его счистить мастихином и, к своему ужасу, услышал, как дворник счищает у подъезда лед своим мастихином.

— Как мне хочется голландского сыру!

— А тебе не хочется “булонского лесу”?

Бр погладил ее по щеке. Урна споткнулась, но не упала. Само собой, по протекавшей рядом речке не плавали корабли, лодки и плоты, и Урна без труда перешагнула через нее и вошла в гостиницу.

— Зайдем ко мне, — сказал Бр.

— Нет, — сказала Урна, — я пойду к себе, мне должны звонить.

Как только она вошла, автомат зазвонил. “Успела”, — подумала она.

— Зайди ко мне, — сказал Бр, — пожалуйста, я тебя прошу.

— Да ты что, не понимаешь, — возмутилась Урна, — я жду звонка, — и она повесила трубку.

Бочком, бочком, как черкешенка младая, пришел на водопой таракан. Глядя на него, сй тоже захотелось пить. Опять раздался звонок.

— Ты сердишься на меня? — спросил Бр.

— За что? — сказала Урна. — Нет, не сержусь.

— А что ты делаешь?

— Поставлю чайник, буду пить чай.

— Мне бы не хотелось, чтобы наше последнее свидание оставило в тебе что-то неприятное.

— Да нет, — сказала Урна, — все хорошо.

— Я только это хотел сказать. До свидания.

Она хотела ответить “пока”, но он повесил трубку раньше.

Ночью автомат опять зазвонил. Урна вошла в будку и плотно закрыла за собой дверь. Сначала ничего не было слышно, но потом она услышала:

— Я разбудил?

— Нет, — сказала она.

— Позвонили?

Тут до нее дошло, что это опять Бр.

— Нет, — ответила она.

— Я все равно буду ждать, — сказал он.

— Хорошо, — она накинула халат и пошла к нему в номер.

— Или сюда, — сказал он и поманил ее, и в совершенной темноте она подкатилась к нему. Она быстро устала, потому что все было еще хуже, чем тогда, чем всегда. Она включила маленький свет и открыла окно. Снег еще немного потыкался в стекло, а потом стал залетать в комнату на свет.

— У меня нет сил, — сказал Бр.

— Я вижу, что ничего не получается, — сказала она, — а этого не может быть, значит, мы все же на том свете, я не верила, но это так.

— Хорошо, что ты пришла, — он прижал ее к себе.

Она все сделала правильно. Она легла на свое место, потому что все было по-прежнему.

Рано утром их разбудил стук в дверь.

— Стучат, — сказала Урна, — открой.

— Не могут стучать, нас всего двое.

— Но ведь стучат.

Она встала и открыла.

— Ничего себе, — сказала она, увидя Сокра.

Он тоже все увидел и подумал “ничего себе!”.

После этого она сказала:

— Я, между прочим, уже третий день жду твоего звонка.

— Ну вот, я пришел, ты готова?

— Где же ты был, что не мог позвонить?

— Ты знаешь, где я был, — сказал он.

Она засмеялась, и у нее растянулся рот, как будто он был накрашен помадой.

— Вытри рот, — сказал Сокра.

— Он, видите ли, был на войне, а я три дня прохлаждалась с каким-то бр-р-р в этом чистилище, а может, я с тобой не пойду, а останусь здесь, — у нее потекли глаза.

— Это невозможно, — сказал Сокра, — все, что нам нужно с тобой, я отвоевал, зачем ты накружилась, это твой халатик?

— Мой.

— Пойдем, ты умоешься.

Урна накинула халат и подошла к Бр, который ничего пока не говорил.

— Все равно каток, плита, яблоко были на самом деле, — прорезался он.

— Все было на самом деле, — сказала Урна и неловко поцеловала его куда-то в кисть.

— Несмотря на то, что ничего не было?

— Несмотря.

Сокра взял ее за руку и вывел из номера. В коридоре был сквозняк, дуло из всех бесчисленных окон. На улице было снега по пояс, потом стало по шейку, потом с ручками и с ножками.

— Я уезжаю! — на всех парусах Урна влетела обратно к Бр. — Оказывается, я уезжаю. — Она подпрыгнула, потом еще несколько раз подпрыгнула.

— В чем дело? — спросил Бр.

— Дело в том, что я уезжаю, там Сокра, на улице, он меня ждет, он меня послал к тебе, чтобы я с тобой договорилась, — она звонко поцеловала его в щеку. — Ты же меня отпустишь? — и сама ответила: — Ты меня отпустишь.

— Но мы так мало побыли здесь, всего три дня, и только дали свет и воду, как ты уезжаешь.

— Ну и что, — не слушала Урна, — еще когда-нибудь приедем.

— Больше уже не приедем, — сказал Бр.

— Я готова, — сказала она, — поцелуй меня на прощание.

— Какая ты веселая.

— Скорее, а то я убегу.

— Ты не будешь с ним прощаться, — Бр показал на сверток, лежащий на стульях.

— Почему три стула, а не два, как всегда? — спросила она.

— Он подрост, и на двух ему тесно.

— Поцелуй его за меня, не хочу его будить.

— Возьми вот это, — Бр протянул Урне красивый узелок.

— Что это?

— Это твое приданое, — сказал он.

— Как смешно, — сказала она, — спасибо.

Бр чем-то потренькал на подоконнике и вдруг крикнул:

— Нет, ты так не уйдешь, — он выбил у нее из рук узелок, и она зацепилась о него и грохнулась, — а потом иди, хоть в тридцатое царство.

И зря он это сделал, потому что опять ничего не вышло, зато все плохие слова, какие она только знала на детском утреннике, оказались в комнате: пэрэ через тире, любовница, насиловать и лермонтовский евнух из поэмы “Демон”.

Она измучилась, пока вышла из комнаты на улицу.

— Все хорошо? — спросил Сокра.

На затрапезной станции они сидели на ее приданом и ждали поезда. “Закрой кастрюлю от мух. — Мухи весной, суп же не до весны будет стоять”. “Какого у тебя цвета волосы? — Коричневого. — А на голове?”

— Что же такое, — огляделась Урна, — даже расписания нет, и из-за этого стоило идти на войну. Мы и так с тобой редко видимся, все наши свидания свели на “нет”.

— С этой ночи сведем на “да”.

Урна задремала на узелке, и Сокра перенес ее спящую в поезд и положил на полку, а узелок ей под голову. Она спала беспокойно и громко смеялась во сне. Через множество часов поезд остановился как раз напротив подъезда.

— Вот мы и дома, — Сокра подул на Урну.

— Это же Ночная библиотека, — некрасиво показала она пальцем.

— Это черновик, — Бр взял прутик и расписался на снегу.

— Иди, иди, иди, — грубо сказала ему Урна.

И он пошел, пошел, пошел, и наступила бесконечно длинная ночь, как “Тысяча и одна ночь”.

1982, 1996



*Герман Гецевич*

## **Анти-мы**

**Стихи**

### ЛИЦО

Когда я всматриваюсь в лица  
Громилы, гения, глупца,  
Я думаю: а что творится  
За дверью твоего лица?

Неужто в вихре карнавала,  
Меняя маски и цвета,  
За многодумностью овала  
Танцует танго пустота?

Неужто божий дар продажен  
И лживы честные слова,  
Где изо всех замочных скважин  
Растет железная трава?

1993

## СЛОВО

Если слово — последняя сволочь,  
Если слово подобно ярму,  
Даже в самую лютую полночь  
Ты не смей прикасаться к нему.

Если слово — подлец и угодник,  
Угождающий этим и тем, —  
Не клади на его подлокотник  
Острый локоть сюжетов и тем.

Да не клонет душа на уловки  
Благозвучных, фальшивых примет,  
Распродавших с лотка, по дешевке, —  
Свой живой семантический свет!

1995

## БЕССОННИЦА

Кашенко спятил на почве сна:  
Спит распятый у телеящика.  
В спячку впала даже стена  
Психбольницы имени Спященко.

Сплю... Вдруг слышу за дверью храп,  
Сплюнул, бред отсылая к пращурам:  
То санитар — здоровенный шкап —  
Входит в палату двуногим Спящуром.

Сны слонами по коридорам  
Шепчут с мухами в унисон:  
“Спите, списки больных, которым  
Завтра снова — электросон”.

Спите, старые суперстары,  
У спотворного на цепи,  
Шизокрылые санитары —  
Принял спирта грамм сто — и спи!

Спите все, кому ночь — не спица,  
Не иголочка в сене сна,  
А для тех, кому вновь не спится,  
Есть Матросская Тишина.

1995

## АНТИ-МЫ

земное ЗДЕСЬ — в потемках поредельх  
сквозное ТАМ — крадется по земле —  
душа же обитает в тех пределах  
где только МЫ в единственном числе

Я мыкается в муках озверельх  
ТЫ тыркается мухой на стекле —  
душа же обитает в тех пределах  
где только МЫ в единственном числе

СЕЙЧАС грустит о чувствах скороспелых  
ПОТОМ — руками тянется к золе —  
душа же обитает в тех пределах  
где только МЫ в единственном числе

в окне пробел но дело не в пробелах —  
лимит луны от лени на нуле —  
душа же обитает в тех пределах  
где только МЫ в единственном числе

частицы отрекаются от целых  
и тело тяжелеет на игле —  
душа же обитает в тех пределах  
где только МЫ в единственном числе

1995

## НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗГОВОР

Нам разорванную цепь не связать,  
Не найти достойных средств и причин.  
Если нечего друг другу сказать —  
Так давай о чем-нибудь помолчим.

Нас не сблизят ни года, ни молва  
Пестротой своих гримас и личин.  
Коль утратили значенье слова —  
Так давай о чем-нибудь помолчим.

Беспробудным сном мне кажется явь,  
Образ в памяти едва различим,  
Но не стоит беречь — ах, оставь! —  
Ах, давай о чем-нибудь помолчим.

Ты становишься все больше ничьей.  
Я и сам уже давно стал ничьим.  
Коль не создан наш язык для речей —  
Так давай о чем-нибудь помолчим.

Разучившись доверять падежам  
Судьбы слов и смысловых величин,  
Не сложился разговор по душам —  
Так давай о чем-нибудь помолчим.

Пусть молчанье на губах — как печать  
Всех совместных наших ссор и кручин,  
Если есть еще о чем помолчать —  
Так давай о чем-нибудь помолчим.

1985

## ТЕЛЕФОН

мне снился сон  
и в этом сне  
Я позвонил домой ко МНЕ

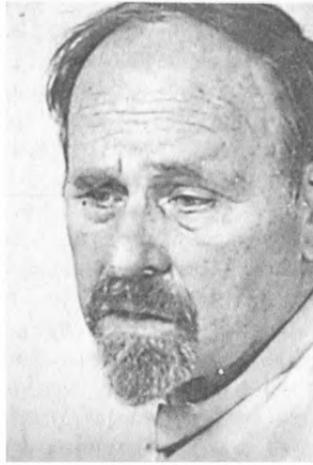
и голос мой довольно вня  
МНЕ сообщил что нет МЕНЯ

Я номер вновь набрал и вот  
МНЕ голос тот сказал тогда  
что Я здесь больше не живёт  
что ВЫ звоните не туда

Я заорал в ответ: Враньё!  
Я — это Я  
и Ё — моё  
мол что за штучки  
что за тон? —

Я взял за горло телефон  
Я взял мой голос за грудки  
но лишь короткие гудки  
услышал в трубке напослед  
поняв что Я здесь больше нет

1994



*Михаил Воздвиженский*

## СТРИПТИЗ

Из романа “Страсти по-славянски”

Женя Соловейчик вырос совсем немного, выглядел почти карликом, жил одиноко в тихом переулке у Никитских ворот, жил одиноко в том смысле, что не имел твердой жены, родителей и вообще родственников. Был у него, правда, дядя, да где-то в Гомеле. И вот при такой оголенности в близких комната Жени никогда не пустовала в жалком ознобе.

Истрин когда-то работал с Женей в одном КБ, где Женя был всеобщим любимцем. Кроме того, что Женя всегда улыбался, в левом кармане брюк, как у человека начисто холостого, водились, точнее сказать, скапливались некоторые суммы денег, которые Женя одалживал. Он почти до локтя засовывал руку в карман, долго рыскал в нем, будто слепой, попавший в незнакомую комнату, дебитор при этом нетерпеливо дергал головой, уже мало надеясь на благоприятный исход, но рука выползала наружу, держа именно ту сумму, что ожидал проситель. Женя никогда не напоминал о долге, но хорошо помнил, кому и сколько одолжил. Он привык к тому, что деньги ему возвращали, привык и к тому, что возвращали с большим опозданием. Он ненавязчиво заставлял вспомнить о долге лишь в том случае, когда должник приходил за новым кредитом. Тогда Женечка улыбался еще приветливее и немного слезящимися глазами несколько дольше обычного задерживал взгляд на просителе, который тут же сам напоминал о своем дол-

ге. Любили Женечку и все женщины отдела, они охотно делились с ним своими семейными тайнами, доверяя иной раз Женечке преинтимнейшие стороны супружеских отношений, видимо, просто забывая, что перед ними мужчина, пусть несколько антиимпозантного облика, но все же не свнух. Женечка всем сочувствовал, женщинам было приятно. Женечка переходил таким манером от кульмана к кульману, с ним общались, продолжая работать, и, если на пол во время беседы падал ластик или ножичек для заточки карандаша, Женечка проворно поднимал предмет, дул с него пыль и любезно возвращал владельце.

Грозный начальник отдела Виктор Михайлович Передня, посаженный в отделе для удержания дисциплины, не позволял никому отвлекаться от работы, но Женечке почему-то прощал общительные визиты. Женечка работал чрезвычайно медленно, но и здесь Передня сносил неударный темп. Возможно, потому, что, в общем, Женечка мог считаться конструктором дисциплинированным: не удалялся среди рабочего дня в ближайшее кафе, дабы опрокинуть стакан, как это делали многие, был на виду, а иной раз с неделю работал в ускоренном режиме, выдавая кое-какие узлы. Чтобы Женечку не сочли совершеннейшим святым, следует заметить, что и у него была шаткая слабина. Случалось Женечке явиться на службу не то чтобы с похмелья, чем грешил, между прочим, и сам Передня, а скорее невыспавшимся. В такие дни Женечка выглядел исключительно вялым, его даже не хватало на визиты к дамам. Кульман Женечки замирал, а проходившие мимо коллеги могли наблюдать, как человек добросовестно борется со сном. И пусть побеждал не Женечка, всякий мог заметить страстное желание Женечки трудиться, несмотря на непреодолимые трудности физического свойства. Даже в том случае, когда примерный конструктор начисто засыпал, застенчиво уткнувшись носом в бумагу, рука Женечки твердо держала карандаш, причем острие карандаша не болталось где-то у ног Жени, а торчало у линейки, будто грифель просто-напросто остановился перед тем, как провести чрезвычайной важности линию. И было трудно даже вообразить, что хозяин грифеля спит мертвецки крепко, кабы не характерное сопение. Но и в таких случаях Виктор Михайлович не будил конструктора грубым окриком, как разбудил бы любого из пятидесяти подчиненных. Он только останавливался у спящего кульмана, задумчиво склонив набок начальственную голову. Ибо Виктор Михайлович знал, что результат временной нетрудоспособности сотрудника обусловлен не запоем, а обстоятельствами, от Женечки не зависящими, скорее всего, накануне побывали гости, которых Женечка не звал, которые ввалились, может стать, в тот самый момент, когда Женечка, думая исключительно о предстоящем рабочем дне, собрался почитать. Гости, вероятно, втянули Соловейчика в карточную игру, зная, что хозяин никому ни в чем не отказывает.

Комната Женечки находилась на втором этаже старого двухэтажного дома. И хотя комната входила в коммунальную систему кварти-

ры, имела меж тем отдельный вход с входной дверью на первом этаже и деревянной лестницей. Это обстоятельство придавало особый шик. Чтобы войти к Женечке, можно было просто крикнуть, задрав голову к его окну, а то и попросту свистнуть. Открывалось окно, появлялся сначала нос Жени, затем несколько недовольное лицо, которое однако, начинало тут же улыбаться. Женечку обожали все истинные мужчины, жившие в пространстве от Никитских ворот до Арбата. К нему можно было зайти на койко-место с выпивкой, женщиной и закуской. Условия свидания, обусловленные негласно, представляли аховый интерес: Женечка никуда не должен был уходить, а оставался присутствовать. Милые дамы, шедшие на такое фантастическое randevu, заранее предупреждались, при этом, разумеется, зрачки их прекрасных глаз уже загодя расширялись, а возникший румянец делал их лица еще прекраснее.

Владела Женечкой и трогательная, но испепеляющая страсть игрока. Был Соловейчик футбольным болельщиком, завсегдатаем бегов, где помимо государственного тотализатора пользовался услугами доморощенных букмекеров. Не брезговал Женечка также сермяжной железкой, шахматами, домино, только, в отличие от многочисленных любителей этих игр, Женечка играл исключительно на деньги. Но главной горячкой Женечки были карты. Он обладал уникальным знанием почти всех карточных игр. Помимо рабоче-крестьянского очка, а также кадастра, шестидесяти шести, козла и рамса Женечка обожал покер, бридж, знал старинный вист и, конечно же, играл в преферанс, во все его разновидности, коих было не меньше, чем союзных республик. Карточные гости Женечки случались фантазмагорического диапазона. Час назад покинул Женечкину комнату партнер по рамсу — слесарь-алкаш из домоуправления, одетый в телогрейку, из швов которой торчали ключья желтой ваты, и вот уже за бриджем восседают знаменитый бас, сибарит и богач, не менее respectable хирург и пышный генерал.

Словом, комната Женечки являла собой некий клуб или, если угодно, благоустроенный притон, о чем хорошо был осведомлен участковый милиционер, который в дни дежурств частенько захаживал к Женечке полюбопытствовать на игру. Николай Ильич Грозохватов, как и Виктор Михайлович Передня, многое прощал Женечке, и трудно было сказать, что более умиляло старого служаку — редкая ли тщедушность подопечного, эдакая физическая незначительность, за которой невозможно было и вообразить злостного нарушителя порядка, или необычайное радушие хозяина. Странная ли комната, будто осколок прошлого века — с русской печью, лежанкой на ней, или оглушительная разносортница гостей, нашедших в тихой комнате приют для карточного занятия — пристрастия старинного, исконно русского развлечения, но жестко прикрытого властями нового государства. Задавить начисто сугубо камеральную игру, разумеется, не удалось, бессильным

оказался даже участковый надсмотр. Николай Ильич заходил к Женечке на минуту-другую в качестве официального посланника государственной власти, но невольно просиживал за спиной какого-нибудь игрока уже в качестве гостя. Так до конца и не освоив ни одного из вариантов преферанса, он нередко выговаривал играющему: “Разве можно так неосторожно? И вовсе вам не следовало вистовать, у вас абсолютно не было собственного хода!” Нравилась старшему лейтенанту ситуации, когда солидный генерал поворачивал к нему румяное лицо и запальчиво шептал, как бы советуясь: “Ну что, милейший, семь бубен?!! Однако, судя по торговле, мы с вами можем взять и все восемь! А?” Генерал заказывал восемь бубен, и Николай Ильич сокрушенно качал головой. Случалось, в азарте игры милиционер, благоволивший хозяину квартиры, отнюдь не брезгливо, ловким движением офицерской руки смахивал с Жениного носа аварийную каплю.

Возникали, конечно же, и по многу раз, всякого рода конфликты в квартире Соловейчика. Попадались скандальные игроки, попадались гости, пившие с норовом, считавшие не переменным ритуалом застолья песню. Неслась тогда вдоль переулка громкая мелодия “Черного кота”, шокируя ночных прохожих и охранников посольств. Нередко даже легкая выпивка заканчивалась тротиловой бранью и крепчайшими драками. Иной раз высокоинтеллектуальная игра оборачивалась тем, что один из бриджменов бывал спущенным с крутой лестницы, после чего неугодный, отряхнувшись, уже под окнами поносил грубо обошедшихся с ним партнеров, не обращая внимания на соседство с посольством, не думая о покое жильцов соседних домов — невольных слушателей городского фольклора. Подобные накладки вели к наветям, часто письменным, которые оказывались в полевом планшете Грозохватова. Николай Ильич в конфронтационных ситуациях появлялся у Женечки, заходя не с улицы, а официально продираясь через лабиринт кухонных веревок с бельем соседней. Костяшкой твердого пальца требовательно стучал в дверь. Женечка, почти всегда зная причину официального визита служивого, снимал цепочку, поворачивал замок, впускал государственное лицо, а свое опускал чуть ли не до самого пола, будто рассматривая внизу мельчайшие пылинки. Огромного роста старший лейтенант, в свою очередь, также вынужден был смотреть сверху вниз, ища не мусор на полу, а самого хозяина, столь мелко тот выглядел в понурой ситуации.

— Уже не раз, Евгений Натанович, я предупреждал вас! — приступал к назиданию Грозохватов. — Надобно вам срочно научиться выбирать гостей для посещения. Будучи человеком вполне умственным, вы снова изволили меня не слушать! Вчерашний скандал, учиненный на вашей жилплощади, выходит за все рамы. И что за нужда была садиться с ним в шахматы, когда он и шашку не способен освоить, потому что как в быту есть сплошной отрицательный минус. С этой стороны я его знаю давно и терпеть ненавижу. Стрижет он, конечно, вежливо,

пяточкой обработает височки, от него уходишь в большом настроении, но зачем вести с ним игру на ум, где он — что жираф в окопе?

Женечка молчал, он почти всегда молчал, молча платил околоточному штрафу в размере пяти рублей, решительно при этом отказываясь от квитанции. Николай Ильич, помягчавши, выпивал чай с ликером или с коньяком. У Женечки всегда водилась чарующая снедь, скапливалось и замысловатое разгорячительное. Всяк, приходивший к нему с дамой, нес закуску, так сказать, праздничную. Ели гости с таким расчетом, чтобы какая-то часть оставалась и хозяину. Женечка в основном и питался этими деликатесами, среди коих случались огненная кета и чавычга, осетровый балычок с бриллиантовым отливом, крабовые клешни, исполосованные красной вязью. Появлялась разнообразная икра, и гости знали, что Женечка предпочитал паюсную, а среди мясных копченостей выделял “Московскую шейку”. Оседало в доме и недоиспользованное спиртное: десятилетней выдержки ликеры “Бенедиктин” и “Шартрез”, бутылки кубинских аперитивов, причем, если ром повстанцев по 8 рублей 10 копеек гостями хотя бы наполовину опорожнялся, то ананасный или банановый ликер южных друзей лишь пробовался и отставлялся в сторону. Без остатка шла только водка. Женечка, имевший почти всегда выигрыш в картах и шахматах, надо полагать, и так именно все и полагали, зарплату свою откладывал на книжку, а в левом кармане брюк носил этот самый выигрыш. В магазине он покупал разве что хлеб, хотя, справедливости ради, надо сказать, что на людях он ел очень мало, иногда за полдня съедал одну булочку, которую, независимо от сорта, называл плюшкой.

К Женечке и решил привести подходящую для стриптиза женщину Геннадий Истрин. Индивидуальную танцовщицу найти долго не удавалось, но однажды, после просмотра фильма “Милое семейство”, в сквере кинотеатра “Россия” у него попросили прикурить две девочки... За милым разговором под начавшийся дождь Истрин выяснил, что девочки слышали о забаве под названием “стриптиз” и вовсе не прочь были изобразить нечто в этом роде. Лимонный свет фонарей не скрыл вдохновенного курсива в глазах девочек, означавшего в какой-то степени порыв смелости. Геннадий немедленно предложил недалекий маршрут к приятелю с заходом в магазин “Армения”. Девочки легко снялись со скамейки — так резко начинают движение любители водных лыж, стянутые с причала мощью катерного мотора. Моросивший дождь подтолкнул компанию, и все трое быстро оказались в сутолоке магазина, где рассыпались в разные очереди для закупки сухой бараньей колбасы суджук — армянского чуда всего за 2 рубля 50 копеек и бутылки армянского коньяка. Троллейбус № 15 гостеприимно зашипел шинами и так быстро прикатил к Никитским воротам, что Истрин успел лишь справиться о возрасте Лили и Зины — обоим оказалось значительно больше семнадцати, но в то же время далеко и до восемнадца-

ти. Девочки, в свою очередь, поинтересовались, не страшен ли для них приятель Геннадия.

— Абсолютно безопасен! — заверил Истрин. — Не красавец, немного, знаете ли, великоват носик, не скажешь, что гигантского, роста и по этой части, — Геннадий поднял бутылку, — тоже не боец!

Женечка как раз проводил гостя, с которым сражался в гусарика. Карты были убраны, выигранные деньги спрятаны, Женечка даже успел съесть куриную ножку, тщательно облизать косточку и выпить стаканчик яблочного сока со швейцарским сыром. Ел он несколько тревожно, ускользящая пища не вся попадала в рот, Женечка вынужден был подобрать со стола некоторые кусочки, вынужден был затереть мокрой тряпкой свежие пятна на курточке. Затем он высморкался над раковиной, тщательно вымыл нос и губы, которые тут же рубиново засверкали. Найдя под столом карандаш, Женечка бесстрастно внес результат матча “Зенит” и “Торпедо” в таблицу, высевшую на стене, и тут услышал характерный посвист Истрина. Женечка, зорко оглядев комнату, пошел открывать.

Девочки, поднимаясь по темной лестнице, в первый момент подумали, что им открыл ребенок. Поднявшись, гости ввалились в пространство двенадцати Жениных метров и сели тут же за стол, впрочем, другой посадки, как сразу за стол, обстановка не предусматривала. Углы комнаты были заставлены разномастной по стилю мебелью, включавшей шкаф и две этажерки, на которых громоздились стопки книг и покрытые пылью связки старых газет. Пока рассаживались, Лиля шепнула Геннадию:

— Ничего себе носик! Целое сооружение.

Зина брезгливо сторонилась вещей, вдруг окруживших ее. Она как-то сразу возненавидела черноватую марлеву занавеску, жирный умывальник, лоск подушки, валявшейся на незастеленной кровати, в двух местах прожженный абажур, какой-то тюк из мешковины, спавший под кроватью, в который уткнулся мысок ее туфли, и особенно липкую клеенку, подброшенную Женечкой для пиршества.

Оно началось немедленно, как расселись. Истрин откупорил бутылку и разлил коньяк в две рюмки и два стакана. Девочки охотно приняли напиток, они поначалу даже слишком мощно подключились, что радовало Истрина, понимавшего, сколь важен для задуманного высокий градус энтузиазма. Но темп был явно высоковат, и Геннадий притормозил пыл будущих танцовщиц:

— Колбаску, девочки! Употребляйте хотя бы изредка. Что вы все курите!

— Она вкусная, конечно, но, чтобы ее сжевать, нужна пасть верблюда, — рассудительно заметила Лиля.

— Девочки выбрали профессию медсестер! — объявил Геннадий сведение из биографии гостей. — Призвание, как я понимаю!

— Не в ремеслу же было идти... Месяц уже пашем после училища. Больница чистая, больные добрые. Один мужик перед тем, как

подойдешь и нему с уколом, командует: “Вставай, жопа, я готов!” Уколы они называют “брать металл”.

— А противный коньяк, хотя и армянский, — сказала Зина, икнув. — И теплый.

— Ничего больше нет? — спросил Геннадий Женечку.

— Кубинский ликер! — заулыбался Женечка.

— Доставай! Он хотя бы сладкий. Дамы обожают сладенькое.

— А почему вы все время молчите? — спросила Зина Женечку.

— Я? — удивился Женечка. — Я говорю много лишнего!

— Вы ничего не говорите, — настаивала Зина.

— Так только кажется, — вежливо возразил Женя.

— Ладно, не смущайтесь! Крутом много говорят... У нас такая республика. Я раз жила в доме отдыха с теткой. Утром она проснется: “С добрым утром!” Ну, скажешь ей: “Здрасьте!” Днем увидит меня и опять: “С добрым днем!” Да ты что, тетка, подумаешь, но поздороваешься, не светиться же. Вечером придешь с бля... то есть с танцев, она снова за свое: “Добрый вечер!” И так каждый день, я просто обалдела! Оставалось ночью еще здороваться.

— Фу! — воскликнула Лиля, попробовав ликер. — Фу! Что за дрянь? Гена, дай-ка мне запить коньячка...

— Вы бы, Женя, хоть подмели у себя... — Наконец задала Зина давно назревший вопрос. — Тут хоть раз мыли полы?

— А зачем? — улыбнулся Женечка. — С работы придешь, сядешь... за стол и снова на работу.

— Наняли бы кого... У нас больной лежит, оказывает любые услуги. Добрые. Сам рассказывал. Может кому посуду отодрать, может книгу читать, кому лень. Его как-то старуха наняла, чтоб он ей влюбленно смотрел в глаза и говорил приятные комплименты. В час десять рублей. Он и полы вам вымоет!

— За десять рублей я и сам помою, — возразил Женечка.

— И помойте!

— А кто заплатит?

— Тогда жениться надо! — серьезно посоветовала Зина, почему-то засмеявшись.

Геннадий также незаметно улыбнулся. Женатый Женечка!.. После двух пулек — в постель к жене. Впрочем, в облике Женечки ежесекундно ощущалось волнение по отношению к женскому полу. Были случаи, когда пришедший к Женечке гость, отойдя от страстного волнения, обнаруживал рядом на постели свернувшегося калачом хозяина. Некоторые добряки, показывая на глубоко спящую красавицу, любезно отодвигались и многозначительно кивали Женечке, который немедленно овладевал освободившейся территорией, блеснув в темноте горящими глазами вольного беркута. Иной раз гостю случалось спуститься к автомату, дабы предупредить супругу о затянувшемся совещании. Женечка в этих случаях не терялся и всегда успевал, то есть

успевал во всех смыслах, так что очнувшись в теплоте бессознательности дама говорила потом своему ночному ухажеру: “Ну, ты настоящий буйвол! Ты всегда возникаешь со второго раза?!” Новоиспеченный буйвол с похмелья тряс головой, стараясь ухватить невнятную арифметику, но не возражал, а выпячивал грудь, потому что похвала нужна не только ребенку, но и любовнику, пусть и лишает оно здорового смысла и арифметического чутья...

— Хорошо, но мы отвлекаемся от главного! — уловив подходящий момент в настроении собравшихся, сказал Геннадий. — Девочки обещали озорной концертик, разбойно-интимный спектакль для четырех бешеных глаз!

— Он меня и так облизал своими глазищами! — капризно заявила Зина, показав пальцем на Женю.

— Облизал — не избил! — деловито остановил ее Геннадий. — Мы ждем, девочки!

— Это делается на столе! — Лиля легко забралась на стол и весело оглядела публику. — Женечка уже сплону пустил! Нужна музыка. Что у тебя гремит, Женя?

— Приемник! — в самом деле немного сплняво ответил Женечка. — Но без коротких волн...

— Врубай, что есть!

В приемнике пел ансамбль Советской Армии. Геннадий принялся убирать из-под ног Лили посуду. Лили стягивала с себя платье. Под звуки марша она затем осторожно прошлась по столу.

— Налей-ка мне еще рюмочку!

Лиля наклонилась к поднятой руке Геннадия и, расплескав половину, выпила. Геннадий видел, как расплывались капли, упавшие на чулок. Сквозь протертость проступал ноготь большого пальца. Лиля освободилась от застиранной мякоти комбинации, хлопчатая ткань под духовые армейцев взметнулась к потолку и парила легкой тучкой, словно белая дочь старца созвучий. По лицу Женечки полновластно шла царственная волна сосредоточенного увлечения, рябью кривились губы, а взволнованная кровь еще пуще раскрасила ноздри.

— Женечка, ты сейчас кончишь! — неслось сверху. — Под песню Туликова!

Лиля приступила к отстегиванию пуговиц на поясе, пуговиц было много, как на кителе полевого генерала. Пояс ослаб и сам собою спустился к столешнице, потянув за собой обвисшие чулки. Зина курила, и взгляд ее был строг — так смотрят серьезный документальный фильм, пытаясь разобраться в коварстве пи-мезонов и всеядности нейтрино. Лиля сделала круговое движение и, свив над головой руки, наступила на упавший пояс сначала одной, а затем другой ногой и, нагнувшись, расстегнула две пуговицы старомодного лифчика и, нагнувшись в другой раз, двумя пальцами вынула изо рта Геннадия сигарету, выпрямившись затем, двумя пальцами щелкнула резинкой трусиков, и двумя

пальцами стянула их до колен, и двумя пальцами отбросила их в сторону.

— Вот она, вот она на ...намотана! — спела Лиля, подстроившись под песню “Полюшко-поле”, что было не просто, потому как артисты пели протяжно, а ей надо было порезче, стук копыт в песне сливался со стуком слов о слова, а с ногтей этой Лили, подумал Геннадий, слез маникюр...

— Блестяще! — воскликнул Истрин, оглядывая зрителей. — Она сделала все, что делают в Париже! — Ему вдруг захотелось оказаться в тихом лесу и смотреть на стебли травы, увидеть игру стебля с кристалликом влаги на острие. — Блестяще! — воскликнул он еще раз, думая, что опыт тела есть опыт жизни, что человек всегда воспринимает мир через собственное тело; случись в нем изъян — и мир уже не тот, не те цвета, не тот запах, не те звуки, все новое в теле пугает, затмевая сознание. — Ты молодец, Лилька! — как можно веселее и непринужденнее крикнул он вверх, думая о том, что собственное тело принадлежит также всему миру и можно поместить свое тело в разные точки планеты, в пустыню или на лед Гренландии, езжай и помещай! Только у животных мир слит с телом, они не осознают своего тела вообще, безразличны к нему, не трясутся над ним, их сознание, их желания, их страдания и ненависть, коль они испытывают такие чувства, — все умещается в теле, как в бутылке... Ликер вот никто не хочет помещать в тело, еще вдруг подумал Геннадий Истрин, тут мы разборчивы, как разборчивы в партнерах по совокуплению, нам только безразличны времена года, мы готовы и летом, и зимой; и утром, и вечером, но нашим серьезным телам, видите ли, еще требуется видеть другие тела, чужое тело.

— Ну, красивая я? — спросила Лиля, когда вдруг кончился концерт ансамбля и в приемнике пошло сообщение об уборке яровых. — Все! Слезаю, подайте руку!

— Ты с ума сошла! — встрепенулся Истрин. — Сползи потихоньку сама, ведь целый каскад поз! Ты задумала лишить нас каскада?!

— Пошли вы... Я спрыгну! — Лиля спрыгнула со стола. — Как в Париже? Ты был в Париже?

— Мне кажется, я там побывал. Сегодня...

— Сигареты кончились! — отбрасывая пустую пачку, объявила Зина.

— Вы их не курите, а едите! — заметил Женя, который не курил.

Достали чинарики, искурили их, но кончились и чинарики. Лиля сидела по-прежнему голой. Женечка уговаривал Зину провести дубль-сеанс.

— Я еще не доросла, слишком высокий полет. Достаньте сигарет! Мужики, называется...

— Ночь, Зиночка! — сказал Геннадий. — Даже рестораны закрыты. Темно, Зиночка!

— Пойди стрельни у прохожих.

— Откуда в этом переулке прохожие! Разошлись прохожие...

— А ну их! — очнулась Лиля. — Пойду сама стрельну!

Она залпом выпила рюмку и решительно направилась к двери.

— Накинь хотя бы простыню! — попросил Геннадий.

Лилия остановилась, подняла комбинацию и неуклюже, словно чужую вещь, натянула на тело.

— Давайте, я с вами пойду! — великодушно предложил Женечка.

— Сиди, руль! С тобой мне ничего не дадут.

Никто не смог воспрепятствовать, тела тлели в неге. Лилия шумно спустилась по лестнице и надорванным голосом объявила под окном невменяемый манифест:

— Суки ленивые! Но я найду чернорабочего человека с “Беломором”! Да здравствует смычка деревни с голодом! Членораздельно наступим слону на ухо!

Шаги ее смокли. Женечка запустил тонкую руку за ворот кофточ-ки Зины.

— Ты лучше здесь, — заворковала Зина. — Трусики шелковые, ты пощупай, гладенькие, правда?

Женечка, похоже, был неспособен что-либо отвечать, он шумно дышал, челюсти его вмерзли сваями, руки зашлись в новой работе. Пальцы читают по системе Брайля топографию плоти, подумал Геннадий, какая-то противоестественная игра похоти в прятки, витает дурман долготерпения, хотя по законам требуется втыкание рубильника, но нет, простой путь исключен, касание лепестков розы возводится в космическую победу, а какая лавина процессов сопутствует прикосновению, можно написать докторскую диссертацию, гекабиты потребуются для алгоритма страсти, а тут и гидравлика, и пневматика, и не покажется простенькой кандидатская диссертация по термодинамике поцелуя по возмущенным потокам вследствие, сейчас в Жениной кошонке бурлят океаны, хотя пару часов назад все было там объ-ято тишиной и покоем, а сперматозоиды валялись, как сытые коты в полдень...

Под окном раздался голос добыгчицы, про которую уже и позабыли:

— Эй вы! Идет женщина мощностью в одну лошадиную силу! Готовьте, собаки, стакан даме-спасительнице! И случнячок достойный!

Она бросила на стол пачку.

— Хмырь косоглазый пожертвовал! Приличный человек с бабочкой. Хотела попроситься к нему в постельку, да откуда ни возьмись мент... Курим, в общем...

И допили, и доели, и проливали мимо, и Лилия — дикая потешница — пропахала все стадии разгула: ночной рукой смахнула со стола звон, ударила пьяной слезой по садку души, селитрово взорвала отчаяние, заневовлила смолой нежности прикосновение, наконец с детским простодушием, опершись на локоть, спросила невинно и томно: “Ты заметил, Геночка, как хорошо у меня отросли руки? А ножки? А это?” И она пальцами оттянула соски грудей.

Сверху, с печки, была видна кровать и была видна Зина, но не было видно Женечки, он растворился в том, что называется жизнью, даже дыхание было задушено, Геннадия задышалось легко, ибо там, внизу, хоть и на время, был счастлив один из тех, кого жизнь несправедливо попирает, жмет, хотя ущемленный вовсе не виноват в том, что на нем печать ущерба, это животным все равно, какое тело у самца или самки, лишь бы хорошо пахло и не пахло агрессией. И ушло отчаяние, и стало жалко Лилю, и захотелось простить тех, кто придумал стриптиз, как и тех, кто первым пошил одежду...

Утром девочки уехали на дежурство, а Женечка уехал сидеть за кульманом, а Геннадий уехал на свой почтовый ящик, чтобы в обстановке совершенной секретности производить секреты полишинеля. Геннадий напросился посмотреть игру знаменитого преферансиста, который должен был посетить Женины апартаменты. Геннадий встретил Женечку у памятника Тимирязеву, а когда они вместе поднялись на второй этаж, Женечка долго ходил, поднявши голову и приняхиваясь.

— Что за запах? А-аа, ты все равно не различишь!.. Только некурящий способен... Благоухание какое-то...

Но и Геннадий учуял королевский дух, словно двести трав настояли, отобрав у каждой лучший оттенок, так умелый дирижер способен выпятить каждый красивый звук, оттенить инструмент, чтобы в момент, когда они звучат все вместе, был различим и томный кларнет, и умудренный опытом жизни гобой, и нежная, будто влюбленная женщина, скрипка...

— Откуда запах? — не унимался в дознании Женечка. — Ты вечно куришь последнюю дрянь...

И вспомнили разом, и не поленились найти в мусорном ведре смятую пачку.

— Турция! — прочел Женечка. — Куряки... Не заметили вкуса турецкого табака!

— После армянского самогона и твоего ликера какой уж там вкус!

— Интересно, кто же ей дал пачку? — спросил Женя Соловейчик приятеля несколько упавшим голосом, словно предчувствуя ответ.

Ответ он вскоре и услышал, ибо первым в этот вечер появился у него не знаменитый преферансист, а Грозохватов. Стук раздался со стороны кухни, откуда гостей не ждали. Женечка обреченно открыл замки. Старший лейтенант встал посреди комнаты каменным столбом. Он оглядел углы комнаты, втянул воздух, долгим тягучим взглядом изучал Геннадия, после чего голосом, страшнее небесного грома, молвил:

— Ну здравствуйте, Евгений Натанович!

Женечка, хорошо зная оттенки надзирательного чина, передернулся. На вразумительное "Здравствуйте!" его не хватило, он изрек нечто невразумительное, больше похожее на стон.

— Гуляли, Евгений Натанович? — вел дальше следствие чин.

Женечка по обыкновению молчал.

— Можете не отвечать, — мрачно согласился Грозохватов. — Гуляли! Вот только, не поясните ли мне, уважаемый, что за гостья выпрыгнула из вашей комнаты в одном предмете? И куда она в таком одеянии подалась, будучи в крайней стадии алкогольного опьянения?

Женечка молчал.

— Вы совсем уже себя распустили! — надавил еще сильнее участковый и развернул на животе планшет. — Вы докатились до политического разбоя, Евгений Натанович! И встает вопрос колоссальной важности... — Женечка двинул плечом, давая знак, что не понимает до конца полного смысла слов. — Я, с вашего разрешения, сяду! — Грозохватов сел у стола и разложил удобно планшет. — Поясняю: ваша голая девица метнулась аккуратно к секретарю посольства государства Япония! Так что у нас с вами начинают танцевать голые факты. Охранником посольства составлена докладная записка, а в ней мы читаем... — Грозохватов отщелкнул кнопочные затворы планшета и вытянул из-под пластмассовой перегородки исписанный лист бумаги. Напяливши затем очки, Грозохватов процитировал: — Означенная девица женского пола без всего, но в одной исподней, нетвердо кинулась к машине, не обращая внимания на госфлаг, развернутый на капоте, и нахально вступила в просьбу с дипработником насчет курева, а получивши целую пачку, продолжала разговор на недопустимую тему. Я вынужден был силою удержать ее от дальнейших слов по отношению к официальному лицу посредством взятия за руку и оттяжки от означенного лица...

Грозохватов снял очки, тяжело выдохнул накопившийся воздух возмущения и пробуравил Женечку острым следственным взором.

— Давайте, Евгений Натанович, покраснеем за свои поступки! И не советую отпираться, что девица была не от вас. Охранник проследил ее обратный рейс, а потом известно, что ночью так убухаться можно лишь у вас. И он мог бы по сердечности пристрелить из оружия голую или вызвать специальную карету для ее задержания, но, уважая до вчерашнего вечера вас, как человека образования, не использовал широкие возможности для уничтожения нарушительницы. И материал сей передал в наше отделение. А что вышло бы, передай он его на Петровку или, упаси бог, на Лубянскую площадь, а?

При последнем вопросе Женечка поднял глаза, полные крупного опасения. Грозохватов продолжал:

— Легко можно предположить, что девица в момент контакта передала иностранцу наши тайны. Или он ей в этой пачке передал свои тайные шифры. Откуда она взялась у вас, эта шпионка?

Женечка молчал. Его левая рука уже давно гуляла в левом кармане брюк. Женечка выжидал. Он умел ждать, как-то упруго ждать. И молчать. Сервомеханизм скрытой одержимости говорить иной раз и спра-

батывал, отцеплялся, но в совершенно иных ситуациях. Геннадий однажды наблюдал за Женечкой, который стоял у кульмана Милы Заславской, там он говорил поистинне одержимо, словно вериги соскочили с языка, а кандалы превратились в браслеты. Женечка впивался в собеседницу словами, он рвал слова, как паук перегрызает хребет комара, незримыми штифтиками смысла он приковывал внимание собеседницы, прорванная запруда растекалась половодьем, то был бенефис речи...

Грозохватов меж тем уже заметил пропавшую руку и, грозно посмотрев на Геннадия, закончил свое дознание вердиктом:

— Так что придется вам, Евгений Натанович, написать на мое имя заявление о недопущении впредь всяких шпионских связей с женщинами легкого одеяния, которые используют вашу прописку для контакта с резидентами из вражеских государств. А за случившийся инцидент извольте уплатить штрафик, на сей раз в размере двадцати пяти рублей!

Расплатившись, Женечка сел писать заявление, и только он вывел первые слова, как раздались первые сигналы под окном. Женечка пошел открывать дверь, а Грозохватов в паузе решил уделить внимание Истрину.

— Сослуживец? — спросил он Геннадия.

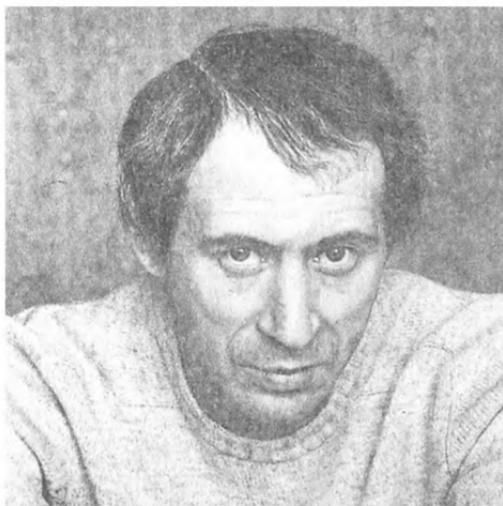
— Когда-то вместе работали, — рассеянно ответил Истрин, подумав: не лег стриптиз на душу, не та, видать, душа...

— А где сейчас служите? — коротал паузу Грозохватов.

— На ящике. — Геннадий глянул на огромные руки Грозохатова. Пальцы... Ими ломать тайгу, корчевать дубы, а он сидит, трясет бумагами. А пришелся бы ему по душе стриптиз? Неуклюже подобраны для нас души. Бешеные, отборнопсихованные...

— Там, где появился холостяк, жди проступков, — заметил опытный спец. — Вот у вас, я вижу, кольцо, стало быть, женатый человек. Надежное дельце. Даже если вашей смерти будет что-то угрожать, жена поможет! Она держит в рамке. — По лестнице поднимался Женечка с гостями. — Держит вас жена?

— Держит, — ответил Истрин, подумав: “Держит, как зеркало в траурной рамке!”



*Ефим Бершин*

## По законам ветра

Стихи

\*\*\*

*Памяти Юрия Левитанского*

Все сбылось наконец.  
Короли оказались голы  
и вальты.  
И эта дама в ночном окне  
наконец-то заснула, его глаголы  
повторяя в своем беспокойном сне.

И в песочных часах уже не песок, а пепел,  
да и тот просыпался сквозь стекло.  
И душа так легко срывается с петель,  
как калитка,  
ведущая к берегу, где светло,

где уже не важны ни глаголы, ни власть, ни вера,  
ни любовь, о которой он так молил  
ту страну, что живет по законам ветра,  
разносящего по миру  
коченеющий снег могил.

\*\*\*

Я молился еврейскому богу по-русски  
и захлебывался астматическим морем,  
жрал песок пустынь  
и протягивал руки  
за случайным хлебом.  
И не был вором.

Но скрывался, как вор, от ночного ветра  
в городах, где спала на камнях идея.  
Знал жену и войну,  
но не знал ответа:  
с кем и где я?

А однажды, неслышно скользнув из калитки,  
вышел к морю где-то у Питера или Тира  
и подслушал, как Бог играет на скрипке,  
репетируя  
сотворение мира.

\*\*\*

Выныривая из чужих ворот,  
теряя коченеющий рассудок,  
тону, беззвучный разевая рот,  
в аквариумах телефонных будок.

Твой голос — как спасительная дверь  
в страну покоя и в страну обмана,  
где голубь есть  
и зеленеет твердь,  
взошедшая из бездны океана.

Но из-под ног уходят острова,  
срываясь, как трамваи из-под тока,  
хотя еще безумствует Москва,  
не чуя приближения потопа.

Хотя еще твой голос по ночам  
несется трелью телефонных линий.  
Но первая стекает по плечам  
вода сорокасуточного ливня.

Куда нам плыть, когда уже одни,  
когда уже и дни теряют числа?  
Я здесь пока.  
Я чист перед людьми.  
Но на ковчег уже согнали чистых.

И вот, почти не ощущая плоть,  
за мороженый предпотопным действием,  
иду по суше, как ходил Господь  
по непокорным водам иудейским.

\*\*\*

Я знал, что будут ночи гулками,  
промерзшими, как Рождество,  
любовь скользнет меж переулками,  
похожая на воровство,

что над изломанною жестами  
беседой в доме книголюба  
взмнется птичье имя женщины,  
впотьмах сорвавшееся с клюва,

что в этом городе, на дне  
подъезда, где шаманят стены,  
безликой фреской на стене  
соединятся наши тени.

\*\*\*

Самоубийство длиною в апрель...  
Прыганье в окна,  
печатные лица,  
дни, близорукие, как нонпарель  
с полуистлевшей газетной страницы.

Женщины — вскрытые вены весны...  
Кровью в тумане, как в смоченной вате,  
падают вниз на качелях вины,  
определяя, кто виноватей.

Кто виноватей, безжалостней? Кто  
молча уходит в разбухшее поле  
так, как с крючка опадает пальто,  
не достигая заветного пола...

\*\*\*

Я встал меж ними, где дышали  
воронки струпьями огня.  
И с двух сторон они решали,  
кому из них убить меня.

Но не решили.  
Солнце село,  
изнанку леса показав.  
Я спутал логику прицела,  
задачу передоказав.

И снайперы, сверкнув затвором,  
лишь птиц спугнули с черных крон.  
А я себе казался вором,  
укравшим пищу у ворон.

\*\*\*

Разрывы. Перья. Облака.  
Струя кровавого рассвета.  
Давай-ка улетим, пока  
над головой хватает ветра.

Но женщина, присев к столу,  
как музыкант — больную скрипку,  
пронзает ржавую иглу,  
вдевая выцветшую нитку,

пытаясь наскоро, к утру,  
уйдя от мира, как от плена,  
заштопать черную дыру  
и на чулке,  
и на Вселенной.



*Игорь Холин*

## Из книги “Иерусалимские пересказы”

### КУВШИН

Возле колодца суетилась стайка иудейских женщин. Во время этой суеты у одной из них выпал из рук кувшин. И, упав на утрамбованную ногами многих землю, разбился...

Огорченная женщина опустила на колени и стала собирать черепки, чтобы выбросить их в яму.

Тут подошел человек из назареев с лицом, озаренным приветливой улыбкой, взял у женщины осколки, сложил их один к одному, сказав:

— Возьми свой кувшин, теперь он не разобьется.

И отошел.

Действительно, кувшин сиял, как новый. А женщины зашептались между собой:

— Кто он, что умеет делать такое?

— Учитель из Назарета, — сказала одна, — теперь о нем многие говорят. О чудесах, которые совершает: слепые прозревают, прокаженные очищаются, бесноватые перестают бесноваться.

Многие из женщин, бывших у колодца, вскоре уверовали в Новое учение и повлияли на своих мужей, которые тоже уверовали.

Женщины хорошо знают, как это делается.

А кувшин?

Муж этой женщины в сердцах по какому-то поводу бросил его, что есть силы на камни.

Кувшин не разбился.

## О ВИНЕ

Один лавочник в Иерусалиме по имени Филип пил вино со случайным прохожим, которого он сам пригласил для этой цели, потому что не любил пить один.

— Говорят, — повел речь Филип, — в Канне Галилейской какой-то пророк или фокусник на свадьбе, когда кончилось вино, превратил в прекрасное вино простую колодезную воду. Если такое в действительности имело место, то зачем выращивать виноградную лозу? Ты веришь в подобную байку?

Прохожий:

— Вот ты, не имея хорошего вина, угощаешь меня какой-то кислотинной, согласен?

Лавочник:

— Признаюсь, вино не из лучших сортов. Но что поделаешь, если нет другого?

Прохожий:

— Налей-ка еще по кувшину.

Когда лавочник исполнил просьбу гостя, тот, нимало не смущаясь, провел рукой над кувшином и сказал:

— Попробуй теперь.

Лавочник:

— Отличное вино. Так это ты?

— Может быть, — сказал прохожий, встал и удалился, не добавив больше ни слова.

## ГОВОРЯЩИЙ ОСЕЛ

У одного крестьянина, который имел пристанище недалеко от Иерусалима, заговорил осел.

И хотя говорил он всего два слова: “Первосвященник свинья!” — крестьянин прекрасно понимал, что, если об этом узнают в синедрине, ему какую, прикажут побить камнями.

А потом, думал он, как я теперь повезу на базар продавать пшеницу и виноград?

Выход был один — избавиться от глупой скотины.

Позвал крестьянин сына, приказал взять осла, отвести в горы и сбросить со скалы в каменистую пропасть.

Но сын очень любил осла. Ему было жалко убивать ни в чем не повинное животное.

Отвел он его подальше от дома и выпустил на все четыре стороны, сказав:

— Уходи, куда глаза глядят!

И осел направил свои копыта в Иерусалим.

Долго бродил там по улицам, удивляя обывателей.

Они спрашивали друг у друга:

— Что это за осел, который бродит сам по себе, и что за нерадивый хозяин, отпустивший его?

Некоторые старались поймать осла. Но тот был увертлив и в руки посторонним не давался, брыкался и шелкал зубами.

Долго среди иудеев держалась молва, что именно на этом осле Учитель из Назарета въехал в Иерусалим, когда наступил час.

Правда ли это, не правда, кто скажет теперь?

## ПОТОМОК ЦАРЯ

Старый слепой иудей, собирая милостыню по деревням, забрел случайно в Иерусалим. И первый, кого он повстречал, был римский прокуратор. Улочка оказалась слишком узкой, чтобы свободно разминуться.

— Уступи дорогу, скотина! — крикнул сопровождающий начальника центурион. — Перед тобой прокуратор!

— Всего-навсего? — отозвался слепец. — Скажите ему, что перед ним прямой потомок царя Давида!

Слова старика показались римлянам неслыханной дерзостью, оскорблением римского достоинства. И один из свиты выхватил меч, чтобы прикончить оскорбителя на месте.

Но прокуратор остановил его повелительным жестом, шепнув:

— Пусть идет. Разве ты не знаешь, что впереди улица обрывается каменистой пропастью?

Старый человек был слеп. Но имел, как все слепые, обостренный слух.

Когда правитель со своей свитой удалился на подобающее расстояние, он свернул в первый попавшийся переулок.

## СТАРАЯ ОБУВЬ

Когда Новое учение стало набирать силу и в Иерусалиме во главе общины встал брат Учителя, один из фарисеев решил вступить в нее,

поскольку был человеком бедного состояния. Но робость одолевала его: а вдруг Господь покарает за отступничество от веры отцов?

Поэтому, прежде чем принять окончательное решение, он решил сходить к раввину и посоветоваться с ним.

Раввин, человек опытный не только в делах веры, но и в житейских делах, поняв, что от него хочет услышать пришедший, сказал так:

— Вот посмотри на мою обувь: кожа от старости потрескалась, местами видны дыры, да и каблуки стоптались вконец. Бросить бы ее, но нет. Она удобна, ноге в ней вольготно, нигде не трет. А если купить новую? Она будет красива и привлекательна на вид, но ведь, пока ее разносишь, сколько мозолей натрешь? Так что решай сам, переходить ли тебе в новую веру или нет.

Придя домой, фарисей задумался и в конце концов решил дело по-своему, по-фарисейски.

В новую общину вступил. Но до конца дней своих, на удивление прихожан и соседей, не носил ни старой, ни новой обуви.

Ходил босиком.



*Алексей Алексин*

## **КАРТИНКИ**

**Стихи**

### **МОСКВА — ВАРШАВА**

поляк  
с грудой сумок  
ночью в Смоленске подсел  
и до утра заполнял заполнял заполнял  
таможенную декларацию

### **НОРТ-ДАМ**

ее резная громада  
заключает в себе расцвеченное витражами  
торжественное ущелье для молений

запоздалых посетителей  
служитель выгоняет звоном ключей  
на тяжелой связке

## НЕГРИТЯНСКАЯ СВАДЬБА

похожая на карнавал  
у мэрии  
в двух десятках шагов от собора  
в Сен-Дени

ее гам  
доносится через толстые стены  
в спальню французских королей

## ГОРОД АНСИ

это  
каменная корзина с цветами  
уплывающая по гладкой воде каналов

на островке  
тюрьма с самым лучшим в мире видом на набережные

## ЮГ

платановые шоссе  
римские арены театры трехъярусные акведуки  
красноватые ломти гор  
игра в шары  
закрученные мистралем кипарисы  
саркофаг  
похожий на памятник трансформаторной будке  
с выбитым в камне черепом

желтые стены

оливы соль на губах солнце

следы башмаков Ван-Гога

## МУЗЕЙ ШАГАЛА

вся Библия  
уместилась в еврейском местечке  
с его невидуманными Авраамом Давидом Лазарем

шорником пекарем кузнецом  
беспутной Раав  
и даже Ноевым ковчегом на скрипучих колесах  
отбывающим на ярмарку

после  
будут и римляне в кожаных куртках

## ПРАЖСКИЙ ТРАМВАЙ

За несколько кроң  
он довезет тебя через весь город, позвякивая на поворотах  
колоколами Св. Витта  
и погромыхивая под готическими сводами  
соборов, где толпятся туристы с фотоаппаратами “Кодак”,

мимо деревянных святых  
с мохнатыми от пыли руками,  
словно каждый из них Исав, проморгавший первородство,

вдоль оборонительных рвов,  
какие во всех городах Европы выводили у крепостных стен  
средневековые сюзерены,  
не зная, что закладывают бульвары и парки  
для будущих сограждан,

мимо бильярдных в какой-то щели у Карлова моста,

мимо заводных апостолов на ратушной башне  
и советского танка,  
сожженного Яном Гусом,

по кривым переулкам еврейского квартала,  
где столько лет картавит жизнь,

мимо юных парочек,  
целующихся, едва стемнеет, на набережных одними губами,  
как целуются, когда все впереди,

мимо заблудившихся немок,  
разгадывающих туристическую карту при свете шестигранного  
уличного фонаря,

и памятников, оставшихся в одиночестве под дождем,

и той маленькой площади,  
где было так ветрено, и лило, и тебе продуло уши,

мимо кафе и подвальчиков с медными крючьями для плащей,  
где Швейк играет с Гавелом в “долгий марьяж”  
и какая-то Марженка в джинсах и рубчатом свитере с крестиком  
ждет за столиком, поглядывая на вход,

всего за несколько крон  
в красном вагончике “ЧКД”  
через мокрую Прагу в фонарях, отраженных в брусчатке,  
через весь этот город  
готических соборов и романских пивных,  
до самого дома,  
до Павелецкого вокзала.



*Юрий Гальперин*

## **Бобик Таранухина**

### **Рассказ**

Рядовому Собакину не хватало роста. Но он помнил, что у Наполеона рост был и того меньше. Собакин перерос императора, но не дотянул до желанной отметки. Не везло ему хронически. Причина была неопределима. В университет Собакин не поступил, в экспедицию не уехал. Осенью его призвали в армию.

Мать радовалась этому обстоятельству, как избавлению, потому что сын начал играть. Она не пожелала, чтобы после аттестата Боря шел на завод — там среда не для Бори, — и устроила его в свой НИИ. У лаборантов много свободного времени: можно заниматься, готовиться к вступительным экзаменам. Собакин занялся преферансом. И, возможно, мать сама подросила военкома ускорить призыв.

В карантине играли в секу, в козла. К плебейским развлечениям Собакин остался равнодушен. Но охотно пил водку, если угощали. Водку приносили из города. Собакин не ходил в магазин. Давал деньги или отказывался от выпивки. Он не боялся залететь — знал: за самоволки в карантине не имеют права наказывать по всей строгости. Собакин не ходил, потому что не хотел быть на посылках.

В карантине Собакин познакомился с Докушевым.

Они подружились.

Докушев лежал с температурой. В первый месяц почти все переболели — лежали вповалку в старой сырой казарме. В изолятор не

брали с температурой меньше, чем 38°. Изолятор был переполнен. Флегматичный капитан медицинской службы называл это акклиматизацией. И действительно, никто не умер.

Докушев хрипел на полке второго яруса под бушлатом и двумя одеялами. Утром Собакин приносил ему кофе, днем компот, вечером чай. Масло Докушев отдавал ему. Но Собакин еще не научился есть один и делился с Мишкой Савельевым.

В мае растаял снег. Тайга в долине ниже уровня снегов стала грязно-бурой, потемнела, потеряла цвет. Только спины сопки голубели под солнцем. А потом лиловая дымка окутала леса. Там, за дымкой, творилось таинство. Мы это чувствовали. Нас манило туда. И однажды, когда на подъеме роту выгнали из казармы, все увидели, что сопки зеленые, а снег узкой полосой блестит на самом верху.

Это случилось в июне, когда мы с Собакиным сошлись покороче. К тому времени он сильно переменялся, сделался добрее, спокойнее, увереннее даже. Он чутко отмечал происходившее вокруг и жадно впитывал, насытиться не мог ощущениями, словно бы открытыми вновь. Собакин мало делился и не говорил о себе. Но в то утро, когда мы стояли на крыльце казармы и смотрели на зеленые сопки, он заговорил.

Рота строилась на зарядку, и нас никто не окликал.

После завтрака мы отправились на работы пешком. Дорога, мокрая после ночного дождя, вела через лес. Птицы пели июньские песни. Собакин говорил и говорил. Его словно бы прорвало. Он рассказывал взахлеб, перепрыгивая подробности. И думая о том, что произошло с ним, я забыть не мог, как стояли мы утром на пороге, смотрели на зеленевшую тайгу, и что-то откладывалось в нас, в каждом свое. Наверное, ничто не остается безответно в этой жизни и в судьбе человеческой. Но в мае, когда отряд вышел на работу, Собакин еще не ведал, что ему предстоит. И у него не было сил переменить судьбу.

Задача была ясна: бригада-отделение копала котлован под фундамент. На дне трехметрового углубления траншеи плескалась вода. Собакин стоял повыше и отламывал ломти глины отбойным молотком. Докушев спустился вниз в резиновых сапогах. Лезвие лопаты блестело на солнце, глина сочно чавкала, вода заливала за голенища. Докушев ослабел за время зимней болезни: лопата часто вырывалась из худых рук и вместе с липким комом глины вылетала на бруствер. Тогда Мишка Савельев, по кличке Граф, ловил ее наверху, отбивал на камне и кидал вниз. Он ходил по самой кромке, и земля засыпалась Докушеву за шиворот.

Обеда не хватало. Суп привозили в термосах, по дороге он превращался в кашу. Столы из свежеструганых досок были врыты в зем-

лю под соснами на берегу реки. Вода пенилась и звенела. От воды ломило зубы и руки. И семга плескалась между камнями.

Собакин работал вместе со всеми. Он больше молчал. Молча выполнял, что велели. Ни за что не брался без приказа. И ничего не начинал сам. И обедал он молча, и руки мыл в стороне.

Ему было мало порции, но просить добавку он не смел. И когда однажды во время дележки Граф подрался со стариком, надел тому миску с горячими щами на голову, и его никто не тронул, Собакину сделалось невыносимо — он не мог так легко и свободно совершить подобное, а если бы с отчаяния и решился, его бы непременно побили. И никто бы не заступился. А может, и убили. И уж лучше совсем путь убьют, чем просто ударят. Собакин боялся, что его ударят, — он знал, что не ответит.

Работа выматывала. Дорога с работы выматывала еще больше. На грузовиках не хватало мест. Приходилось возвращаться пешком — шесть километров через тайгу.

Скалы нависали на склонах. К вечеру они темнели, и краснела подснежная брусника в молодой траве. Мы топали по размытому гравию, перебирались через ручьи. Птицы кричали над головами. Казалось, они кричат о нас, о долгих годах, что впереди, и о том, что оставлено, и о нежелании осознать потерю. От прежней жизни ничего не осталось. Но мы были отравлены воспоминаниями. Хотелось скорее дойти и лечь, закрыть глаза и вернуть хоть на миг, хоть на ночь невозвратимое.

После ночной смены идти в казарму было неважно. Солнце светило ночью, светило днем. Пропадало ощущение времени. Завернувшись в бушлаты, солдаты спали на сырых досках. Рядом работал бульдозер, но его не слышал никто.

Однажды Собакин и Докушев в поисках места посуше забрались на крышу компрессора. Металлическая крыша была теплой, и они уснули на ватниках. Дневная смена завела двигатель, но Собакин проснулся лишь, когда компрессор затих. Его заглушили и ушли на обед.

Собакин лежал. Вокруг было тихо и тепло. Ему показало, что он умер: мертвый лежит, и никто больше не гремит, не трясет и не трогает его.

Он открыл глаза. Солнце ослепило, и сразу заболела голова. Докушев спал. Непонятно было, как они вдвоем уместились на узкой крыше — никто не свалился. Но Докушев спал, и теплый воздух от двигателя поднимался вверх и щекотал ему ноздри.

В отряд они возвращались через лес и говорили о йогах, о Боге, о религиях Востока. Собакин привез в армию книгу йога Рамачараки. Он хранил ее в чемодане и мечтал о высоких совершенствах.

— Высшее счастье: не желать, — утверждал он.

— Нельзя одновременно *не желать* и загибаться от унижения, если дали плохой кусок, — возражал Докушев.

— Не понимаешь ты буддизма.

— Разобрался бы сначала в самом себе.

Собакин пожимал плечами. В девятнадцать лет трудно отказаться от соблазна, от привычки прилгумывать себя. Собакин не мог, да и не желал согласиться с тем, что он знал о себе. В нем не было мира и тишины, чтобы принять, а затем переменить себя. А пребывание в себе, таком неподлинном, становилось невыносимым.

Понимать других и быть ими понятым — недостижимая мечта. Но когда они шли по лесной дороге, ему достаточно было и того, что Докушев шагает рядом.

Не везло Собакину по-прежнему — он умудрился обыграть в карты старшину.

Старшина Таранухин, по прозвищу Тарангас, верзила с левыми руками, которыми загребал выигранные у солдат деньги, брался за карты, чтобы раздобыть на выпивку. Это ему неизменно удавалось. Особые таланты были здесь ни при чем. У Таранухина болела печень. Зимой он провёл в госпитале. И жена дрожала над ним, поила его травами и не давала денег. А без питья он не мог.

Любили играть с ним старики. Почти все они завели себе в городе девчонок, и субботние увольнения стали потребностью. У Таранухина не перевозилась водка, а одни и те же люди по субботам неизменно увольнялись в город. Субботнее увольнение имело преимущество перед воскресным: возвращались на час позже, а иногда отпускали и на сутки.

Собакин всего не знал. Он и выиграл-то малость. Но Таранухин ему этого не простил.

С тех пор на подъеме Собакина первого трясли и будили. Одеждо слетало с него под "бруг-га-га" Тарангаса. "Шевеляйся, шевеляйся!" — гудела над ухом иерихонская труба. Старшина засекал время, и фамилия Собакина громогласно склонялась от подъема до развода.

Его наказывали за медленный подъем, хотя он и слетал с койки так стремительно, что сбивал с ног копошившихся внизу. Его наказывали за невыход на зарядку, даже если он предъявлял освобождение врача. Его наказывали за плохую заправку постели, даже если койки рядом были смяты или вовсе не заправлены. Его наказывали за разговоры в строю и за курение, даже если курили и разговаривали в другом конце шеренги. Утром его наказывали, а по вечерам он отработывал наряды.

Собакин колол дрова, мыл полы, дневалил, подметал траву, вытирал пыль, гонял ночных бабочек в казарме. Он чинил табуретки, складывал и перекладывал старые валенки на складе, топил печи, скалывал грязный лед, засыпал песком и гравием выбоины на дороге, мыл самосвалы и делал много разных и необходимых, и бессмысленных вещей.

Все вечера у него были заняты. На воскресенье его ставили в наряд на кухню, точнее, в посудомойку.

Собакин похудел, осунулся, щеки ввалились. Он дергался, если слышал свою фамилию, и ладони у него моментально потели. ХБ за месяц так истрепалось, что неприятно было смотреть. Он сделался самым неисправимым нарушителем в роте. Наказания сыпались нещадно. Он даже не успевал нарушать и, в конце концов, разучился понимать, где нарушение, а где нет. И уже действительно нарушал и, получая наряды за дело, сам не ведал, что творил.

У Собакина была привязанность. Он полюбил Бобика Таранухина — рыжего Тарантасова пса, веселого драчуна, безродного предводителя местных собак и грозу самовольщиков. Из-за любого солдата, замеченного ночью за оградой, он поднимал яростный лай, хотя днем не обращал ни на кого внимания.

Собакин прикармливал пса. Все немногое свободное время проводил с ним. Он мог часами сидеть на солнце, гладить Бобика, вычесывать ему шерсть.

Бобик отвечал взаимностью. По вечерам он исправно являлся к столовой. На ужин давали рыбу: рыбу с картошкой, рыбу с макаронами, рыбу с кашей. Свою рыбу Собакин отдавал ему.

Таранухин ревновал Бобика. Он пытался его наказывать, но пес убегал от ремня. И отрабатывать наряды, объявленные пьяным старшиной, не стал. Наконец Таранухину удалось поймать его. Бобик был заперт в сарае и посажен на цепь. По-видимому, его перевоспитывали — по вечерам у сарая слышались пьяная ругань и жалобный визг.

Собакин, не видя несколько дней Бобика, отвык и скоро почти забыл о нем. И рыбу за ужином съедал сам.

Все, что случилось потом с Собакиным, вроде бы и не сложно, но есть вещи, которые нутром понимаешь, а не объяснить. Наверное, он слишком много думал о йогах и о тайных учениях Востока. Может быть, он думал об этом, когда отрабатывал наряды, а мысли на подневольной работе настраиваются на определенный лад. Может, просто время пришло и пробил час.

Мишка Граф достал три рубля. Собакин с Докушевым сидели на койке в ожидании ужина. Граф присел рядом, молча расстегнул клапан левого кармана гимнастерки и показал зеленый уголок. Докушев молча встал и направился в каперку. Вернулся он с бинкой консервов и куском копченой колбасы — ему прислали из дома.

Собакин не получал ни посылок, ни переводов. Только правоучительное письмо раз в две недели: его нельзя было прочесть на закуску — на первой фразе подавился. Он мог бы вареного сала попросить на кухне, там к нему привыкли, не откажут. Но конкурировать с Докушевым не посмел.

— Йоги не закусывают, — сказал он.

— Йоги бегают за водкой, — ухмыльнулся Граф. — Если влипнешь, у тебя все равно нарядов столько, что до дембеля не отработать. А ужин твой мы принесем.

Магазин находился в четверти часа быстрого хода, в Лесной слободе. Поселок этот на окраине заполярного города стал поселком лет десять назад. Прежде здесь был лагерь. Но бараки разгородили, устроили комнаты, посадили цветочки под окнами, вышки спилили, а колючую проволоку увезли. Жили в поселке рабочие. Многие из них строили тоннель и подземную электростанцию и жили здесь еще до поселка, а потом остались, не оценив перемен. Может быть, в их жизни перемены эти запоздали или были поняты по-своему. Так или иначе, в поселке не любили военных, но к стройбатовцам относились нормально. В гастрономе они пользовались привилегиями, и водку Собакину отпустили без очереди.

Собакин боялся наткнуться на сверхсрочника или на офицера из части, еще хуже — на чью-нибудь жену: за несколько месяцев лихой службы Собакина в военном городке знали все, и многие успели пользоваться услугами — старшине безразлично, куда посылать солдата отбывать наряд. Из осторожности он возвращался в казарму не по дороге, а через сопку, лесом, спокойно топая в тяжелых сапогах по узкой тропе. Бутылка оттопыривала карман. Водка приятно булькала у бедра.

Собакин не торопился. Он старался ступать по зеленому мху, чтобы не слышать собственных шагов. Лес молчал. Даже птицы затаились. Тишина была, как музыка. И он раскачивался в такт этой музыке и щурил глаза.

Таранухин появился неожиданно, будто из-за елки шагнул. Бобик с лаем подкатил к Собакину. Узнал. Обрадовался. Стал прыгать вокруг. Огромная щель Таранасова рта скривилась, и в горле булькнуло первое “ха!”. Он протянул руки, чтобы сгрести нарушителя в охапку. Но когда корявые пальцы растопырились перед носом, Собакин, еще не успев испугаться, вдруг прыгнул вперед, увернулся и побежал, преследуемый треском кустов, лаем и воем, а затем и топотом. Старшина гнался за ним, прыгая с камня на камень, выбивал искры подкованными сапогами. Теряя равновесие, он ломал молодые сосенки на склоне и истощно матерился.

Свернув с тропинки, Собакин начал задыхаться: бежать стало труднее. Он чувствовал, что оторвался не намного, и остановиться не мог. Портянки скрутились в сапогах, и бутылка на бегу била по ноге. Он уже не бежал, но падал по склону, разогнавшись и едва успевая представлять ноги, пытаясь ухватиться за ветви, чтобы остановить это полупадение. Подошвы скользили на рьжей прошлогодней хвое. Понимая, что останавливаться нельзя, он оглянулся на ходу — ничего не разглядел, никого не увидел — и, пролетев по воздуху, цепля-

ясь за корни, за ветви и стволы росших на обрыве осин, в последний момент успев перевернуться не на бутылку, зарылся в сухой песок. Топот и лай пронесли над головой и стали удаляться.

Собакин лежал, не решаясь пошевелиться. От сотрясения он выдохнул воздух, и внутри образовалась как бы пустота. Даже живот подтянуло. Он не мог вздохнуть и, поначалу не чувствуя ничего, медленно возвращался к действительности, ощущая и осознавая боль в груди, реальную, как плач ребенка сквозь сон.

Наконец он открыл глаза и вздохнул.

Мотогонщики после падения, прежде чем встать, осматривают кости (кто-то рассказывал ему). И он вспомнил и оцупал себя. Затем вытер кровь с расцарапанного лица и посмотрел вверх: до кромки было метров пять.

На площадке рядом и вокруг торчали обломки скал и круглые валуны. Он лежал между камней на песчаном откосе. Это было единственное место, куда стоило падать. Мало того, бутылка уцелела. Видимо, он-таки разжалобил своих богов.

Собакин поднялся. Он стоял в нерешительности, еще не соображая, что с ним, где он и как было до этого. Возможно, что ничего и не было. Одно лишь падение и валуны вокруг. И больше ничего.

На зубах скрипнул песок. Он нащупал бутылку в кармане и усмехнулся: может, что и было.

Некоторое время он стоял, прислушивался к шороху осыпавшегося песка. Крики и веселый лай заставили его встрепетнуться. Топот возвращался.

Припадая на левую ногу, Собакин отошел за кусты. Теперь голос старшины доносился сверху. Но Бобик забежал в расщелину и кинулся к солдату, радостно повизгивая. Собакин поднял камень.

— Назад!.. Пош-шел назад, — зашипел он.

Бобик остановился и снова кинулся к нему. Камень попал собаке в грудь. Рыжий комок заметался по песку, скуля, завывая, и, наконец, жалко поджав хвост, выбежал из расщелины.

— Ищи, Бобик... Ищи, — хрипел старшина. — Собакин, отдай бутылку по-хорошему. Я тебя все равно найду, подлца. Я тебя в роте найду. Отдай бутылку и убирайся. Я с тебя наряды сниму. Ты где?

Собакин сидел за кустом тихонько, вытирал кровь со щеки грязным платком, и ему не было страшно. Он слушал ругань наверху и треск ветвей и сам удивлялся, почему вдруг не страшно. И чего это он боялся, зачем боялся? Все казалось странным ему. То есть то, что было с ним прежде — и он сам, и вокруг него, — все прежнее, что казалось страшным и непонятным, теперь сделалось простым. И когда Таранухин стал пинать пса, Собакин вышел из укрытия.

— Не смей бить животное, — сказал он.

Таранухин оглянулся и стал искать место, чтобы спуститься. Собакин нагнулся и подобрал с земли острый, увесистый камень.

— Только сунься!

Старшина отпрянул от края.

— И кончай бить собаку. Тебе надо десять лет над собой работать, чтобы стать таким же умным, как он.

Прихрамывая, Собакин пошел вниз по расщелине, обходя валуны и не скрываясь. Он шел, ступая очень осторожно, придерживая бутылку рукой. Он ожидал, что старшина пустится следом, но того не было видно. И Собакин перестал думать о нем. Он шел так, будто сам на себя со стороны смотрел, как он идет, и очень старался себе самому, глядящему со стороны, угодить. Это ему удавалось, а более и не требовалось ничего.

На поверку старшина не явился.

Собакин ждал. Он даже хотел, чтобы Таранухин пришел. Ему не терпелось. Он испытывал зуд, непонятный и странный, и все время улыбался, и озирался на дверь, и продолжал озираться. Ему не стоялось, и он вертелся в строю.

Поверку проводил командир роты. Сержант выкрикивал фамилии. Рота была большая, у сержанта болело горло, и на середине списка он охрип. Капитан расхаживал вдоль строя. Первая шеренга заметно волновалась: люди напрягались при его приближении и расслаблялись за спиной.

— Почему вы улыбаетесь, Собакин?

Собакин молчал. Он попытался сделать серьезное лицо.

— Почему вы улыбаетесь в строю?

Собакин попробовал взять себя в руки, собраться. Он смотрел перед собой не мигая и чувствовал, как рот не слушается и судорожно расползается в улыбке.

— Я вас накажу!

Собакин засмеялся. Он ничего не мог с собой поделать, ему было смешно и жутко. Он поперхнулся и рассмеялся опять, еще громче. И вокруг засмеялись, зашумели, заговорили.

— Вы обкурились анашой... Выйдите из строя!

Собакин вывалился на середину. Он трясся весь, руками придерживая на животе расстегнувшийся ремень.

— Я не курю, товарищ капитан... Здесь все подтвердят, я не курю!

— Идите в канцелярию.

Собакин не сдвинулся с места.

— Выполняйте, рядовой.

— А я знаю, что рядовой. И так ведь ясно: рядовой Собакин, и можно делать с ним, что хочешь. Даже из ряда можно. А уж из рядовых нельзя, дальше некуда... Все сделали, что можно, а дальше уже некуда. Некуда, товарищ капитан, уже все со мной сделали... А я вот он! Вот он я, что вы со мной сделаете еще? Да что угодно... А я буду!

Ниже нельзя уже. Все равно я останусь. Так и делайте... Себе делайте!

Докушев побледнел. Капитан побледнел.

— Вы устали, Собакин... Идите, отдыхайте.

— Довели! — загудели задние ряды.

— Молчать! — закричал сержант. — Р-равнение на-пр-ра-ву!

— Это они себя, себя, самих себя. Мне-то что теперь! Пусть...

Сержант потащил Собакина в спальню. Собакин шел не упираясь. Он думал: его втолкнут в каптерку, где спали остальные сержанты. Но его не втокнули. Значит, бить не будут. Он не боялся, но и не хотел.

— Раздевайся! — скомандовал сержант.

— За сорок пять секунд? — юродствовал Собакин. — Мне и брюки за столько не расстегнуть. Дай лучше наряд?

— Да ложись...

— А ты дай наряд, ну объяви, ну что же ты! Вот поставь меня перед строем и объяви. Как же так, не наказали меня! Почему не наказали? Непорядок...

Капитан кричал в коридоре. Сержанты бегали по казарме. Рота гудела. Поверку закончили. Капитан приказал распустить людей и через пять минут в спальном помещении гасить свет.

Кружки с отбитой по краям эмалью стояли на табурете в проходе между койками. Докушев ножом накладывал консервы на хлеб.

— Дурак ты, а не йог, — сказал Граф, — чуть все дело не испортил.

— Оставь его, — попросил Докушев.

Собакин молчал. Одетый и в сапогах, он лежал на койке.

— Теперь они тебя загоняют.

Собакин рассмеялся.

Докушев сдвинул кружки. Пустая бутылка покатилась под кровать. Он резал колбасу. Докушев делал это точно и сосредоточенно, чтобы никого не обделить.

— Завтра все узнается, — сказал Граф. — Тарантас настучит капитану. Выяснять начнут, кому водку нес.

— Не пей, если боишься.

Собакин молчал.

— Никому здесь ничего не докажешь, — сказал Докушев. — Они только верующих не трогают, пацифистов. Они боятся верующих. Силу чувствуют, не связываются. Один чудак патриарху написал, дело чуть ли не до Объединенных Наций дошло, так после командира части сняли.

— Голова у тебя, Докушев!

— А может, я вправду верующий? — вдруг поднялся Собакин. Он сел рядом и взял кружку.

— Но Бога ведь нет?  
— Давай за то, что Бога нет, — предложил Граф и хихикнул.  
— Я-то верю!  
— Во что?  
— Не знаю еще... Веру в себе чую.  
— Но ведь ты знаешь — Бога нет, — сказал Докушев.  
— Этого нельзя знать. Можно только верить или не верить. Вера есть.

— Во что же верить?  
— А душа — откуда?.. Или природа там, деревья... Бобика вот возьмем. Камнем я его ударил, а отчего? От слабодушия.

— Дурачок тебя понюхал, — сказал Граф. — Ты это серьезно насчет Бобика?

— Вера есть, — сказал Собакин. — И сила в ней. А про Бога я не знаю, — он пожал плечами.

Кружки еще раз стукнулись. По сторонам беспокойно заворочались, завистливо заскрипели койки. Собакинпил глупо, мелкими глотками. Водка была теплая. И он знал, что опьянеет.

Дневальный видел, как Собакин выходил из казармы, и записал его. Дневальными старшина ставил своих людей.

Собакин откусил колбасу и сунул остаток в карман, для Бобика. У сарая собаки не было. Пролезая через дыру в заборе, он еще не знал, куда пойдет. Наверное, собирался пойти на то место и посмотреть все еще раз. Но услышал шаги и прислонился к забору.

Солнце уходило за вершину сопки. С моря прорывался ветер. Тени расплзались по земле, превращались в сумерки. По небу неслись подсвеченные лиловые облака.

Собакин ждал. Его не пугало, что попадетя он за пределами городка в поздний час. Его раздражало любопытство, и звук шагов казался знакомым.

Из леса вышел Таранухин. Старшину раскачивало, но он упорно шел к дому, и, когда приблизился, Собакин заметил, что лицо у него в грязи, а руки изодраны до крови.

Таранухин остановился перед врагом. Наклонив голову, он смотрел сверху, слюна засохла на губе.

— Там теперь все... — Таранухин махнул рукой в сторону леса.

И он полез в пролом.

Собакин брел по тропинке. Он решил дойти до места. Ему было интересно, что оставил Таранухин в лесу. Но идти далеко не пришлось.

Поляна, на которую он вышел, была небольшая, вся розово-серая от вечернего освещения и сухой под ногами пожухлой листвы. С правого края стояла старая лиственница, и на суку — Собакин даже не понял сразу, что это, — висел на брючном солдатском ремне Бо-

бик Таранухина. Пес висел неподвижно, тяжело, даже ветер не раскачивал тела. Хвост вытянулся, лапы беспомощно опустились по швам. Он был похож на солдата.

Борис тронул его рукой. Собака была ни тепла, ни холодна. Он прижался к пыльной шерсти лицом, потом поспешно достал нож и перерезал ремень. Тушка скользнула вниз. Собакин таскал на руках живого Бобика, но мертвый оказался тяжелее, и он не смог его удержать, уронил на землю к своим ногам. И вдруг согнулся, будто удар получил в солнечное сплетение, — упал на остывающее тело и заплакал тихо, вытирая слезы о рыжий мех.



*Александр Тимофеевский*

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

### ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ

Число нейтронов разрастается.  
Процесс становится лавинным.

Подобно камнепаду с гор,  
Где камень два других сшибает,  
А эти двое — четырех.  
И колотясь о скулы скал,  
Вниз по известнякам белесым,  
Четыре, делая обвал,  
Уже влекут с собою восемь  
И падают на перевал  
В долину гор со страшным гулом  
И превращают вдруг привал  
Уставших путников в могилу.

Ядро урана разрывается,  
И он кричит, от раны воя,  
Когда нейтрон в него врежется,  
Дробя нутро его урановое.  
Существовать уже не чающий,

К убийствам новым будет мысль стремить,  
Сам пулю получающий,  
Он дважды успевает выстрелить.  
И два другие будут корчиться,  
Свои подбрасывая ввысь тела.  
Им четырех убить захочется,  
И каждый сделает два выстрела.  
Ковбой убитый к кольту тянется  
И смерть переиграть надеется,  
И пуля мертвого достанется  
Кишкам веселого индейца.  
Любимая, другим унижена,  
Обдаст меня смертельным холодом,  
Чтоб на удар ей — Не убий, жена! —  
Кричал я черепом расколотым.  
Душа, на части неделимая,  
Воссоздается и сжигается...  
Ответь же мне, моя любимая,  
Легко ль тебе в меня стреляется?  
И левая не перекошится  
Рука, поддерживая правую,  
Чтоб у меня на переносице  
Поставить точечку кровавую.  
Не тем опасна мне сна, не тем она,  
Что плачу я и смерти трушу,  
А тем, что страх мой стаей демонов  
Чужую раздирает душу...

Число нейтронов разрастается,  
Процесс становится лавинным.

В сорок втором году  
От роду семи лет  
Стал я дичью,  
Зайцем,  
Загнанным  
Маленьким зверем,  
Мокрым от страха.  
Сорок моих одноклассников  
Изо дна в день  
Поджидали меня  
На дороге  
Из школы домой.  
Били  
И гнали потом

По спирали шоссе,  
По открытой бетонке,  
Громко дыша за спиной  
И швыряя мне в голову камни.  
Ладонку к затылку прижмешь —  
Рука наполняется теплым...

Отчетливо помню,  
Что однажды и сам я  
Гнал по задворкам  
Некрасивую девочку,  
Острым ранца углом  
Норовя угодить ей в лицо.  
Зачем этот бред  
Через многие годы настиг  
И вернулся ко мне по спирали?  
Зачем я других убивал?  
Пускай бы меня убивали...

Степан убьет Петра, а Петр убьет Ивана,  
Все от того, от расщепленного урана.  
Тот самый первый залп, бессчетно умножаем,  
Раздавшийся у Альп — гремит по Гималаям.  
А где же тот живет, кто убивать не любит,  
Удар схватив в живот, в других стрелять не будет?  
В цепи сломав звено, спасет меня 'от пули,  
Прикрыв собою, но... его уже распяли...

Суставы раздробя,  
Гвоздями прокололи  
Того, кто на себя  
Хотел взять наши боли.  
Кривляясь и юля,  
Пришли над ним глумиться,  
В лицо ему плюя,  
Одевши в багряницу.  
И Он стоит, гоним,  
Под туч переполохом,  
И молний куст над ним  
Цветет чертополохом.  
Но в горние края  
Скорбящий взор устава,  
Он шепчет: — Эллой!  
Зачем меня оставил?

\*\*\*

Что я любил на свете —  
Окошко распахнуть,  
Смотреть в ночи, как светел  
Над миром Млечный путь.  
По хвойному по насту  
Без цели напролом  
Брести сквозь ельник частый  
Под ситничным дождем.  
Любил осенней ночью,  
Захоронясь в стогу,  
Природы многоточье —  
Кукушкино ку-ку.  
Промерзшую рябину  
Любил размять в руке,  
Любил по серпантину  
Кружить в грузовике.  
Орать, стихи горлая,  
И, не держась за борт,  
Парить себе с орлами —  
И никаких забот.  
Чтобы хлестали ветки  
Меня на вираже,  
Чтоб запах моря едкий  
Я чувствовал уже.  
И значит, недалеко.  
И выглянет сейчас  
С туманной поволокой  
Его огромный глаз.

1993

## НА ДВЕНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

Я не хотел уехать, я не мог,  
Но все случилось так, как не бывает:  
Дрыжок в окне, ландшафт дает свисток,  
Вагон стоит, перрончик отъезжает.  
И от меня всю ночь, как от чумы,  
Бежит меня родившая Россия,  
А вместе с ней бегут ее дымы,  
Ее огни и запахи грибные.  
И покатился медленно пейзаж,  
Вдруг ставший на незримые колеса,

И понеслись, на стыках дребезжа,  
Сосна и ель, осина и береза.  
Когда пошла дорога под уклон,  
Сбиваясь, налетая друг на друга...  
Вагон стоит. Стоит один вагон,  
А скорость набирает вся округа.  
Не я багаж увязывал, не я  
Спешил покинуть родовые склепы.  
Но слишком инфантильны сыновья  
И, как и мы, беспомощны и слепы.  
Вон на опушке скачут мальчиши,  
Упитанны, вальяжны, бородаты,  
Играют в жмурки, лепят куличи  
И умывают руки, как Пилаты.  
Аукая, играя и шая,  
Они рядком уселись на откосе,  
Не видя, что поехала земля  
И что их всех, черт побери, уносит.  
В тартарары, в тьмутаракань, на слом  
Уносятся клочки газет, окурки,  
Знакомый с детства в три окошка дом  
И тот забор дощатый в переулке.  
И, выскочив на мчащийся большак,  
Прочь от меня уносится Россия...  
А я все повторяю: “Как же так?  
Куда же вы, хорошие такие?  
Куда же вы? — кричу. — Куда же вы?”  
Бегущим мимо соснам и рябине.  
“Туда, где лай собак сторожевых,  
И в сторону Катыни и Хатыни”.

1994

\*\*\*

Стоит березонька во ржи.  
В краю, где отчий дом.  
И чертят в небе чертежи  
Стрижи перед дождем.  
Забудь про этот край. Покинь!  
Не поминай родства.  
На самом деле там пески,  
Полынь. Разрыв-трава.  
И дождь не в счет, и рожь не в счет.

Не в счет полет стрижей.  
Где Мандельштам сказал: “Еще”,  
Я говорю: “Уже”.

1995

\*\*\*

Здесь ни кола и ни двора,  
Здесь только худо без добра —  
Распад, разруха, амнезия...  
Россия — черная дыра.  
Голубка. Нянька. Мать. Россия.

1995



*Юрий Кувалдин*

## ШИПОВНИК У КАЛИТКИ

Поэма

В черной шляпе и с тростью Эвальд Эмильевич идет по улице мимо окон, где его многие знают, потому что он не просто общителен, но старомоден, приподнимает шляпу при встрече любого лица или делает жест к шляпе, едва прикасаясь к ней, но не снимая, а впечатление складывается такое, что он снимает шляпу, то есть в полный голос приветствует вас в то время, когда не то что не приветствуют люди друг друга, а в упор не замечают, как самых отъявленных врагов.

Эвальд Эмильевич ходит в черной шляпе, опираясь на трость. Он не хромает, ноги у него в порядке, но трость ему очень нравится, с позолоченным набалдашником, с таким же позолоченным острым концом, который не скользит по асфальту и твердо вбивается в землю, когда Эвальд Эмильевич сворачивает к своей калитке, у которой живой изгородью разросся шиповник с огромными розовато-бордовыми цветами, суцая роза. Дикая роза. Эвальд Эмильевич прикасается к шляпе, напоминающей котелок прошлых веков, как бы приветствуя роскошный кустарник, внезапно предстающий любящему красоту глазу Эвальда Эмильевича. Всегда внезапно.

Около шиповника ставится табурет, на который садится сам Эвальд Эмильевич, напротив — другой табурет, на который садится с гитарой аккомпаниатор Саврасов и берет первые аккорды. Эвальд

Эмильевич широко расставляет ноги в черных лакированных туфлах, ставит трость между ними, кладя на позолоченный набалдашник обе руки, и начинает петь. У Эвальда Эмильевича такой голос, который с удовольствием слушают за столом, в гостях, у шиповника. Голос низкий, басовитый, но несколько холодноватый, деревянный, чего Эвальд Эмильевич не осознает, считая свой голос великолепным. В этом его поддерживает жена Клара, которой тоже очень идут черные тона и черной прическе.

Саврасов, круглолицый до улыбки, подыгрывает, Эвальд Эмильевич поет романсы, поет громко, очень громко, то ощущая себя на сцене Парижа, то на сцене Лондона. Поет он полчаса без перерыва, и все собравшиеся должны его слушать с восторженными лицами, потому что других лиц здесь быть не может, сам Эвальд Эмильевич приглашает на вечер уже проверенных слушателей, Клара тоже приглашает послушать пение мужа проверенных. Эвальд Эмильевич поет, откинув голову, прямой, как будто к спине привязали доску.

Вдруг среди пения новый знакомый, Якунин, высокий и широкоплечий, зевнул, встал, сунул в рот сигарету, закурил и пошел себе по дорожке. У Эвальда Эмильевича чуть голос не сорвался, такое он видел впервые, но он закончил итальянскую арию и сделал вид, что не заметил ухода Якунина. Эвальд Эмильевич пел и по-итальянски, и по-французски, и по-английски. Внешне он не заметил ухода Якунина, а внутренне весь кипел от возмущения, смешанного с чувством унижения, которое хорошо знакомо всем проваливающимся перед публикой ли, перед комиссиями ли или просто перед друзьями. Вот, мол, я так готовился, так надеялся, так восхищался собою, а на поверку вышло все наоборот, и я жалок, жалок, жалок. Но этого быть не может, потому что этот Якунин не понял Эвальда Эмильевича, и Эвальд Эмильевич ему должен это объяснить.

— Вы, видимо, не любите серьезного пения?— спросил Эвальд Эмильевич у Якунина, когда тот, покурив, вернулся.

— Напротив. Очень люблю. Я сам пою в опере и сам ставлю спектакли, — сказал Якунин.

Эвальд Эмильевич поразился и с некоторым укором посмотрел в сторону Клары. Клара недоуменно пожала плечами, давая понять, что это не она пригласила Якунина.

— Я думал, что вы новый знакомый Клары, — сказал, покраснев, Эвальд Эмильевич.

— Нет, — сказал Якунин. — Меня пригласил ваш гитарист. Мы с ним в пивной познакомились.

— В пивной?! — с ужасом во взоре воскликнул Эвальд Эмильевич. — Разве может певец ходить в пивную?

От буйно цветущего шиповника к ним приблизился Саврасов, само круглое лицо которого располагало к выпивке, и крупный красный нос намекал на это. Эвальд Эмильевич мирился с Саврасовым —

тогда здорово ему подыгрывал на гитаре, но страсть к вину, как его давний однофамилец-художник, преодолеть не мог, хотя выпивал умеренно, но каждодневно, посещая регулярно пивную в конце улицы, под соснами, откуда был слышен шум моря, где сидели любители пива на пенечках и столами были пни.

— Повец — это творец, — сказал, подмигивая Саврасову, Якунин, — а я не верю в непьющих творцов.

Якунин вдруг запел, да так легко, воздушно, искренне, что собравшиеся застыли на месте, вслушиваясь в дивный голос нового знакомого, голос, который разливался, словно трели соловья над рощей, легко, без усилия, без позы, без всего того, что было присуще пению Эвальда Эмильевича. И сам Эвальд Эмильевич задрожал от зависти, от умиления, от восторга, он не верил в то, что так можно петь здесь, у калитки, где растет шиповник, петь на глазах у Эвальда Эмильевича. Умозрительно Эвальд Эмильевич допускал существование гения где-нибудь далеко-далеко, поющего по радио или по телевидению, в записи, но чтобы такое пение было рядом, да вот так без жеманства, экспромтом, он поверить в это не мог. А поверить нужно было.

Якунин столь же легко закончил пение, как и начал, подмигнул Саврасову, пожал руку Эвальду Эмильевичу и удалился, не сказав ничего о том, когда он снова пожалует.

Саврасов положил гитару в черный футляр, поклонился и пошел следом за Якуниным, как будто тот его притягивал магнитом.

На кухне Клара занималась тестом, которое прекрасно подошло, посыпала его мукой. Эвальд Эмильевич в задумчивости прикоснулся ладонью к мягкому и теплomu тесту, погладил его, затем посмотрел на белую ладонь и вымыл ее под краном. Вода напомнила о душе, и Эвальд Эмильевич пошел через сад к бане, разделся перед большим зеркалом, осмотрел свое тело, то раскидывая руки, то опуская по швам, как солдат в строю. Он пустил воду и ощутил всю прелесть душа, который ему казался тропическим освежающим дождем. Вошла Клара, ее увидел Эвальд Эмильевич через прозрачную полиэтиленовую штору, начала раздеваться, ее белый зад и белая большая грудь напомнили Эвальду Эмильевичу тесто, которое он с удовольствием гладил. Клара встала под душ, Эвальд Эмильевич провел ладонью по ее спине, по талии, по белым, как тесто, ягодицам, затем нежно потрогал белую и теплую грудь, опустился на колени, а Клара села на него, и он стал, смеясь и отфыркиваясь от воды, возить ее под теплыми струями, как будто возил тесто, плотно облегающее его спину, предвкушая румяные горячие булочки с вишнями.

Саврасов принес красочную афишу с портретом Якунина. Клара свернула афишу в трубочку и посмотрела через отверстие на Эвальда Эмильевича.

Эвальд Эмильевич надел шляпу, взял трость и пошел под руку с Кларой по улице к оперному театру. Оркестр заиграл увертюру к опере Пюта Пюцца “Цкоинсада”. Партию Айкиндера блестяще исполнил Якунин. После спектакля Саврасов повел Эвальда Эмильевича с Кларой за кулисы. В уборной Якунина сидел седой, длинноволосый и беззубый старик, которого Якунин представил как художника Яна.

Ян свернул афишу, которую взял из стопки со стола, и посмотрел в дырочку на вошедших, громко захохотал и крикнул:

— Сволочены, виват!

Эвальд Эмильевич от испуга потупил взор, а Клара покраснела.

— Он гений, -- сказал Якунин.

— Это ты, сволоченок, гений! — прошамкал Ян.

Эвальд Эмильевич заметил, что Ян был босиком, в каких-то рваных брюках и в мягкой, заляпанной краской белой рубашке.

-- За мной! -- крикнул Ян, вскочил и устремился к двери.

Якунин последовал за ним, приглашая Саврасова, Эвальда Эмильевича с Кларой следовать, ни о чем не спрашивая, за Яном. Впереди по улице очень быстрым шагом шествовал Ян, седые волосы его развевались на ветру, он изредка оборачивался и пронзительно кричал:

— Сволочены, за мной!

Эвальд Эмильевич хотел от стыда провалиться сквозь землю, но прохожие с почтением смотрели на Якунина, на всю свиту и на лидера Яна. По брусчатке узкой улочки Ян вывел их к Музею живописи и ввел в подъезд соседнего дома. Мраморные ступени и все убранство дома никак не соответствовало облику Яна. Но он здесь был хозяин. В огромной комнате были сооружены леса из металлических труб, на которых стояли холсты, торцами, как книги на полках, тысячи холстов, и первый же, который выгасил Ян и представил публике, потряс Эвальда Эмильевича совпадением: на холсте изображался он, Эвальд Эмильевич, хотя никогда в жизни не видел и не знал Яна. Да, это в черной шляпе и с тростью шел мимо окон по улице Эвальд Эмильевич, а у калитки всюю буйствовал цветущий розовато-бордовыми цветами шиповник.

Клара испуганно посмотрела на мужа, ничего не понимая. Эвальду Эмильевичу захотелось посмотреть другие холсты, но Ян потащил всех в другую комнату к столу, Якунин гениально запел что-то из Риффетти, появились бутылки, пробки полетели в потолок, Ян обмотался в красную атласную штору и вопил:

— Сволочены!

Он носился по комнате из угла в угол, подпрыгивал, размахивал руками, взбрыкивал ногами, а Якунин под дивный аккомпанемент Саврасова пел вольной птицей, которая рождена для пения, которая, кроме пения, ничего в этой жизни не умеет делать, потому что ее делом было пение, песня, длаящаяся бесконечно. Ян помчался в залу, а за ним и все, в зале прибавилось новых лиц, в основном женских.

Женщины были в белых платьях, и когда Эвальд Эмильевич опустил глаза, то обнаружил, что пол в этой зале зеркальный, выложен вместо плит зеркалами и женщины в платьях оказывались нагими. Эвальд Эмильевич в смущении от сладостных картин покраснел, поднял голову и увидел, что Ян упал на четвереньки, а на него села самая красивая женщина, как на коня, красного коня, потому что Ян был все еще обмотан красной шторой, на красного коня взгромоздилась примадонна в белом платье, и создалась иллюзия в глазах Эвальда Эмильевича: он увидел цветущий шиповник у калитки, солнце светило с тыльной стороны, и тени от штaketника падали на дорожку, теништрихи.

Ян хватал из ящика тюбики с масляной краской и лихо выдавливал ее на холст, без мелких кистей, прямо из тюбика, тюбики мелькали в его руках, которые подобно жестам дирижера кружились над холстом, и вот уже стал вырисовываться Эвальд Эмильевич в черной шляпе, с тростью, вот вспыхнули кармином огромные цветы шиповника, вот побежали тени от штaketника калитки. Ян подвывал в такт симфонии красок, Саврасов подыгрывал, а Якунин вел свою великолепную бесконечную песню, славящую краски жизни, продолжающейся, как музыка, бессознательно.

— В обморочных снах не видел я ничего более прекрасного, — сказал Кларе Эвальд Эмильевич.

Ян подхватил:

— В обморочных снах с устами сволоченка я шептал цветам безумные слова, леди Паллиес у старого собора, где зацвел шиповник, босиком по солнышку тихо шла и шла!

Эвальд Эмильевич прикоснулся к шляпе, а впечатление сложилось такое, будто он приподнял ее в знак приветствия, шиповник поклонился ему, и он прошел в дом. Поставив трость в угол, он, не снимая шляпы, заглянул на кухню, снял крышку с кастрюли: так и есть, там был его любимый великолепный молочный суп со свежими овощами, даже свежие огурцы были сварены в молоке. Эвальд Эмильевич взял большую ложку и принялся есть прямо из кастрюли. Суп был прохладен и нежен, как утренние сливки. Насытившись, Эвальд Эмильевич прошел в мастерскую, огромную комнату с застекленной ротондой, из которой открывался превосходный вид в сад на цветущие флоксы, на море флоксов, которые источали великолепный свежий аромат, лившийся через приоткрытое окно ротонды в мастерскую. Эвальд Эмильевич снял наконец черную шляпу и повесил ее на сук корявого дерева, подпиравшего потолок в центре мастерской, повесил на сук возле чучела куропатки, сидевшей на соседнем суку.

Эвальд Эмильевич сел к широкому письменному столу и устался в сад на флоксы. Ветерок задувал в мастерскую вместе с ароматом флоксов. Эвальд Эмильевич встал, подошел к бочке, лакированной, у стены, наклонил ее и достал из-под нее прохладную бутылку сухого

белого вина. Откупорил бутылку и палил себе треть хрустального кубка с золотой ножкой, огромного кубка, в который без труда входило три таких бутылки, то есть Эвальд Эмильевич вылил в кубок целую бутылку, отпил глоток и поставил кубок на стол, в задумчивости уставившись на новый холст, на котором Ян, обмотанный красной шпорой вез на себе, как конь, обнаженную пышную женщину с ярко накрашенными губами, как цветок шиповника, а на втором плане в костюме венецианского гостя стоял Саврасов с гитарой, рядом с которым пел Якунин, пел свою бесконечную, до появления сознания сочиненную небом и солнцем песню. Эвальд Эмильевич взял собственную афишу, на которой крупными буквами сообщалось об открытии выставки Эвальда Штракса, то есть его персональной выставки, в помещении великолепного Морского центра, скрутил афишу в трубочку и принялся рассматривать картину. Затем проговорил:

Вот я иду с картофельной ботвой в петлице...

Лакированные черные туфли, тихая вечерняя улочка, безлюдно, только трость Эвальда Эмильевича постукивает да кожаные каблукы его великолепных лакированных ботинок.

Он взял кубок и отпил еще глоток, затем провел ладонью по лицу, как бы в задумчивости, как бы протирая его, как бы снимая маску с лица, как бы поймав новую идею решения картины. Затем резко поднялся, взял в руки несколько тюбиков и начал выдавливать краску на холст. Цветные червячки поползли в разные стороны по холсту. Эвальд Эмильевич принялся давить их пальцами, как кистью, и женщина вдруг прикрыла свою пышную наготу вуалью, а голова Яна превратилась в голову сторожевого пса, или проще — Цербера. Дама на собаке — это уже что-то!

Ударил колокол, в храме началась вечерняя служба. Эвальд Эмильевич бросил тюбики в ящик, протер руки бензином, затем помыл их водой с мылом, надел черную шляпу, взял трость и вышел на улицу. Перед калиткой с шиповником и там, где он пел под гитару, сидя на табурете, он приподнял шляпу, вышел на улицу и прикоснулся к шляпе при виде каждого встречного. На втором этаже окно было открыто, и Клара была дома. Ее длинные черные волосы сразу же погладил Эвальд Эмильевич и шутиливо произнес:

— Сволочьеночка!

Клара делала пироги, раскатывала тесто, соблазнительно напомиравшее Эвальду Эмильевичу женское тело. Клара откинула прядь со лба тыльной стороной ладони, потому что она была в муке, и поцеловала Эвальда Эмильевича в губы, затем сбегала в ванную, вымыла руки, разделась и нырнула в кровать, возле которой на столике стояли толстые свечи, которые делала сама Клара. Эвальд Эмильевич разделался не спеша и перед зеркалом. Когда совсем обнажился, полюбовался своим телом, и принялся гладить тесто, нежное и теплое, из которого получались великолепные пирожки с вишнями.

А тот угол можно было приглушить, и Ян приглушил его, и вся картина выплывала как бы из полумрака, как из полумрака выплывал великолепный голос Якуника, потому что свет лампы приглушили и Якунин как бы тонул в женщинах, женщинах на зеркальном полу.

И все мчались куда-то по улице и пили коктейль “Кровавая Мэри” в баре центральной гостиницы, а Эвальд Эмильевич не пил, и ему не хотелось пить, а Ян все пил, и Яну хотелось пить и кричать:

— Возвышенные сволочи небес, вам азбуку безумия черчу я, как пистолет, заряженный цитатой из Лозэрамуса: гадючник женских задниц цветом роз сшибал апломб с хозяйственников хмурых, и я давил тела, как паровоз, работающий скалкой, как ваятель, с тестом!

Ян пыхтел в своих кровавых одеяниях, но не сбрасывал с себя шипногрудой красавицы, и уже Якунин плюхнулся на пол и повез свою избранницу, и Саврасов упал на колени, но повез не женщину, а гитару в черном футляре, как рюкзак на спине, и Эвальд Эмильевич встал на колени, и голая Клара села на него мягким тестом, и он возил ее по просторной бане под струями дождя, не понимая, почему калитка оказалась около шиповника, а шиповник около калитки.

Во сне он продирался, проламывался, процарапывался через дикие заросли благоухающего розовым запахом шиповника, куда-то долго проламывался, потому что ему было страшно от преследовавших его собак, на которых восседали обнаженные женщины, погонявшие визгами собак, чтобы те двигались быстрее, но, как это бывает во сне, все стояли на месте, как прибитые к земле гвоздями, порыв убегания через заросли шиповника у Эвальда Эмильевича был огромен, и у женщин порыв был огромен, но двинуться было невозможно, и от этого было еще страшнее — почему же ноги не двигаются? — и сквозил в душе ответ, что шиповник поймал тебя, сволочен!

А ты еще устроился около шиповника со своим деревянным пеннелом из гениального композитора Пита Питца, рыжей бестии, с хвостом лохматым, как у лисы, бегущей за Цербером, на котором сидит тесто, посыпанное мукой, чтобы не прилипало к рукам, которые мнут, тискают женский зад, такой мягкий и тепло-прохладный, как и белая, округлая, тяжелая грудь, свисающая виноградом, зрелым-перезрелым, на который с вожделением поглядывают все зрители художественной выставки в Морском центре, через окна которого слышен шум моря.

Около круглой кирпичной водонапорной башни Эвальд Эмильевич лежал в задумчивости, подперев голову ладонями, и смотрел вдаль. Ему казалось, что он видел море, эту шарообразную воду, эту воду, отражающую небо, эту воду на шаре или шар, состоящий из воды. Сначала воздух заполняет пустоты, потом вода заполняет пустоты и вытесняет воздух, который и в домах — воздух. Нет улицы, есть дома в линию, а между ними пустота, которая называется улицей, пустота с покрытием, можно сказать, стена, лежащая на земле. Стена, стоя-

щая вертикально, есть ограждение от пустоты внешней. Люди отгораживаются от пустоты внешней, чтобы создать пустоту внутреннюю. Дома — это внутренняя пустота, где должен двигаться Эвальд Эмильевич, в свою очередь, напоминающий живой дом, потому что в нем много пустоты, живые стены тела, пицца, входящая в пустоты желудка, кости черепа, череп костяной, всасывающий в себя видимое море у водонапорной башни из красного кирпича, всасывающий предметы мира, картины мира, сменяющиеся с быстротой ветра, набегающего на вершины сосен, растущих на песке взморья, удаляющегося на десять лет назад и на десять лет вперед, на сотню лет назад, до жизни Эвальда Эмильевича, на сотню лет вперед, после жизни Эвальда Эмильевича, живущего сейчас, и десять, и сто, и тысячу, и до истории лет назад-вперед. Потому что всасывающая пустота его души огромна, она втягивает без всякой связи и последовательности все вещи мира и все вещи о вещах мира.

У калитки с шиповником сидел на табурете Якунин, похожий на грузчика своим мощным торсом, и пел арии Шенделя, Бродса, Илювайкиса, пел тем натужным, деревянным голосом, каким поют все без исключения ученики консерватории, потому что ученики закованы в ошейники правил, которыми убивается всякое живое искусство, дающееся певцу свыше. Эвальд Эмильевич перестал слушать Якунина, встал, пошел по дорожке, закурил, внутренне радуясь тому, что он лелеет свою первозданность, отбывает номер в художественном училище, только отбывает номер, потому что в советской стране необходим диплом, клеймо, свидетельство, потому что первородный талант здесь ничто, фикция, пустота. О, эти тупорылые коммунисты с дипломами, заполонившие все пустоты домов с вывесками: консерватория, лаборатория, история!

— В колонну по четыре становись! Шагом марш! Левое плечо вперед! Запевай!

Со знаком "Гвардия" на груди гимнастерки, в тяжелых кирзовых сапогах Якунин во всю плотку запел, а что он запел — истории искусств неизвестно, как неизвестен никому тот фантом, который подавал команды, фантом, в арсенале которого было сорок три слова из всего многообразия русской лексики, среди которых двадцать три нецензурных, и три лычки на погонах!

— Ахтунг!

Мимо домов бургеров, булочников и колбасников в черной шляпе с тростью идет Эвальд Эмильевич, рядом с ним идет Якунин и говорит:

— Хочу создать небывшее! Никогда, никто не видел такого, что я создам!

— У, сволочен! Да ты, я вижу, кое-что начинаешь понимать в искусстве. Нужна тонкая линия, которую ты выскребаешь скальпелем на засохшей краске холста! Выскреби свою линию!

Эвальд Эмильевич поднимает трость, старенькая "Победа" тормозит, останавливается, шофер соглашается подвезти.

Якунин восхищается советским нерусским краем, хорошо бы восхищаться испанской социалистической республикой и всеми остальными советскими социалистическими, включая южно африканскую советскую социалистическую республику. Асфальт, как полоска моря, отражает голубое небо и стремительно убегает назад. Мелькают деревня, поля, стога сена, мелькают городки с тротуарами, с металлическими оградами, с шиповником у калитки, с острошпильными собаками, с упитанными коровами.

— Дальше мне направо, — говорит шофер.

Эвальд Эмильевич отрывает талончик из книжечки, говорит:

— Это вам в знак благодарности. Автостоп!

Водитель доволен. Набрав несколько таких талончиков, он получает приз в устроенной нерусской советской социалистической игре под дивным названием "Автостоп".

Черная шляпа и трость забываются и уезжают на заднем сиденье "Победы", но Эвальд Эмильевич не грустит, он кладет руку на плечо Якунину, они идут по шоссе, и Эвальд Эмильевич неповторимым своим голосом, отпущенным ему свыше, поет:

Вот асфальтируют вселенную  
И мельница шумит,  
И бабочкою пленною  
Мир в паутине спит...

Эвальд Эмильевич останавливается у речушки, протекающей под мостом, спускается к воде, садится на траву. Жужжат мухи и пчелы, как будто они только что слышали песню, которую пел Эвальд Эмильевич, потому что их жужжание продолжает мелодию песни. Эвальд Эмильевич снимает туфли, затем носки и принимается стирать их в воде, сказав:

— Нужно помыть носки, чтобы ногам веселее шаталось. Нам еще идти километра три.

Якунин следует совету Эвальда Эмильевича, снимает и стирает свои носки, потом бродит вместе с Эвальдом Эмильевичем по воде, ощущая ее прохладу ступнями. У реки расстилается рыжеющее поле. В душе у Эвальда Эмильевича звучит мелодия еще ненаписанного романса, который он предчувствует и надеется, что Пит Питц этот романс напишет, потому что смутное ощущение нового произведения рождается не в душе композитора, а в душе исполнителя, который и является, по мысли Эвальда Эмильевича, настоящим творцом, подобно тому, как истинным творцом становится читатель текста, а не тот, кто этот текст выращивал и увязывал в снопы, которые в скором времени появятся на рыжеющем поле, которое чудесным образом внесло волнение в душу Эвальда Эмильевича, почувствовавшего

зарождение новой мелодии у не знакомого ему лично далекого композитора Пита Питца.

— Я бы хотел совсем удалиться от жизни, — сказал Якунин. — Удалиться от серых будней, от людей бесталанных, запродавших себя государству. Эти люди не понимают, для чего и почему они живут. Они ходят на свои заводы с послушностью стада, идущего на бойню. Я завидую тебе, Эвальд, потому что ты живешь, как мелодия нового произведения Питца, которое он скоро напишет.

Эвальд Эмильевич с улыбкой взглянул на Якунина, сказал:

— Похвально. Только творец может пожертвовать государственной службой, быть вдохновенным тунеедцем советской системы, то есть творить вопреки установкам, творить то, что ему хочется самому в данную минуту. Нельзя быть вчерашним, нужно быть завтрашним, с предчувствуемой нотой дальних торжеств!

Якунин, глядя на рыжее поле, запел:

У женщины полей в душе печать,  
Мы пожинаем времени колосья,  
И женщина, как выгнутая сталь  
Серпа серпов, над мужем серп заносит...

Ян сидел на корточках у дерева, слушал пение Эвальда Эмильевича, и это пение погружало его в заоблачный транс, когда казалось, что он не нарисовал ни одного холста, что он ничего в жизни не сделал, и Яну вдруг стало странно. Он смахнул со щеки слезу, внезапно скатившуюся из повлажневшего глаза, встал, подошел к чистому, только что натянутому холсту и принялся рисовать свой глаз, который захотел плакать, который отказывался видеть все созданное Яном за пятьдесят лет творчества, уходящего куда-то в неизвестность.

— Куда уходит творчество, сволочены! — закричал Ян. — Кто знает о существовании моих холстов?!

— Знаем, — сказал Эвальд Эмильевич и надел черную шляпу.

— Ты знаешь, — усмехнулся Ян. — Но ты — никто! Ты — это я, сволочен!

— Знаем, — тихо пробасил Якунин.

— Это не имеет никакого значения! — сказал с чувством Ян. — Не имеет значения, сволочен, потому что дальние не знают обо мне. То есть я хочу сказать, что я не знаю дальних, которые знают обо мне, но я твердо знаю, что дальние меня не знают, а если и знают, то не сообщают мне об этом. Нет никакой обратной связи. Мир — это провал памяти. Я ваял свои холсты с чувством одержимого, которому очень хочется прославиться. Я хотел прославиться. Но прославился ли я? О, это вопрос вопросов, сволочены! Я подыхал с похмелья, и никто, никто — ни дальние, ни ближние — не приходил помочь, поставить бутылку для поправки здоровья. Я собираю волю в кулак и сам бегу по улицам в поисках похмельки. Я бегу, знаю, что на меня

квивают бургеры и колбасники с чувством превосходства, говорят, что вот, мол, побежал сумасшедший художник, художник-пропойца. И все! Вот чего я добился в поисках славы. Кто-то, быть может, меня и вспомнит на мгновение или у холста в музее остановится, похвалит и забудет, тут же забудет, как перейдет к следующему холсту!

Ян тряхнул головой, седые волосы упали на лоб, он их откинул рукой назад, встал и пошел умываться в речушке. Вода была прохладна, потому что она вытекала из леса, который был с претивоположной стороны шоссе. Ян набирал воду в ладони и склонял лицо в них, а не подносил ладони к лицу, затем вдруг быстро разделся догола и плюхнулся в мелкую речушку. Плыть здесь было невозможно, но лежать на чистом песке дна очень удобно, слишком удобно лежать и чувствовать, как все вокруг холодеет — и голубое бездонное небо, и насыпь шоссе, и лес с той стороны, но главным образом тело, в котором все от прохлады как бы насторожилось, сжалось и хотело взвизгнуть радостно от минутной победы над жарой.

Клара тронула Яна за плечо, он открыл глаза, удивился и тут же вскочил, не стесняясь своей старческой наготы.

Клара, оказывается, тоже была голый.

— Я тебя вывезу, — сказала она и встала на четвереньки.

Ян сел на ее спину, и она повезла его по зеркальному полу к недавно начатой картине, где Эвальд Эмильевич сидел в черной шляпе и с тростью у калитки, возле которой рос великолепный шиповник с очень крупными цветами, сущими розами!

От шоссе уходила дорога, вымощенная булыжником, это была очень старая дорога, и она вывела путников к мельнице. Огромное колесо вращалось от водяного потока, чавкало, поскуливало, как собака, на которой сидела укрытая вуалью обнаженная пышная Клара. Колесо медленно вращалось, напоминая о вечности. Мельница находилась в лесу. Здесь стояли одноэтажные каменные хозяйственные постройки, между которыми пролегли каменные дорожки, вдоль которых росли флоксы и другие цветы без известных названий, они, разумеется, имели названия, но Якунин этих названий не знал. Он восхищался архитектурной планировкой мельницы, восхищался огромным колесом мельницы, восхищался падающей с лопастью колеса водой. Он смотрел на лопасть, смотрел на то, как она медленно поднималась в небо, как с нее падала вода, и ему казалось, что он сам поднимается в небо, и ему было страшно, что он сейчас упадет в пучину вод, как падает в черную воду голубая вода с неба колеса.

У металлического забора, на тротуаре, стоял белолобый упитанный теленок, его влажный нос поблескивал. Теленок лизнул своим языком-лопатой руку Якунина, было влажно и щекотно. И этого теленка хотел поместить возле мельницы Якунин на огромном холсте, не такого точно теленка, но что-то вроде теленка, потому что Якунин не был реалистом, как не были реалистами ни Ян, ни Эвальд

Эмильевич, ни Клара, потому что реализм напоминал Якунину тоскливую жизнь московских подвалов, где он провел свое детство, родившись в семье слесаря, выходца из глухой вологодской деревни, в которой не было мельницы, в которой не было тротуаров, в которой не было туалетов, в которой не было каменных домов, в которой не было средневековой мельницы, в которой не было, не было, не было... Трава польнь была и крапивы досталь.

Якунин не был знаком с Эвальдом Эмильевичем до встречи у куста шиповника, который благоухал великолепными цветами у калитки. Якунин уже пел свою песню ухода от тяжелых людей московских подвалов и русских деревень. Якунину было страшно, что он останется с темными людьми, которые не делают каменных дорожек, не строят каменных домов, каменных мельниц с огромными красивыми вечными колесами.

Ян пригвоздил Якунина взглядом к стене мельницы, выдавал из тюбика краску на его грудь и надел на него вышитую парадную русскую рубашу, чтобы подчеркнуть русскость Якунина, и сказал:

— Ты в Европу хочешь, которую ты затоптал?! Сиди в грязи своих деревень и помни цитату: “Дрожащие огни печальных деревень!” Помни эту великую строчку о России и трепещи!

— Я трепещу от страха быть в этих печальных деревнях! — воскликнул Якунин, и на его скуластом простонародном лице показались слезы. Он медленно вышел на авансцену, свет погас, лишь яркий луч прожектора выхватывал из тьмы лицо Якунина. Якунин гениально зашел!

Дрожащие огни печальных деревень...

Зал плакал от всемирно-исторической скорби по России, которая не построила в деревнях тротуаров, не построила туалетов со сливными бачками, не трудилась в средние века, лежала на грязной земле и едва прскармливала себя.

Дрожащие огни печальных деревень...

Зажглись уличные фонари на мельнице, в столовой за огромным средневековым столом подали ужин — молочный суп с овощами. Якунин не мог предположить, что овощи можно варить в молоке, с опаской стал пробовать, распробовал, мигом съел тарелку и попросил добавки.

Совмещение разноязыких лиц в пространстве истории. Из-за присутствия Якунина, ученика консерватории, из-за уважения к нему все говорили по-русски. А потом, где-то в уголке, тараторили по-своему очень смешно, но Якунину нравилось звучание другой речи, которой он не понимал, и ему казалась эта речь кукольной, ненастоящей, потому что настоящим для него был только русский язык. Так рядом жили и так по-разному говорили народы. Почему? За столом

сидели студентки художественного училища, в котором учился Эвальд Эмильевич, и конечно — юная Клара. И другая, которая сразу же приглянулась Якунину, Линда, а потом до страха смутила его тем — и это обнаружилось тогда, когда она встала из-за стола, — что была хрома, одна нога у нее была тонкая и как бы сухая.

И Ян понял, выдавливая краску из тюбика на холст, что в этой композиции фигур должна быть Хромоножка, разумеется, где-то между Эвальдом Эмильевичем в своей черной шляпе и с тростью, между обнаженной Klarой, этим превосходным тестом на свине Цербера, и Якуниным в русской рубахе, стоящим на авансцене и поющим:

Дрожащие огни печальных деревень...

Зачем же Якунину нужно было ласкать Хромоножку до того, чтобы она забеременела? Для того, чтобы появился маленький Эвальд Эмильевич, этот чудо-ребенок, этот вундеркинд, ходящий по улицам с пяти лет в черной шляпе и с тростью мимо лавок колбасников и булочников. О, певец Эмилий Якунин, изменивший России, бросивший свою печальную деревню с дрожащими огнями!

— Я не Эмилий, — сказал Якунин. — Я — Василий!

— О, да! Ты Василий! — воскликнул Эвальд Эмильевич и продолжил: — Но ты же мог быть моим отцом, фортепьянниссимо! Ты пришел на хутор Валитес тогда, когда меня не было! А моя мать была хромоножка!

Ян с сумасшедшей улыбкой смотрел на свой новый холст, не понимая, что он делает, что он рисует, кого он изображает. Материал человеческих тел бесконечен. Но не тела должны быть на картине, а трепещущие души. Как изобразить душу, какой тюбик взять?

Ян бормотал, бегая с тюбиками по мастерской и воровато поглядывая на холст:

— О, эти маленькие Эвальды Эмильевичи, они с пяти лет носят черные шляпы и ходят с тростью, маленькие гении, маленькие Эвальды, маленькие Христы, маленькие Василии... Все маленькие! — усилил голос Ян. — Но как только они подрастают, вся их гениальность проваливается в пустоту, они быстро стареют и лысеют, ходят по улицам в черных шляпах и приветствуют всех и вся: встречных, поперечных, милиционеров, дворовых собак, пивные ларьки, столбы и деревья, потому что я знаю наверняка: кто окончил спецшколу с золотой медалью, тот самый бездарный среди живущих и того ждет умопомешательство!

— Сам ты сумасшедший! — крикнул Эвальд Эмильевич с картины, развернулся и исчез.

Эвальд Эмильевич полез по приставной лестнице на сеновал в каменной конюшне. Фыркали в денниках красивые и крепкие лошади. На сеновале легли студентки, Хромоножка и Якунин. До умопомрачения пахло сухими травами. Эвальд Эмильевич прижался к Кла-

ре, а Якунин обнял тишайшую Хромоножку. Когда солнце заходит, то темнеет, и люди ложатся спать, их мозг без солнечной энергии, животворящей и всесильной, засыпает, и если завтра утром солнце не появится, то человек умрет, потому что если завтра не будет солнца, то его уже не будет никогда, как если бы прекратила свое существование речушка и колесо могучей мельницы остановилось, так бы и земля остановилась, не вращалась, и мозг бы человеческий без вращения внутренних колес не вращался, не струился, не пульсировал, потому что все на этом всемирно-историческом холсте вращается, пульсирует, искривляется синусоидой, вспыхивает, искрится, чтобы сработало зажигание двигателя жизни.

В темноте, пропитанной влажноватой прохладой, колесо продолжало тяжело вращаться, хлопая и чавкая, как корова чавкает травой, как трава потрескивает, высыхая, как кузнечики потрескивают в темноте, как темнота постанывает в лесу, как лес превращается в лешего, как все превращается в ничто, как ничто становится всем, что видит глаз и слышит ухо, и чувствует душа, и трепещет сердце, и начинается волнение, волнение всего существа, и все существо наполняется страхом, потому что страшно вращается огромное колесо, со страшной высоты падает с шумом вода, вращается колесо, вращается, вода толкает лопасти колеса, вода поворачивает колесо, вращает колесо, и только поэтому вращается земля и наступает утро полоской зари.

На завтрак вам предлагается душистое молоко из-под коровы, горячий хлеб из печи, с красной корочкой, которая нежно хрустит на зубах при свете лениво поднимающегося солнца, под жужжание мух и пчел, под вечный шум мельничного колеса, которое продолжает вращаться и днем и ночью, потому что не пересыхают реки, не останавливается в своем движении земля, не остывает солнце. И на маленького Эвальда Эмильевича Хромоножка надевает маленькие деревянные башмаки, и он стучит этими башмаками по тротуару кутора, идет по тротуару нерусской деревни в черной шляпе и с тростью, идет в деревянных башмаках по улице, которая упирается, которая выходит, упираясь в море, так бы и идти в деревянных маленьких башмаках по морю, голубому морю, очень прозрачно-голубому морю. Если даны понятные цвета: голубой — небо, море; зеленый — травы, деревья; черный — шляпа, лакированные туфли, — то что еще требуется? Солнце? Но вы знаете, какого цвета солнце. Это только Ян, седовласый, беззубый сумасшедший, не знает. У него и черный цвет излучает свет, если Ян этого захочет.

Но Эвальд Эмильевич — не Ян! Эвальд Эмильевич отпивает из хрустального огромного кубка глоток холодного белого сухого вина и смотрит на сухое дерево, подпирающее потолок в его мастерской, смотрит на чучело куропатки, на сук сухого дерева, где сидит куропатка, затем подходит к холсту, на котором вращается колесо, огромное колесо, и начинает рисовать Яна, обмотанного красной атласной што-

рой, возле этого немислимого колеса. Эвальд Эмильевич выдавливал краску из тюбиков на холст, Эвальд Эмильевич весь перепачкан красками, он сам — краска. Эвальд Эмильевич рисует и напевает:

Маленького Эвальда водили  
В деревянном море кораблем,  
Маленькие девочки любили  
Наслаждаться в жаркий полдень льдом...

Когда краска затвердеет, Эвальд Эмильевич покроет холст лаком, и вся композиция приобретет старинную, как у голландцев, глубину, полумрак, коричневато-золотистые тона, и мы увидим вращающееся колесо человеческих жизней, и мы будем знать, что это нам изобразил Эвальд Эмильевич, который, пока рисовал, все думал о том, как воспримут его новый холст ценители, потому что на простых зрителях Эвальд Эмильевич не ориентировался, он шел прямо на ценителей, которые теперь ценили то, что ни на что не похоже. Это великая школа — научиться рисовать с натуры! Ты должен рисовать так, чтобы ничего похожего на жизнь на твоём холсте не было. В худшем случае рисуй просто крестики и нолики, но только не портрет, похожий на оригинал! Сходствами занимается фотоаппарат.

Эвальд Эмильевич картиной вращающегося колеса восхищался и спрашивал у Якунина:

— Такого не было, сволочен?

— Я не помню, чтобы у кого-нибудь подобное было, — отвечал Якунин, допивая парное молоко.

Хромоножка с тихой улыбкой поглядывала на него, как будто хотела сказать, чтобы Якунин оставался с нею вечно, но зачем Якунину хромая жена? Он сказал, что вернется, и исчез навсегда с мельницы вместе с Эвальдом Эмильевичем. Они шли по шоссе, голосовали, какой-то старый “Москвич” подвез их до гостиницы в старом городе, который напоминал все старые немецкие города, с каменными домами, тротуарами на узких улицах, с железными оградами, с лавками булочников и колбасников. Гостиница походила на немецкую казарму, все в линию! Спали на жестких койках. Утром пошли в музей у башни, которая возвышалась над городом. В музее висели картины Яна: полет красочных линий, то корабли, то бегущие куда-то люди, то птицы, то обнаженные, ползающие по зеркальному полу.

— Чтобы выразить свою душу, — сказал Ян, — нужно быть полнейшим идиотом! Только идиоты способны сказать что-то новое в искусстве, в котором все места давным-давно заняты!

— Мы — гении! Да, мы с тобой, Ян, гении! — сказал Якунин.

Ян сидел, привалившись спиной к стене, на корточках. Ян сказал:

— Эвальд гениальнее тебя, Василий!

Якунин немного обиделся, что мэтр не назвал его гением, но Якунин знал, что гении всегда молотят всякую чепуху. Но, что странно, их чепуха становится аксиомой для смертных ценителей.

Ян свернул афишу Якунина в трубочку и посмотрел на вошедших Эвальда Эмильевича и Клару. Он смотрел в свернутую афишу, как в подозрную трубу. Ему нравилось так смотреть на мир. Все постороннее он отсекал этим отверстием, как рамой холста.

— Вы гениально исполнили партию Айкиндера! — сказала Клара, протягивая руку Якунину.

Тот склонился и поцеловал эту руку.

— Польщен! — сказал Якунин. — Мне эта партия далась с таким трудом! Этот Пит Питы, пишет так сложно, с такими модуляциями!

— Превосходно! — воскликнул Эвальд Эмильевич, пожимая руку Якунину.

Саврасов, выпив банку холодного пива, тронул струны гитары, но звукорежиссер тут же сделал ему через микрофон замечание:

— У вас одна струна дребезжит!

Эвальд Эмильевич с Саврасовым сидели в студии радио, за стеклом, Якунин находился вместе со звукорежиссером у пульта, редакторша Белла, худющая ценительница, недовольно вздыхала, мол, кого это привели?! Эвальд Эмильевич запел очередной романс. Голос его звучал постно, и Якунин понял, что все записанное никуда не годится. То, что хорошо для застолий, то не подходит для радио. Создавалось такое впечатление, что в Эвальда Эмильевича всадили чужой, мертвый, механический голос.

Но этот же голос оживал около калитки, где рос шиповник, звучал великолепно, даже трогательно. Якунин с удовольствием слушал и потом и сам спел, но в этот раз его голос годился только для радио, то есть был инородным здесь, возле буйно цветущего шиповника. Всему нужна своя атмосфера. Каждая вещь должна знать свое единственное место в пространстве. Это место есть для каждой вещи, и как только это место находится, вещь вдруг вспыхивает и начинает светиться. Чтобы найти свое место, бывает мало целой жизни, а сама жизнь и дана для того, чтобы отыскать это единственно возможное место. Вот и хаотично снуют все вещи и лики, человеки и собаки, пчелы и змеи, листья и чучела куропаток. Глаза художника — это рамка, рамка должна выхватить из жизни то, что наиболее полно отразит, выразит, запечатлеет тревожную душу художника.

— Саврасов, грачи прилетели? — спросил Ян, дрожа с похмелья, дрожа всем телом, мелко-мелко, так что скулы сводило.

Саврасов быстренько извлек из черного гитарного футляра бутылку и стакан, налил, поднес Яну.

Ян жадно и торопливо выпил.

— Прилетели все грачи, милостивый государь! — усмехнулся Саврасов, с сочувствием глядя на Яна.

Эвальд Эмильевич почувствовал себя хорошо, поставил кубок с вином на письменный стол и задумчиво уставился в окно. Он думал ни о чем и вроде бы обо всем. Состояние тоски разливалось по всему

телу, жуткой тоски, вызванной полным непониманием происходящего. Для чего он прожил шестьдесят лет? И была ли жизнь? С пятилетнего возраста он носит черную шляпу и ходит с тростью, чтобы по одному этому виду все знали, что вот идет великий художник, гений, на которого все должны смотреть с открытыми ртами, поклоняться ему и преклоняться перед ним, говорить о нем с восхищением, как о небожителе, как о вземном существе, потому что Эвальд Эмильевич не такой, как все, избранный, единственный, царственный, королевский, датский, библейский. Сколько холстов он изготовил за свою длинную жизнь! Но где эти холсты? Многие ушли на Запад, за валюту, которая проедена. Где эти картины? Где эти чудесные Яны Саврасовичи с Кларой между ними в коричневато-золотистых тонах, затемненные и углубленные лаком под старых голландцев? В чем опора жизни художника?

— В черной шляпе и в трости! — воскликнул Якунин и вернул умчавшуюся “Победу”, чтобы забрать с заднего сиденья и шляпу и трость. Якунин запел:

Мне ли гнушаться черной работы?  
Улицам, где асфальт во всю ширь пылится,  
Кричу задиристо: “Вот я —  
С картофельною ботвой в петлице!”

Тоска немного отпустила Эвальда Эмильевича, потому что он почувствовал запах дымящегося асфальта, и вдруг огромное мельничное колесо превратилось в тяжелый каток, сталисто-серое колесо укатывало асфальт в районе Гертрудинской улицы. Саврасов с гитарой шел в синем дыму возле катка и играл гимн асфальту, которым закатывались живая земля и трава на ней, но эту зелень начинаешь замечать только тогда, когда есть асфальт, который подчеркивает зелень и по которому очень приятно и удобно ходить, разглядывая зелень по бокам асфальтовой дорожки, во всех лесах нужно проложить асфальтовые дорожки, во всех полях нужно проложить асфальтовые дорожки, чтобы можно было в плохую погоду безбоязненно ходить в полях и в лесах по асфальтовым дорожкам.

— Клара, ты сварила молочный суп с овощами?

— Да, Эвальд, я сварила молочный суп со свежими овощами.

Эвальд Эмильевич, в черной шляпе и с тростью, взял под руку Клару, и они направились по узкой улице, которую недавно заасфальтировали заново, в собор. Они сели на скамейку, и вдруг где-то под высокими ребрами потолка собора зазвучал орган, и в груди как будто заиграл орган, все позвонки и ребра завибрировали, а потом по залу собора разнесся богатый голос Василия Якунина:

Трепещет власть земная под крестом,  
Мария-дева с маленьким Христом,

Ей сатана грозит стальным перстом,  
А ей не страшно в облике простом...

Эвальд Эмильевич оглядывается по сторонам и всем кивает, кивает, приветствует, но никто его не знает, но он продолжает приветствовать, тогда Клара крепко сжимает его руку, и Эвальд Эмильевич перестает приветствовать, вонзает свой безумный взгляд в золотистые трубы органа и слушает, но через минуту ему начинает казаться, что кто-то обиделся, что Эвальд Эмильевич не поприветствовал их, и он вновь начинает отвешивать поклоны по сторонам.

— Да перестаньте вы наконец вертеться! — слышится раздраженный голос сзади.

От испуга Эвальд Эмильевич втягивает голову в плечи и затихает. Клара очень крепко сжимает его руку, так что рука затекла, окаменела, и как будто сам Эвальд Эмильевич окаменел.

После концерта в соборе Эвальд Эмильевич ведет под руку Клару домой. Эвальд Эмильевич то и дело приподнимает шляпу, приветствуя встречных-поперечных, но на это уже Клара не обращает внимания. Эвальду Эмильевичу нужно скорее добраться до тюбиков.

— Меня никто не узнаёт! — жалуется Кларе Эвальд Эмильевич и сворачивает к калитке, у которой растет столь милый сердцу Эвальда Эмильевича шиповник. Солнце уже опустилось низко. Самое время петь.

Эвальд Эмильевич садится на табурет около шиповника, напротив садится с гитарой Саврасов, только что вернувшийся из пивной. Гитара мелодично играет вступление к арии Айкинтера из оперы Пита Питца “Цкоинеада”. Колбасники и булочники приходят в восхищение от пения Эвальда Эмильевича. Хотя седовласому и беззубому Эвальду Эмильевичу петь трудно, но он поет всем существом своим, всею душою, кивая то в одну сторону, то в другую, с улыбкой, радуясь каждому слушателю, как ребенок.

Шире широкого звучит голос Эвальда Эмильевича, гениального певца тюбиков всех веков и народов. Время от времени он делает паузы и как бы восхищается тишиной, которую тут же разрывает своим мощным голосом, который уже не принадлежит ему, а словно звучит с небес, для всех землян. Так велик Эвальд Эмильевич. Он это знает, поэтому держится всегда строго и несколько чопорно. Он понимает, что только так нужно держаться художнику, только в черной шляпе и с тростью.

Эвальд Эмильевич медленно протянул белые, в краске, пальцы к тяжелому хрустальному кубку, взял его, поднес к губам и не спеша отпил несколько глотков. Взгляд его тяжелых глаз остановился на чучеле куропатки. Затем взгляд перешел на флоксы за окном, аромат которых струился в мастерскую через открытое окно.

Пришла телеграмма из ЦК ВЛКСМ с приглашением молодого художника Эвальда Штракса на всесоюзное совещание в Дом творчества Сенеж.

— Сволочены! Узнают всесоюзную известность Эвальда Эмильевича!

Приехавшие художники были одеты кто во что, лишь Эвальд Эмильевич был в черной шляпе и с тростью. Длинные волосы, еще не седые, очень длинные волосы, какие и подобает носить художникам, развевались на ветру из-под шляпы. Эвальд Эмильевич был принят как советский иностранец, он мудро и несколько заумно рассуждал в кругу молодых московских художников о сущности живописи, называя почему-то живопись “ваянием”.

— Я ваяю холсты в полумраке, при свете свечей,— говорил он.

И все на его лице как бы видели море, янтарь и свечи, разумеется, под звуки органа, потому что его лицо было на огромном автопортрете, лицо, мало напоминающее Эвальда Эмильевича, вытянутое и искривленное, но море, янтарь и свечи на этом лице присутствовали. Ни одного конъюнктурного политического мотива не было в живописи Эвальда Эмильевича. Советским иностранцам делалось послабление. Зато на холстах Якунина реализмом сияли метростроевцы с бицепсами штангистов.

— Я тоже так могу работать, как ты, — сказал Якунин Эвальду Эмильевичу.

— Почему же не работаешь?

— Не выставишься.

— Я выставяюсь, — сказал Эвальд Эмильевич.

— У вас на всю республику десять художников! — воскликнул Якунин.

И они для полного знакомства пошли в деревню за водкой. Водки в сельпо не оказалось, но был армянский коньяк. Сначала выпили под березкой недалеко от сельпо.

— Я из простой, плебейской семьи, — с горечью в голосе сказал Якунин. — Не хватает культуры. Как только я увидел твои великолепные холсты, так сразу понял, что мои работы — говно!

— Нельзя рисовать похоже, — задумчиво проговорил Эвальд Эмильевич, снимая шляпу. — Художник — это творец невидимого, то есть того, что никто не видит. Все вещи переплавляются в его душе, и на холст выливаются фантазмы! У меня нет мазка, я борюсь с перспективой, я изгоняю внешний мир из своих работ. Мой мир на холсте это только мой мир! Только я властелин своего мира.

Якунин привалился спиной к березе, а Эвальд Эмильевич запел:

Ну, ладно, пошли  
На твою верхотуру,  
Где пахнет курами в коридоре.  
Будем сидеть всю ночь  
На полу на старой твоей шинели —  
Пятна крови, как краска, на ней затвердели.

— В немецкой казарме мы спали на соседних койках, служа в одной армии, — закончив песню, сказал Эвальд Эмильевич.

— А теперь мы живем в разных странах, — сказал Якунин и продолжил: — Ты делаешь вид, что не знаешь меня.

— Это ты сделал вид, что не знаешь меня, когда я пел у куста шиповника, — сказал Эвальд Эмильевич.

— Я пел в хоре дворца пионеров Свердловского района города Москвы, — сказал Якунин, — и допелся до собственного оперного театра, но, чтобы этот театр появился, нужно было признать тебя, Эвальд Эмильевич, иностранцем.

— Я с пяти лет ездил на троллейбусе через Даугаву в дворец пионеров имени Красных латышских стрелков, чтобы стать знаменитым нью-йоркским художником, — сказал Эвальд Эмильевич. — Для этого нужно было развестись с Россией, то есть с тобой, Василий.

— Да, — вздохнул Якунин.

— Откуда ты привез Хромоножку? — спросил Эвальд Эмильевич.

— Из гарнизона, — сказал Якунин. — Я никогда не был в Латвии, никогда не был за границей, потому что уже тогда считал твою родину за границей! Хромоножка преподавала музыку офицерским детям, и мне она аккомпанировала. Она была дочерью командира части истребителей. Ты помнишь, Эвальд, у них были истребители какие-то, уже забыл, а у нас были разведчики, это я помню, самолеты-шпионы, и ты, Эвальд, был дешифровщиком, с нами еще два еврея служили, которые теперь тоже иностранцы, один за Израиль воевать будет, другой — за Францию. Итак, в новой войне мы будем воевать друг против друга.

— Воевать мы не будем, — сказал Эвальд Эмильевич, прикладываясь к хрустальному кубку и глядя на флоксы, — потому что мы уже старики, глубокие старики.

— Ты демобилизовался раньше меня на год, — сказал Якунин. — Я очень скучал по тебе, а ты писал мне, что уже выступаешь и что ждешь меня в гости, как я дембельнусь. Мне было тоскливо, и меня тянуло к Хромоножке, она играла на рояле, я пел. Я пел и ласкал ее, но не более. Потом повез ее сразу к тебе а ты сказал, что я с ума сошел. Я действительно сошел с ума, лег с ней в постель у тебя в мастерской. На другой день по твоему настоянию проводил ее на вокзал и отправил восвояси, отрезал, выбросил из сердца навсегда.

— Но она не выбросилась из сердца? — спросил Эвальд Эмильевич.

— Нет, — вздохнул Якунин. — Она осталась в сердце

Чучело куропатки на суку сухого дерева ожило, куропатка взмахнула крыльями и сделала несколько кругов по мастерской. Эвальда Эмильевича это не смутило, потому что он думал о Хромоножке, которая попала на пять или шесть его холстов и убыла с этими холстами в Данию, ЮАР, Израиль, Японию и еще куда-то, а сам Эвальд Эмильевич прибыл в Нью-Йорк, построил улочку Риги в его пригороде, ходит в шляпе и с тростью и раскланивается со всеми, а эти все

считают его сумасшедшим русским художником, хотя это не соответствует действительности, потому что тут сплошные евреи и он один латыш.

Зато у него есть своя калитка и свой куст шиповника!

Саврасов сидит на табурете и бренчит на гитаре. Ему хорошо, Саврасову, он под хмельком, выпил десять банок пива и доволен, бренчит на гитаре. Эвальд Эмильевич останавливает это бренчание, которое ему порядком надоело, как заезженная пластинка, которую он ставил каждый вечер, когда к нему после дембеля нагрязнул Якунин, ставил “Вальс юристов” Штрауса, на верхотуре, под крышей, там был скошенный потолок, подходящий к самому полу в том месте, где был брошен матрац, на котором спал Якунин, приехавший в Ригу без копейки денег, на что Эвальд Эмильевич обиделся, потому что у самого Эвальда Эмильевича не было денег и он частенько просто сбегал от Якунина, чтобы тот добывал себе пропитание самостоятельно. Эта верхотура принадлежала родителям Клары, которые на лето уехали в Булдури. Якунин не унывал, наскребал мелочь на маргарин, воровал зя городом картошку ночью и ночью же жарил ее себе на электрической плитке.

Днем приходил Эвальд Эмильевич под руку с Klarой. У Klarы всегда были сочно покрашены пухлые губы. Они водили Якунина по городу и всегда заводили в музей, где экспонировалось две маленькие акварельки Эвальда Эмильевича. Но это же был республиканский музей! И в нем висел Эвальд Эмильевич.

Эвальд Эмильевич свернул в трубочку афишу и посмотрел через отверстие на сталисто-серое колесо катка, который укатывал, как асфальт, время, укатывал все жизни, укатывал цветы и свечи, море и небо, бабочек и пчел, музыку и живопись. Не было ни одного холста, во время работы над которым он бы не волновал Эвальда Эмильевича. Потом Эвальд Эмильевич охладевал к сделанному холсту, приступал к следующему и вновь зажигался. От холста к холсту — это в сущности вся жизнь Эвальда Эмильевича, от песни к песне, от арии Айкинтера к арии Айкинтера, но уже другой, потому что у Пита Питца повторений не бывает.

Повторения бывают в уходах и в возвращениях домой, повторения, не поддающиеся учету, потому что почти каждый день Эвальд Эмильевич уходил из дому и каждый день, за редкими исключениями, возвращался домой, как будто в доме был сосредоточен весь смысл жизни — это когда возвращался домой, или этот смысл жизни находился вне дома — это когда он уходил из дому, причем и уходил, и возвращался с неким неоспоримым чувством необходимости этого действия (ухода-возвращения), хотя частенько шел туда-сюда совершенно машинально. Из этих повторений и состояла его жизнь. Итог, прямо можно сказать, малоутешительный. Разумеется, сюда стоит добавить еще такие повторения, как отбой и подъем. Это тоже нечто

малообъяснимое в биологической сущности Эвальда Эмильевича. Зачем ему ложиться в кровать, если утром нужно вставать?

Но он встает утром, завтракает, тоже банально повторяясь изо дня в день, заглядывает в туалет, что тоже бесит банальностью ежедневных повторений, берет под руку Клару, надевает черную шляпу, берет трость и выходит на улицу, начиная раскланиваться со встречными прямо от цветущего шиповника, который, можно сказать, тоже повторяется и делает это потому, что он есть, просто растет себе, живет себе, цветет себе, как Эвальд Эмильевич, не анализируя это бесшабашное повторение, этот ежедневный плагиат действий, мыслей, отправлений, любви и ненависти.

В свое время, много тысяч повторений назад, Клара хотела, как и Эвальд Эмильевич, быть художником, училась на отделении книжной графики в полиграфическом институте в Москве, заочно, ездила из Риги в Москву на поезде на сессию, туда-сюда, потом в конечном итоге получила диплом и стала женой Эвальда Эмильевича, закончив на сем мечтания о художествах. Таким образом она умышленно выбила из конкурса при поступлении в полиграфинститут какого-нибудь будущего гения, прозанимала его место пять лет, при этом волнуясь на экзаменах, чтобы освоить с годами всего лишь любительское, домашнее производство свечей, правда, достаточно красивых, больших, с фактурным орнаментом, с такими цветастыми бутончиками, ангелочками и птичками, свечей квадратных, круглых, шестигранных, в виде шара, сферы, красных, синих, зеленых, прочих, и всегда дарила эти свечи на дни рождения, просто друзьям, и знаменитым друзьям Эвальда Эмильевича. А что еще привезти из Риги? Скучный выбор: янтарь, свечи, бальзам. И вообще, что такое Латвия? Это запятая в очень длинной фразе человечества. Эвальд Эмильевич на карте ее найти не мог, как не мог в свое юное время найти себе невесту, кроме Клары. Кругом — русские!

— Я за ваших красных латышских стрелков перевешал бы всех латышей! — сильно запянев, сказал Якунин, когда они сели с Эвальдом Эмильевичем у озера.

— А я бы всех русских свиной перестрелял в Риге! — не менее категорично возразил Эвальд Эмильевич, откупоривая четвертую бутылку коньяка. — Эти русские свиньи превратили Ригу в свинарник!

— Ты не путай одно с другим, — сказал Якунин. — Красные латышские стрелки перебили всю русскую белую кость. Значит, свиньями были именно латыши, грязными свиньями, тупыми, как Домский собор, тупые, мстительные, из своих куркульских хуторов. Да вы собачья-то жить не умеете, куркули! — крикнул Якунин. — Чем меньше нация, тем говнистее!

— А чем больше нация, тем говнистее вдвойне! — парировал Эвальд Эмильевич и налил коричневой жидкости в стаканы.

Выпили. Помолчали.

— Нет, ты меня опять не так понял, — сказал Якунин. — Я от своих русских свиней сам убегаю, стесняюсь их, хочу совершенствоваться, читать, быть культурным, самому быть художником... А стрелки твои уничтожали таких, как я, стремящихся к высотам человеческой культуры.

Они встали и пошли от озера краем леса мимо деревни. У забора сидели и выпивали деревенские мужики в телогрейках и в зимних шапках. Один из них, в синей телогрейке, с белыми ресницами и бровями, поднялся, подошел к Якунину и попросил закурить. Якунин в какой-то ненависти к всемирно-историческому, русско-латышско-хохляцко-прочему плебейству, с размаху кулаком сильно ударил спросившего в зубы и, не оглядываясь быстро, пошел дальше. Мужик упал. Эвальд Эмильевич в испуге ускорил шаг за Якуниным, оглянулся, не бросятся ли мужики за ними, но те, видимо, от пьянства не в силах были подняться. Якунин молча и зло шагал впереди, Эвальд Эмильевич догнал его, со злостью спросил:

— Зачем ты его ударил?!

— Чтобы не попался под ноги! Ты же сам хочешь таких русских свиней перестрелять в Риге!

— Зачем ты его ударил? — машинально повторил Эвальд Эмильевич.

— Я объяснил тебе.

— Зачем ты его ударил?! — вошел в какой-то вопросный экстаз Эвальд Эмильевич.

Якунин быстро шагал к дому творчества.

— Зачем ты его ударил?!

Якунин развернулся и смазал по уху Эвальда Эмильевича. Тот мигом встал в боксерскую стойку, даже пару раз махнул руками по воздуху, но Якунин не обратил на это внимания и еще скорее пошел к дому творчества, чтобы забрать свою сумку и уехать.

— Зачем ты его ударил?!

Якунин споткнулся и упал, а когда поднимался, то увидел, что уже стемнело. Он понял, что сильно опьянел.

— Зачем ты его ударил?!

— Потому что ты бездарен! — взревел Якунин и с кулаками кинулся на Эвальда Эмильевича.

Тот опять принял боксерскую стойку и провел пару ударов.

Якунин почувствовал сладость во рту. Это из губы потекла кровь.

— Зачем ты его ударил?!

— Потому что всех вас нужно перебить! — крикнул Якунин. — Потому что твоя живопись — фанерная!

Эвальд Эмильевич встрепнулся, отпил из кубка пару глотков, свернул афишу в трубочку и принялся через отверстие разглядывать свой новый холст, и ему показалось что отсутствие перспективы на

этой картине делало ее именно фанерной. Неужели был прав Якунин и живопись Эвальда Эмильевича — фанерная?!

— Зачем ты его ударил? — тихо спросил у чучела Эвальд Эмильевич.

Кто кого ударял и когда? Якунин с тех пор не подавал голоса, хотя вовсю гремел на оперных подмостках, даже до Нью-Йорка его голос докатился, и Эвальд Эмильевич от этого заволновался, потому что, откровенно, не предполагал в Якунине таланта, не считал, что он, простолоудин, чего-то добьется в искусстве.

— Зачем ты его ударил?! — еще раз спросил у дерева Эвальд Эмильевич и сам себе ответил: — Потому что Якунин ударил самого себя. Это был он в синей телогрейке у забора, это он пил и пьянел, это он, это был он, ударивший себя, чтобы проснуться и петь!

Около куста шиповника Якунин пел:

На холсте пейзаж намалеван,  
Кровь струится в поделочной реке,  
Под раскрашенным деревом клоун  
Одинок мелкнул вдалеке...  
Рама сломана. В воздухе душном,  
Между звуком и мыслью застыв,  
Над грядущим и над минувшим  
Ворожит непонятный мотив.

— Кто это так прекрасно поет? — спросил Эвальд Эмильевич у Клары, которая раскатывала тесто.

— Это поет незнакомец, который тебе очень хорошо знаком, — сказала Клара, раскатывая тесто скалкой.

— Это поет Якунин? — спросил Эвальд Эмильевич. — Сделай радио погромче.

Клара прибавила звука в приемнике. Эвальду Эмильевичу показалось, что русский голос Якунина звучал как укор маленькому латышскому народу за ту подлость, которую этот маленький латышский народ в лице своих красных латышских стрелков совершил по отношению к русскому народу.

— Он мне тоже не показался, когда ты меня с ним познакомил, — сказала Клара.

— Да в нем ничего не было такого, — сказал Эвальд Эмильевич. — Привязался ко мне в армии, прибегал в мастерскую, мешал, сам ничем не занимался постоянно. То начнет рисовать, то петь, то играть на рояле. Теперь я понимаю, что он тогда не был еще сформирован.

— Он стеснялся того, что он русский, — сказала Клара. — Поэтому его тянуло к нам в Ригу. Я это поняла, когда приехала в Москву на очередную сессию. Он тогда обещал устроить меня у себя. Он врал, что живет в Москве в отдельной квартире. А сунул меня к какому-то другу в однокомнатную квартиру, где этот друг жил с семь-

ей. Это уж потом, когда друг сказал ему, что может меня принять лишь на одну ночь, он привел меня к своей матери, совершенно деревенской женщине, которая работала уборщицей в гостинице, она и устроила меня в эту гостиницу, а у меня денег почти что не было и я стеснялась попросить у Якунина, который сгорал от стыда, что наврал о своей трехкомнатной квартире. Мать его привела меня в гости в подвал в Хлебном переулке, в котором жили еще пятнадцать семей, в девятиметровую комнату, совершеннейший деревенский хлев! Вот откуда вылутился этот голос!

Великолепный голос Якунина продолжал звучать по радио Нью-Йорка, разносился по всему миру, и где-нибудь в микроскопической Латвии слышали этот голос.

И гений Ян слышал этот голос, сидя на корточках у стены. Затем Ян вскочил и помчался без слов из мастерской, Эвальд Эмильевич с Якуниным за ним. Они буквально бежали по набережной Даугавы, пока не добежали до плавучего бара, бара в белом корабле, где Ян решил сделать дополнения к программе.

— Сволочены, пить можно только около воды, около реки, которая выносит наши души для остужения в Северный Ледовитый океан! Вы не знаете, что такое краска души! Это водка, выпитая натошак и выплеснутая с краской на холст! Бред, только бред, грандиозный бред способен передать наше ощущение жизни, потому что жизнь есть всепоглощающий бред, и ничего больше. Ни в исторических событиях, ни в искусстве нет никакой логики, нет ничего предначертанного, а есть стихия, спонтанность, бред. Это умники-искусствоведы выстраивают из меня какую-то логическую цепь! — кричал Ян в плавучем баре, но посетители не обращали на него внимания, потому что знали, что это кричит Ян, местная достопримечательность, которая сделала известной всему Советскому Союзу латышскую нацию.

Эвальд Эмильевич с Якуниным смотрелись возле седовласого Яна как прихлебатели, прощавшие ему любую выходку, потому что он — гений, а они с гением запросто чокаются и выпивают. Хотя, надо сказать, Якунин был при Эвальде Эмильевиче, потому что тянулся к его культуре, отрицая русско-подвально-плебейскую, а сам Эвальд Эмильевич был при Яне потому, что без него бы не пробился за границы Латвии, Ян рекомендовал его на Всесоюзную выставку, а без Союза, то есть без России, без многомиллионного зрителя, читателя, слушателя латышские деятели искусств просто бы положили зубы на полку.

— Нужно допить до гениального бреда! — воскликнул Ян.

В иллюминаторы плавучего бара было видно синее небо с красивыми белыми облаками, был виден порт с кранами, были видны океанские пароходы. Якунину казалось, что он видит мир из подвала, не в силах выбраться в этот мир, потому что пьянеет с каждой минутой, но очень приятно пьянеет, и пьянеть ему было приятно на волнах нерусской реки.

Он получил телеграмму от Эвальда Эмильевича: “Картина — в Манеже!” Якунин пошел и Манеж и увидел огромную картину, коричневато-золотистую, под лаком, увидел огромное сталисто-серое колесо катка, увидел Саврасова с гитарой, увидел безумного Яна, сидящего на корточках у дымящегося асфальта, увидел Эвальда Эмильевича в черной шляпе с тростью, ведущего куда-то Клару, увидел себя, поющего что-то у калитки, возле которой буйствовал розовато-бордовыми цветами шиповник. Он стоял у картины, как будто со стороны оглядывал свою жизнь, помещенную в другие жизни, и восхищался гениальным Эвальдом Эмильевичем, который вопрошал:

— Зачем ты его ударил?

К Якунину подошел корреспондент радиостанции “Юность”, попросил сказать несколько слов о выставке. Якунин сказал, что о выставке ничего сказать не может, а о картине Эвальда Штракса может сказать, что это фанерная живопись. И когда он говорил это, то улыбался.

— Вам не нравится современная живопись? — спросил корреспондент.

— Я лишь сказал, что эта картина — фанерная, и больше ничего.

Эвальд Эмильевич еще раз в трубочку афиши поглядел на свою картину, на которой медленно вращалось мельничное колесо, и вода с высоты падала с лопастей. Он понял, что Якунин издевался над ним, говоря, что его живопись фанерная. Никакой фанерности здесь не было, вода была живая, колесо двигалось, даже прохладой веяло от воды, и живой теленок был привязан к железной изгороди.

Улица была очень узкая, и невысокие дома из камня, камня, камня казались очень высокими, с окнами, забранными витыми чугунами решетками, черного цвета, тяжелые, и серый камень, серо-черная городская щель, а не улица, на которой одна к одной теснились лавки булочников, колбасников и овощников. Эвальд Эмильевич вел Якунина по улице, рассуждая:

— Где душа этого города, где моя душа и что такое душа, если не многоединство, всеединство? Я живу, сволочен, в вымышленном мире, в этом мире все вымышленно, даже эти каменные дома. Я должен дать разбег своей душе, чтобы она вылилась на чистый холст, которого до сей поры не существовало!

Эвальд Эмильевич встал в проем какого-то подъезда, принял позу памятника, заложив при этом за ухо черную перчатку, и стал походить на бычка с большими черными ушами.

— Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь, — сказал Якунин, — но я понимаю, что ты хочешь быть оригинальным во всем. Я тоже хочу быть оригинальным, но это очень трудно — быть оригинальным, то есть постоянно придумывать что-то такое, что произведет должный эффект на зрителя. В искусстве пения я удаляюсь до самого начала, до первоосновы человека, потому что раньше всех искусств

возникла музыка, пение, мелодия, как нечто выражающее душу, без понимания этой души, без ее познания.

Якунин закончил петь по радио, тот Якунин, который был и не был, которого можно было сократить из Я-куни-н до Я-н, Ян. Множество людей дано лишь для подчеркивания единичности, единственности, личности, как будто Бог разбил свою душу на бесконечное множество осколков, которые суть составляют движущееся во времени и в пространстве человечество. Так что Эвальд Эмильевич, сокращая или увеличивая персонажей на картинах, действовал согласно божественному замыслу, который простирается на все искусства.

Эвальд Эмильевич почти что машинально бредет по Риге, по тесной улице, бредет только для того, чтобы увидеть Якунина в арке ворот с витыми чугунными створками, чтобы увидеть себя сорок лет назад у решетки окна, в черной шляпе и с тростью, может быть, это даже не он бредет, а москвич Якунин деревенского происхождения, для которого Рига что-то вроде музея, или Рима, или Копенгагена. Так или иначе, они бредут по тесной улице, стоит лишь попасть на эту улицу и увидеть их возле решетки ворот.

По улице идут немецкие солдаты.

— Ахтунг!

Эти улицы очень подходят для немецких солдат, Якунин очень подходит скуластым лицом для роли немецкого солдата, Эвальд Эмильевич тем более подходит для роли немца в истории. Немецкий город, немецкий нрав царя Петра, немецко-русская любовь. Советские солдаты ночной стрельбой напугали Эвальда Эмильевича, он переждал стрельбу в арке нью-йоркских пригородных ворот и понял, что демократия — это радость для безъязыкого (немецкого!) стада.

От больших холстов хочется уйти к маленьким акварелям, чтобы ни один автоматчик не увидел этой акварели. Не захотел читать своего классика Яна Райниса; плохим, очень плохим писателем показался Эвальду Эмильевичу Ян Райнис, потянулся за заказом в Россию Пушкина ему оформлять захотелось, великого латышского поэта Пушкина, потому что на акварелях Пушкин вышел именно латышским, в коричневато-золотистых тонах, искривленно-утонченный. У цветущего шиповника в Михайловском сел на ступеньки дома Эвальд Эмильевич и загрустил по латышской культуре, маловата ему показалась латышская культура, надо бы укрупнить ее. Клара сидела в лодке, а Эвальд Эмильевич греб по Сороти, как по Лете, как по чему-то такому, что нельзя охватить сразу, как Латвию.

Отец Эвальда Эмильевича одет в серую немецкую форму, он немецкий для русских солдат, он убивает русских за свободу Латвии, за пространство для немецкого языка, на который легко переходят латыши, потому что ближе им Германия, почти что мама эта Германия для латыша, но пули летели и с той стороны, со стороны русских, и одна пуля попала в немецкого солдата Эмилия Штракса под Новго-

родом. Еще одного немца кокнули! Разве важно, что он был не немец, а латыш? Большие нации поглощают карликовые, размывают, разукомплектовывают, несмотря на дикий национализм этих карликов, на тотальное внедрение одного языка, одной культуры. Пушкин только по-латышски!

— Ахтунг! — кричали латыши в сортире войсковой части, проходя действительную военную службу в армии Советов, пугали этим криком русских деревенских солдат.

Эвальд Эмильевич стыдился своих соплеменников, как стыдился Якунии своих. Эвальд Эмильевич достыдился до эмиграции в Америку, Якунин — до ухода на оперную сцену, что, видимо, почище внешней эмиграции, поскольку опера для русского простонародья — дальше, чем Америка.

Маленькая акварель в золотистых тонах: Тригорское, барский деревянный дом на горе, Татьяна. Текст Пушкина идет по-латышски, приводим обратный перевод с латышского на русский:

Но чай несутъ: двѣицы чинно  
Едва за блюдечки взялись,  
Вдруг изъ-за двери въ залѣ длинной  
Фаготъ и флейта раздались.  
Обрадованъ музыки громомъ,  
Оставя чашку чаю съ ромомъ,  
Парисъ окружныхъ городковъ,  
Подходить къ Ольгѣ Птушковъ,  
Къ Татьянѣ Ленскій, Харликову,  
Невѣсту переспѣлыхъ лѣтъ,  
Береть Тамбовскій мой поэтъ,  
Умчалъ Буяновъ Пустякову,  
И въ залу высыпали всѣ,  
И балъ блеститъ во всей красѣ.

Шиповник и Пушкин могут произрастать в любой стране, которая хоть в малом количестве своих подданных имеет отношение к искусству, не имеющего этого проклятого национального колорита!

Во всяком случае, национальный колорит ни для Эвальда Эмильевича, чьи картины говорят сразу на всех возможных языках мира, на языках, которые переплетаются, сплетаются, дополняют друг друга, обнадеживая в перспективе, далекой, видимо, перспективе слиться в один вненациональный язык, который уже существует в живописи, в музыке, в гитарном переборе, который слышится возле шиповника, где сидит на табурете веселенький Саврасов и играет. Веселенький гитарист с русской фамилией Саврасов родился в Елгаве, закончил латышскую школу, по-русски говорил плохо, по-английски горорил плохо, но лучше и не нужно было, чтобы изъясняться в пивной с барменом.

— Грачи прилетели, Саврасов? — спросил Ян.

— Прилетели!

Саврасов быстренько извлекает из черного футляра четвертинку и наливает Яну. Художник не должен быть неопохмеленным! Художник должен всегда быть в форме! Праздничная жизнь Саврасова доставляла удовольствие Яну, потому что Саврасов всегда в черном футляре нес с собою праздник, рожден был для праздника, это и Эвальд Эмильевич понимал, хотя никогда не входил в положение Саврасова, не интересовался, как тот живет, на что существует, как не интересуются люди существованием голубя или вороны. Живут? Ну, и пусть себе живут.

Леса, облака, солнце живут сами по себе!

Военный закрытый порт в Лиепae жил сам по себе, и странно было входить ночью в этот закрытый город, но Эвальд Эмильевич, в черной шляпе с тростью, и Якунин вошли в закрытый город, в город-корабль, страшный военный корабль, но смогли пробыть там всего лишь какой-нибудь час, так тошно стало им от милитаризма, они выбрались за город, в поле, где стояли стога сена, забились в это сено и спали, убитые, до утра.

— Гостиница "Небо"! — крикнул утром Эвальд Эмильевич.

— Великолепная гостиница! — откликнулся Якунин и запел:

Но скажи: вперед мы шли ли  
Иль на месте все мы были?  
Лес и горы заходили:  
Скалы, сучья рожи злые  
Строят нам; огни ночные  
Засверкали, засветили.

— Ты очень хорошо поешь, — сказал Эвальд Эмильевич.

— Я это делаю бессознательно, — сказал Якунин.

— Это самое главное — делать искусство бессознательно. Там, где возникает сознание, начинается скука.

— Значит, искусство должно быть всегда веселым? — спросил Якунин, зевая.

— Нет, не веселым... Оно может быть очень грустным, но не скучным. Скука возникает от предопределенности. И всегда весело или, точнее, интересно, когда ничего не известно!

— Но нам известно, что мы идем к морю, — сказал Якунин.

— Но нам не известно само море в районе Чаланги. Мы идем за границу, в Литву.

И они шли пенком через карликовые страны, изредка подвезая автоостаном, но больше все-таки пенком, полуголодные без определенной цели, просто так, как без определенной цели рождаются на этот свет люди, как без определенной цели возникает любовь, как без определенной цели рисуются картины и исполняются романсы.

Жизнь беспечна!

Длинноногие, загорелые красавицы бродили по песчаному пляжу в Паланге, а Клара, которая никогда не загорала, белотелая Клара грустила в Риге, и Эвальд Эмильевич грустил без Клары, поэтому старался протаскивать экскурсионно Якунина, то есть быстро, нигде не задерживаясь. Мелькали море, поля, леса, городки из камня, соборы...

— Куда ты торопишься, Эвальд Эмильевич? — спросил у себя Эвальд Эмильевич и потянулся к огромному хрустальному кубку.

В дверь постучали, вошел Ян, растрепанный, с похмелья, босиком, в мятых брюках, от Яна несло перегаром, он спросил, где Саврасов, потом увидел Саврасова на картине, сам влез на картину и потащил Саврасова в пивную под соснами. Картина осиротела, только огромное мельничное колесо продолжало вращаться от напора холодной прозрачной воды, вытекающей из мрачного леса, где сохранились довоенные пограничные столбы, полосатые столбы, разделявшие Литву и Латвию.

Эвальд Эмильевич посмотрел на белую дверь, где-то там должна быть Клара, пусть она будет там, а Эвальд Эмильевич будет тут, один, с картиной, на которую выходят то Ян, то Якунин, то Саврасов. Эвальд Эмильевич взял томик Пушкина, “Евгений Онегин”, с собственными иллюстрациями, открыл, прочитал:

Негодвань, сожаленье,  
Ко благу чистая любовь  
И славы сладкое мученье  
В нем рано волновали кровь.  
Он с лирой странствовал на свете;  
Под небом Шиллера и Гете,  
Их поэтическим огнем  
Душа воспламенилась в нем.  
И Муз возвышенных искусства,  
Счастливец, он не постыдил;  
Он в песнях гордо сохранил  
Всегда возвышенные чувства,  
Порывы девственной мечты  
И прелесть важной простоты.

Может быть, живопись Эвальда Эмильевича началась с поэзии? Во всяком случае, странно было вспоминать ему, как он с Якуниным мыл в наряде вне очереди армейский туалет и во время этого малоприятного действия они говорили о поэзии, почему-то о Лорке, который тогда сильно волновал Эвальда Эмильевича, и Эвальд Эмильевич заразил Лоркой Якунина, и уже Якунин, напевая, скандировал в грязном армейском туалете:

Начинается плач гитары,  
Разбивается чаша утра...

А потом они вместе были в карауле, ночью, под звездами, с карабинами за плечами, в длинных колючих шинелях, читали друг другу Верлена, Пастернака... И все это Эвальд Эмильевич прививал Якунину, и тот хорошо прививался, просто был расположен к культурным прививкам. Это своего рода дар быть подготовленным к прививкам искусства. Другие, хоть им читай каждый день великолепные стихи, будут глухи, как стены, они закрыты для поэтического восприятия, нет в них органа для восприятия прекрасного. А Якунин, как плодородная почва, брось в него семя, прорастет.

Эвальд Эмильевич тосковал по Якунину в Нью-Йорке, Якунин тосковал по Эвальду Эмильевичу в Москве. Эвальд Эмильевич слушал голос Якунина в Нью-Йорке, Якунин видел картины Эвальда Эмильевича в Москве.

Но “Зачем ты его ударил?!” прекратило их видимые отношения. Хотя не только это. Скорее всего, Эвальд Эмильевич сформировался раньше, о чем неоднократно думал, а Якунин запоздал, был неопределенен, неоформлен, поэтому в то время Эвальду Эмильевичу был в тягость.

— В тягость был потому, что я не делал на него ставку! — вскричал Эвальд Эмильевич. — Я сволочен! Да, я сволочен прагматический! Все мы сволочены прагматические! Мы не замечаем обычных людей, мы гоняемся за авторитетами, пусть они идиоты, эти авторитеты, мы им все прощаем, как я все прощал идиоту пьяному Яну! Но если обычный человек идиотничает, то тут уж разрыв навсегда. Вот и Якунин, в то время обычный идиот, пьянствовавший, без приглашения приезжавший в Ригу, в дом творчества, сам нарвался на разрыв. А теперь, сволочен, гремит на весь мир. Да он гениально поет. И что за чудный, дивный, богатый по краскам голос?!

Эвальд Эмильевич вновь потянулся к хрустальному кубку и с какой-то поразительной злостью выпил его до дна, давясь и слглатывая сухое белое вино, заталкивая его в себя против воли.

Пил и думал: никогда не заканчивать произведение, никогда, до тех пор, пока окончательно не выложишься, не выразишь всего, пока не сделаешь это произведение как последнее, отпущенное тебе сделать, ибо когда ты делаешь это произведение, то твердо знаешь, что другой возможности высказаться у тебя не будет, лови этот момент, сволочен, выкладывайся, пока бьется твое сердце, пока руки двигаются, пошли все к чертовой матери, делай только это свое произведение, это последнее свое произведение, весь свой гений выдавливай из тюбиков, если, разумеется, в этих тюбиках есть еще краска и она пока способна выдавливаться, а не затвердела там, не превратилась в камень.

Эвальд Эмильевич выпил все вино и легко вздохнул.

Затем вскочил, сбросил с себя черный пиджак, сбросил рубашку, надел заляпанный красками фаргук, схватил тюбики и принялся вы-

давливать из них разноцветных червячков, которые тут же размазывал пальцем, на холсте возле медленно вращающегося мельничного огромного колеса, с высоты которого падала с грохотом вниз холодная вода мрачных лесов с пограничными столбами.

— Пой, Якунин! — взревел Эвальд Эмильевич, вырисовывая Якунина около колеса. Откуда-то с кухни раздался голос Клары:

— Тебе поставить пластинку Якунина?

— Немедленно! — отозвался Эвальд Эмильевич, схвативший вдохновение за хвост. Через некоторое время из-за двери полился голос Якунина:

...Так прощается с жизнью птица  
под угрозой змеиного жала.  
О гитара, бедная жертва  
пяти проворных кинжалов!

— Великолленно! — крикнул Эвальд Эмильевич, безумным взглядом впившись в лицо Якунина, начинавшее проступать на холсте.

Что проступает на холсте, то прежде проступает в сознании, проступает смутно, как будто смотришь на лицо через туман или дождь, который проливается внезапно из, казалось бы, до этого мирных облаков, которые гуляли себе по небу и вдруг от нечего делать собрались в кучку, столкнулись, посерели, свинцовыми сделались, понеслись, потому что возникла невыносимая тяга, сквозняк, понеслись, темнея, пока совсем не почернели, высекли молнию, высекли другую, суший ад возник на небе с этими змеиными страшными молниями, летящими беззвучно к земле, с шипением вливающимися в землю, чтобы через некоторую паузу прогремел сопровождающий их, как лакей, гром и хлынул дождь. Прохожие бросились врассыпную, площадь, поливаемая дождем, в секунду опустела, лишь Эвальд Эмильевич, в черной шляпе с тростью, встал на сцене и держал за руку Якунина, чтобы тот не убежал от дождя. Затем Эвальд Эмильевич остановился, сел на асфальт в лужу и, как ни в чем не бывало, снял туфли, черные и лакированные, и носки, подернул черные брюки, встал и медленно последовал дальше.

— Пусть все помоеся — и костюм, и тело, и душа, — сказал он Якунину, который шел, втянув голову в плечи.

Сначала было очень неприятное ощущение, когда первые капли попали за шиворот, потекли струйками по спине, кожа которой ментально сделалась гусиной, но через некоторое время, когда все намочило и потяжелело, стало даже приятно идти под сильным дождем, под очень сильным дождем, под чудовищным дождем, под ливнем, идти было очень весело, потому что площадь была пустынная, люди сгрудились под навесами крылечек, в арках ворот и с завистью смотрели на Эвальда Эмильевича в шляпе и на Якунина без шляпы, которым в самом прямом смысле море было по колено.

— Слушай шум воды, сволочен! — крикнул Эвальд Эмильевич.

— Слушаю! — сказал весело Якунин и увидел перессекающего по диагонали площадь до нитки промокнутого и босого, как Эвальд Эмильевич, Яна.

Седые длинные волосы Яна были прибиты на прямой рядок дождем, и Ян напоминал священника, хотя по скукоженному виду нельзя было сравнивать его со священником, а скорее можно было сравнить с бегущей мокрой и голодной, поджавшей хвост дворовой собакой.

— Куда бежишь, Ян? — крикнул Эвальд Эмильевич.

— На банкет, а вы? — хрипло отозвался Ян.

— На какой банкет? — спросил Эвальд Эмильевич.

— В академии художеств? — ответил Ян.

— Нам бежать? — спросил Эвальд Эмильевич.

— За мной, сволочены! — крикнул Ян, шлепая босыми ногами по огромным лужам, по водопадам, по рекам на асфальте.

Эвальд Эмильевич вновь схватил Якунина за руку, они сделали вираж, разгоняясь и ложась на диагональ бегущего Яна, и помчались за ним. Ян бежал очень странно, на полусогнутых ногах, с прижатыми к бедрам руками, как будто вот-вот готов был упасть, особенно на повороте, когда корпус его склонялся в сторону поворота. Дождь усиливался. Днем было на улице темно, как в сумерках. Гремел гром, полыхали молнии. Ян продолжал лидировать.

— Можно было бы на троллейбусе доскочить, — сказал Якунин.

— Гении на троллейбусах не ездят! — воскликнул запыхавшийся Эвальд Эмильевич.

— Туда же остановок пять бежать, — сказал Якунин.

— Самая прекрасная поза в человеке — это когда он бежит! — крикнул Эвальд Эмильевич, придерживая на бегу шляпу.

— На твоих холстах я ни разу не видел бегущих, — сказал Якунин.

— Очень трудно рисовать бегущих, но такого, как Ян, я обязательно нарисую. Он бежит как прибитый громом. Как оловянный солдатик, не помогает себе руками.

Вдруг Ян притормозил, ошвынулся, глаза его выпухнули, и он завизжал на весь город:

— У-у!

Дальше так он и бежал с воплем, не замолкая, бежал мимо кафе и баров, мимо вателье и булочных, мимо лавок колбасников и овощников, мимо сберегательных касс и библиотек, мимо троллейбусных остановок и стоянок такси, мимо поликлиник и фотографий, бежал, бежал, бежал. Пока не остановился в зале у рояля, который гремел в его честь. Академика Яна быстро переодели в его же парадный фрак, который всегда хранился для всяких торжеств в академии художеств. Носки Ян надевать не стал, сунул ноги в туфли без носок, и вышел.

Рояль продолжал греметь, горели на рояле свечи, телекамера снимала торжество. Какие-то шведы или датчане вручили Яну золотую медаль, повесили эту медаль ему на грудь, какой-то искусствовед что-то мудро и лукаво, в специальных терминах, проговорил, и все ринулись в другой зал, отталкивая друг друга, к банкетному столу.

Эвальд Эмильевич, не снимая шляпы, встал в центре, у блюда с поросенком, глаза которого были сделаны из маслин, и сказал:

— Благодарю за награду, — он потрогал золотую медаль на груди у Яна и продолжил: — Все золотые медали должны принадлежать Яну, потому что он символ нашего маленького народа!

— Следующие медали будут твоими! — крикнул Ян. — Потому что ты тоже выходишь в символы. Я лягу в могилу, а ты будешь продолжать символизировать нашу маленькую нацию. Какая разница, кто рисовал тот или иной холст, Ян или Эвальд, это не имеет никакого значения! Но огромное значение имеет символ, художник, который у нашей нации всегда один!

Якунин смотрел на стол, с которого за пять минут как ветром сдуло закуску, но был спокоен, потому что успел схватить бутылку водки. Яну закуски не досталось, но ему и не нужна была закуска, потому что Ян пил без закуски.

— Ты гений, Ян! — сказал Эвальд Эмильевич, чокаясь с ним.

— Ты тоже гений, Эвальд! — сказал Ян и быстренько выпил.

— Меня в гении примете? — спросил Якунин.

— Ты кто такой? — спросил Ян.

— Якунин.

— Не знаю, — сказал Ян и выпил еще раз.

— Это московский художник, поэт, музыкант, певец, скульптор, композитор! — пояснил Эвальд Эмильевич.

— Московский? — переспросил Ян.

— Да, — сказал Якунин.

— Москвичей не люблю, — сказал Ян.

— Почему? — спросил Якунин.

— Потому что у вас нет маленькой нации, где должен быть один большой художник, символ! — прохрипел Ян и поднял палец.

— Я не хочу быть символом, — сказал Якунин. — Я хочу быть самим собой.

— Художник не может быть самим собой, — сказал Ян. — Художник не принадлежит самому себе. Он принадлежит народу, своему такому народу, который можно сразу весь увидеть. А в Москве нельзя сразу всех увидеть, поэтому там очень много художников, которые хотят быть самими собою и поэтому никому не принадлежат и никого не выражают.

— Он хороший парень, — сказал Эвальд Эмильевич, похлопывая Якунина для ободрения по плечу.

— О, хорошим парнем можешь быть! — крикнул Ян. — Раздобудь тогда еще водки.

Якунин ринулся по залу и в углу обнаружил бутылку на маленьком столике, успел перехватить ее, потому что к ней потянулся уже какой-то швед или датчанин.

— Иностранцам много пить нельзя! — укоризненно сказал Якунин и побежал с бутылкой к Яну.

— Ты хороший парень! — похвалил Ян. — А кто еще ты?

— Я же тебе, Ян, сказал, — повторил Эвальд Эмильевич, — что он и поэт, и певец, и художник!

— Это значит никто! — отрезал Ян.

— Я хочу быть знаменитым, хотя это некрасиво! — вспыхнул Якунин.

— Тогда пой! — сказал Ян и выпил. — Пошли к роялю!

— К роялю? — спросил Якунин.

— К роялю! — приказал Ян.

Перешли в залу, где стоял рояль. Якунин заиграл мелодию из гениального и никому не известного композитора Пита Питца и запел:

Аквилегия и анемона  
Расцвели и украсили сад,  
Там, где спит печаль утомленно,  
А любовь и презренье не спят.

И еще в саду невоспетом  
Наши тени... Наступит ночь —  
Их угрюмость, рожденная светом,  
Вместе с солнцем исчезнет прочь.

Нимфы вод родниковых колени  
Преклонили и косы струят...  
Мимо, мимо! В погоне за тенью,  
Что прекрасна, как этот сад.

Грянул гром аплодисментов, зрители ликовали. Якунин поправил фалды фрака и вышел к микрофону.

— В своем творчестве я стремлюсь к тому, чтобы находить общее в различном. Идея универсальности культуры и ее единства преследует меня постоянно. Я синтезирую мировые культуры, свои разнообразные жанровые искания; рояль обретает неких двойников, которые неотступно, словно тени, образуемые от разных источников света, окружают меня, следуют за мной, лишая меня если не индивидуальности, то уж во всяком случае национального колорита.

От изумительного пения Якунина, от больших душевных усилий и напряженного внимания Ян разрыдался, бросился к Якунину, обнял его, расцеловал, затем отстранился, снял с себя медаль и надел ее на шею Якунину.

— Ты победил старого дурака! — воскликнул Ян, упал на зеркальный пол и забился в конвульсиях.

— Пьяный гений! — пронеслось по залу.

— Гений пьян! — отдалось эхом под потолком.

— Уложите гения и постель!

С ноги Яна соскочил ботинок, голая ступня дернулась и застыла.

— Да он умер!

— Гений умер!

Ян лежал без движений на зеркальном полу, с пеной на губах.

— Да здравствует гений! — вскричал Якунин своим басом и пове-сил золотую медаль на грудь Эвальда Эмильевича.

Эвальд Эмильевич смущенно склонил голову в черной шляпе, а трость заложил за спину.

— Я должен произнести нобелевскую речь размером с Сикейроса, — начал Эвальд Эмильевич. — Ибо я понял, что символ нации должен в конце концов извлекать самый огромный национальный холст, не меньше по размерам, чем эти размахи Сикейроса. Я создаю картину небывалых размеров, где вечность олицетворяет огромное мельничное колесо, с лопастей которого в бездну наших низменных страстей падает холодная заграничная вода из дремучих лесов с пограничными столбами. Только символ нации, единственный настоящий художник может добиться такого потрясающего эффекта, которого пытаюсь достигнуть я, давно забыв самого себя, потому что когда ты являешься символом нации, то обязан забывать самого себя. Но истинный символ нации должен находиться вдали от родины. Это всемирно-исторический закон перемещения концентрированного вещества искусства с родной почвы на иноземную. Поэтому я дерзнул издали ваять в свою картину русское лицо, без которого я не могу выразить душу моего маленького латышского народа, потому что без русского лица не может существовать латышский народ, который подобно милаенцу волею распределения земель Господом оказался на руках, как, повторяю, младенец на руках у матери, на руках у безграничной России, которую даже Сикейросу охватить не кистью, а разумом не удалось. Все краски даны в мире, они лежат в тюбиках, и каждый может что-то такое придумать из этих тюбиков. Но почему-то придумывают единицы. Кто они? Кто мы? Кто я? Я komponую краски в зарамленный мир для того, чтобы трепетная душа поняла мою мелодию и спела свою песню в этом чудовищно бессмысленном мире!

Белая дверь приоткрылась, показалась Клара, она спросила:

— Что ты так кричишь? Тебе плохо?

Эвальд Эмильевич посмотрел на нее со зверским выражением на лице, потому что не выносил появления Клары в период экстаза, потому что знал, что Клара может выбить из состояния художественного экстаза, когда краски сами находят себе место, просто нужно успевать за ними, маниакально успевать, быть во власти ритма вдохно-

вения, не останавливаться. Клара понимающе быстро захлопнула дверь.

А Якунин зовсю пел с холста:

Перед нами улица Старого Города —  
Узкая, как щелка почтового ящика,  
Где в домах, как в уборных, узенькие окна,  
Извозчики восседают на козлах, как моржи,  
Вечерний бульвар лежит, как желтая змея,  
Мчится автомобиль — красная гвоздика на спине,  
Две розы чайные в петлицах,  
Городские трущобы —  
Куда и за деньги трамвай не поедет,  
Где встретишь авто так же редко,  
Как счастье...

Эвальд Эмильевич выдыхается, убирает тюбики, протирает руки бензином, умывается, одевается и, в черной шляпе и с тростью, выходит из дому, по асфальтированной дорожке подходит к калитке, возле которой цветет яркими цветами шиповник. Следом идет Клара с табуретами. Она знает, что Эвальду Эмильевичу очень хочется пить. Саврасов всегда тут, как ройль в кустах. Он садится напротив Эвальда Эмильевича и начинает подыгрывать на своей подружке-гитаре. Публика тянется не спеша к дому Эвальда Эмильевича. Эвальду Эмильевичу кажется, что уже собралось много народу, хотя он сидит один у куста шиповника, Эвальд Эмильевич одинок, и одиночество его распространилось на восприятие множества себе подобных, однако он одинок только для постороннего взгляда, со стороны, а внутренне он поет перед многочисленными гостями, которые очень ценят его голос, и самому Эвальду Эмильевичу представляется собственный голос необыкновенно выразительным, не хуже голоса Якунина, хотя Эвальд Эмильевич сидит с плотно закрытым ртом, с безумными глазами, но как раз в этот момент он поет, и все должны знать, что он в эту минуту поет. Роль этих "всех" выполняет жена Клара, раздваивающаяся, растраивающаяся в глазах Эвальда Эмильевича. Дуна Эвальда Эмильевича поет.

Закончив очередную арию из сочинений придуманного им композитора Пига Питца, Эвальд Эмильевич говорит никогда не существовавшему гитаристу Саврасову:

— Теперь, чтобы ты окончательно стал латышом, я прибавлю к твоей фамилии окончание "с". У нас, у латышской, без такого окончания ты не человек. Будешь отныне Саврасовс. У нас и все вожди бэзи с окончанием "с". Ленинс, Сталинс. И все прочие пришедшие с окончанием "с": Петровс, Зайцевс.

— А что означает это "с"? — спрашивает Саврасов, подходя к Эвальду Эмильевичу с картиной "Грачи прилетели".

— Это означает — сумасшедший. А сумасшедший — это гений.

— Значит, все латыши гении? — спрашивает удивленно Саврасов.

— Именно, — очень спокойно отвечает Эвальд Эмильевич. — Особенно я. Я сошел с ума после того, как этот русский плебей Якунин зашел в опере. У меня что-то случилось с нервами. Я не мог потерпеть, чтобы этот Якунин делал что-то лучше меня.

— А как вы узнали, что вы сумасшедший? — спросил новоокрещенный несуществующий Саврасов. — Ведь, насколько мне известно, сумасшедшие не знают о том, что они сумасшедшие.

— В том-то и дело! — оживился Эвальд Эмильевич. — Я самый сумасшедший сумасшедший! Я сам сумасшедший и знаю о том, что я сумасшедший. Это и присутствующий здесь великий художник Ян может подтвердить.

Эвальд Эмильевич тут же увидел во втором ряду растрепанного седовласого двойника. Ян встал, как в школе у парты, и сказал:

— Он действительно знает, что он сумасшедший, потому что он — гений.

Послышался шум машины, остановившейся напротив калитки. Вошел Голденмайер, частный агент по продаже произведений живописи. Пока Эвальд Эмильевич беседовал с несуществующими гостями, Клара провела Голденмайера к существующей новой картине. Голденмайер застыл от изумления перед колесом вечности.

— Пора забирать, — после паузы сказал Голденмайер.

— Да, пора, а то он опять все изменит, зарисует.

Когда Эвальд Эмильевич вернулся в мастерскую, то перед ним был чистый холст. Он не удивился, потому что знал, что он еще не начал работу над картиной “Шиповник у калитки”.

Хотя мы знаем, что каждая его картина начиналась с шиповника у калитки, а потом он зарисовывал и шиповник, и калитку, потому что вспоминал гениального Саврасова, его “Грачи прилетели”, но переделывал Саврасова в гитариста, потом прибавлял к его фамилии окончание “с”, и Саврасов становился латышом, потом слышался с пластинки голос Якунина, и тут уж Ян бежал по старому городу за бутылкой и удержаться было нельзя, нужно было бежать с тубиками по холсту за Яном, за сумасшедшим вдохновением.



*Александр Кушнер*

## НОВЫЕ СТИХИ

### ЛЕСТНИЦА

По лестнице я парковой, громадной,  
Торжественной, рассчитанной на шаг  
Не мой, поспешный, сбивчиво-нескладный,  
Нельзя бежать, а можно

только

так

Задумчиво сходить, схожу в закатный,  
По-тютчевски прощальный полумрак.

Истертые, побитые ступени.  
Октябрьские на них толпятся тени,  
А в трещинах, как плюш, гнездится мох.  
Никто не примет жалобы и пени.  
Внимание! Тут может быть подвох.

Засмотришься — и что-нибудь случится:  
Оступишься иль сверху царь зверей,  
Сидящий здесь, набросится, — граница  
Отсутствует меж сном и явью, в ней  
Не заинтересована ни птица,  
Ни дуб, ни толпы рыщущих теней.

И кажется, что лестница с природой  
Договорились, общей позолотой  
И сыростью накрыты, но тебе  
Знать незачем, о чем: с твоей заботой  
Еще ты чужд клубящейся толпе.

Стихи еще нужны тебе: в проточной  
Волне их вечно блещет что-нибудь.  
А Тютчев относился к ним не то что  
Бесстрастно, — снисходительно чуть-чуть.  
Еще ты занят тяготой оброчной,  
Тоска еще твою сжимает грудь.

Иди себе. Спускайся осторожно.  
А лестница уже не здесь, возможно,  
Иль скажем так: наполовину там,  
Где ведают, что истинно, что ложно,  
Как к детям, наклоняются к стихам.

\*\*\*

Взгляд с расстоянья страшен близкого.  
И современница, старея,  
Запишет: Блок похож на римского  
Легионера с красной шеей.

И станет вдруг от этой точности  
Бесчеловечной неуютно,  
Как от брюзгливости и склочности,  
А возразить нельзя, и трудно.

Ну да, бывает кожа белая  
Такая, красной от загара  
Она становится, за дело я  
Сержусь на вас: он вам не пара!

Когда, отвергнув все манерное,  
Брел в петербургском полумраке  
Навеселе, весной, наверно,  
А не сидел, как вы, в “Собаке”!

\*\*\*

Знаешь ли ты, что Радищев, которого  
Любим мы или не любим, — неважно,  
Мне-то он в силу горячего порова  
Нравится: дорого всё, что бесстрашно, —  
В память жены поместить эпитафию  
Думал на камне надгробном, — не вышло!  
То есть церковным она не потрафила  
Жестким блюстителям благости вышней:  
Признано было, что он “недостаточно  
Твердо уверенность выразил в вечной  
Жизни души”, — жизнь души, ты загадочна,  
Но не для них, им всё ясно, конечно,  
Их не разжалобишь горем, страданием,  
Словом, в слезах устремленным к любимой,  
Ищущим в безднах ее с содроганием,  
Как Эвридику во тьме нелюбимой...

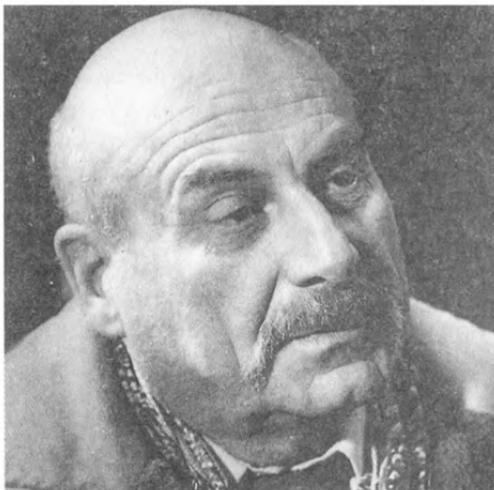
\*\*\*

“Меня теперь нужно беречь и лелеять,  
Так пусть же придут за мной из Москвы  
Аксаков и Щепкин”, — писал он, доверить  
Готов им сосуд свой, непрочный, увы!

Тут не было даже и тени улыбки,  
Ни капли иронии: в Риме ему  
Себя, как вино, расплескать по ошибке  
Казалось опасным. Такому письму

Цены нет: смешнее, чем “Мертвые души”  
Или “Ревизор”, ошастлививший всех...  
Ах, если бы Пушкин прочел его, Пушкин,  
Приятно представить себе его смех!

И чем фанатичней, чем мы свое зная  
Серьезней над миром несем напролом,  
Тем мы фантастичней, как если бы нами  
Незримый сатирик водил, как пером.



*Георгий Балл*

## **ЧЕЛОВЕК ИЗ ДИПЛОМАТА**

### **Рассказы**

#### **ЧЕЛОВЕК ИЗ ДИПЛОМАТА**

Человек жил в дипломате. Приспособился. Подбородок упер в колени, сплющился, ужасся, и что еще? Да больше, пожалуй, ничего. Но его мысль расширяла пространство.

В какой-то момент, нет, моментов не было, как просто и времени, — часы, календари для него не существовали. Он мог говорить, что жил там вечно. Может быть, со дня сотворения мира. Но сотворил ли Господь сначала дипломат, а только потом поместил туда человека? Человек из дипломата не задавал себе столь сложных, не разрешимых для него вопросов. Для него существовало не время, а три сферы — розовая, голубая и красная. Розовая — детство, учеба, футбол и прочее. Голубая — семья, жена, двое детей. Красная — бесконечная внутренность дипломата.

Сам дипломат хранился на Казанском вокзале, в одной из ячеек камеры хранения. Сюда доходил шум вокзального помещения. В дипломате рядом с человеком хранились денежные кюры с изображением президента США, а также бумаги, напечатанные на компьютере.

Чаще всего он думал о себе в третьем лице. И растворялся в красной сфере. Но вот его сферу ломало поворотом кода на железной двери камеры хранения.

Кто-то крутил ручки кода, и дверца распаивалась. Чья-то рука брала чемодан с сидящим там человеком.

По качанию и невокальному шуму человек из дипломата понимал, что его несут по улице. Его сажают в машину. Красная сфера сжимается, а его сфера хрустит, как сочное яблоко. Качание прекращается. Движение машины. Остановка машины. Еще качание — и дипломат опускают. Щелчок замка.

Человек из дипломата выходил наружу. Человек из дипломата выпрямлялся, приобретая необходимую широту и высоту. Зашелкивал дипломат. Он брал в руки дипломат. Теперь он ничем не отличался от проходящих людей.

Он видел, как кто-то садился в машину, но был ли это тот человек, что привез его сюда, он не мог точно сказать.

От долгого сидения в дипломате плечи ломило. Как бы это ни кончилось радикулитом, думал он на ходу. Тогда я не смогу выпрямиться. Интересно, учли ли они это? Кто они? Об этом он не думал.

Иногда он присаживался на скамейку сквера. Ставил на землю дипломат. Свободно дышал, отдыхал. Смотрел на небо, на деревья. Пролетали птицы. Чаще всего это были вороны, но бывало, что по дорожке пробегала трясогузка, покачивая длинным хвостом.

Вставал и шел. В правой руке он крепко держал все — и свой дом, и свое прошлое, и свое настоящее, и свое будущее. Миновал несколько кварталов, оказывался у большого здания. Нажимал три кнопки Ж-5-8. Слышал голос в домофоне:

— Открыто.

Входил и мимо охранника поднимался по лестнице, поворачивал направо в коридор. Пятая дверь, без какой-либо надписи.

Человек с дипломатом входил в комнату. Там, за столами с компьютерами, сидели трое — двое мужчин и женщина!

— Hi!

— Hi!

Он опускал дипломат рядом со столом. Подходил к сейфу. Набирал код. Открывал сейф. Доставал бумаги. Включал компьютер. Человек из дипломата входил в нужную ему систему.

На экране монитора вспыхивали цифры. Цифры сменялись волнами моря. Он видел гостиницы на берегу. Загорелые люди в шортах: юноши и девушки сидели в креслах. Рядом с ними на столиках — бокалы и кружки. Молодые люди смеялись. Потом все это превращалось в цифры.

И появлялся текст: “Отвечая на ваше последнее письмо, сообщаем...”. Далее цифры, цифры и “С уважением”. Неразборчивая, но витиеватая подпись.

Цифры на мониторе менялись картиной лесопарка, где свободно разгуливали слоны, жирафы. В голубизне неба летали птицы.

На экране вспыхивало: “Можете уходить”.

Первой уходила женщина, потом сосед справа и, наконец, другой, слева. Человек из дипломата медлил. Ставил дипломат на стол, рядом с компьютером. Подходил к сейфу, набирал код, денежные купюры и бумаги прятал в сейф. Дипломат оказывался в красной сфере. Он быстро складывался, и в ту же минуту над ним щелкал замок.

Чья-то рука брала дипломат, дипломат покачивался. Перед его глазами вспыхивали три сферы — розовая, голубая, красная.

Иногда он крепко засыпал. Часто ему снился один и тот же сон: футбольное поле. Он стоит в воротах. Мальчишки гонят мяч. Мяч летит прямо на него. Он хватает твердую крышку, но мяч вырывается из рук.

И голос матери:

— Такая твоя судьба, Женя.

Ага, значит, его зовут Женя.

— Мама, — шептал Женя, — спаси меня.

— Терпи, сынок, — слышал он в ответ.

Однажды вместо купюр и бумаг чья-то рука сунула ему маленький плоский ящичек. Из ящичка слышалось негромкое тиканье часов. Самих часов не было видно.

Без приключений добрался до работы.

— Hi!

— Hi!

Все было, как всегда. Но когда вошел в виртуальное пространство, то почувствовал, что в руке у него дипломат.

Он прошел несколько улиц незнакомого города и остановился около голубого особняка. Рядом с дверью на медной дощечке надпись: “Silvestro”.

В ушах — четкая команда: 21-37-Н-У-15.

Дверь открылась. Он уверенно поднялся по высокой лестнице. Второй этаж. Стеклопанельная дверь. А там, внутри, еще три двери. За столом — секретарша.

— Вам кого? — Секретарша с удивлением подняла на него глаза.

— Мне сюда, — уверенно ткнул пальцем человек с дипломатом. Наклонился к секретарше. — Меня зовут Женя. Так мама меня назвала.

Человек с дипломатом решительно оттолкнул секретаршу, прикрывавшую собой дверь в кабинет. Вошел.

За большим столом сидел полный лысый человек в черных очках.

— Что вам нужно?

— Сейчас поймешь, — твердо сказал человек с дипломатом в руке.

Оттуда все громче слышалось тиканье. Раздался взрыв.

На мгновение все исчезло. Потом возникло пенное море, в котором барахтались человек в черных очках, секретарша, загорелые парни и девушки.

Человек из дипломата не выпускал ручки. Собственно от дипломата осталась только ручка. Он плыл к песчаному берегу. Захлебывался в пене. Голова его кружилась. Выбрался. И, весь мокрый, побрел, не разбирая дороги.

Он подошел к дому, где когда-то жил. На лифте поднялся на третий этаж. Дверь ему сразу открыла жена. Он оказался в голубой сфере.

— Женья! — вскрикнула жена и заплакала.

— Ты знаешь обо мне?

— Конечно. Теперь все это знают.

Она поставила видеокассету. Прокрутила...

Человек из дипломата увидел себя, барахтающегося в пене моря. По экрану телевизора побежали буквы:

“То бурное море из лучшего пива “Silvestro”.

Оно действует сильнее, чем взрывчатка. От него кружится голова. “Silvestro” сшибает с ног. Но если у вас есть такое же терпение, как у Жени, вы всегда достигнете берега.

Семья Жени получает новую квартиру и сто тысяч долларов.

Передача организована совместной российско-американской компанией “Silvestro” при участии партии любителей пива.

Спасибо, Женья. Sorry!”

Перед его глазами вспыхнули две сферы — розовая и голубая.

— Мы разбогатели, — смеялась жена. — Понимаешь, Женья? Ты герой.

— Ерунда. Мама мне сказала: “Терпи”. Прощай, я уйду в розовое, к маме.

— Женья, опомнись! Твоя мама давно умерла.

— Может быть, но я уйду туда, — и он неопределенно махнул рукой.

— Ты не хочешь посмотреть на детей?

— Прости, мне трудно говорить.

Голубая сфера исчезла.

Не оглядываясь, он подошел к двери, хлопнул. Щелкнул замок.

И он понял, что щелкнул замок на дипломате. Чья-то рука подняла его и понесла.

В красной сфере он быстро растворился, исчез в бесконечности.

## ХРОМОТА

Старик припадал на правую ногу. Но если уж быть точным, то его корова тоже припадала на правую переднюю ногу. И его собака по кличке Куня, и его жена по имени Марья припадали, хромали. Ну что тут поделаешь? Будто кто толкнул их с высокой горы. И дом тоже? Ну, и дом, конечно. И все — на правую? Старика звали Ромашов Ефим Кириллович. Он войну прошел, и его маленько подстрелило. Быва-

ло, кто пойдет к Ефиму Кирилловичу, то да се, поговорит, а уж выйдет хромолыгим. И так всю дорогу, даже всю деревню подпортил.

— Послушай, Кириллыч, — говорили ему сельчане, — тебя ведь давно зацепило, еще в войну, и ты свою заразу нынче прекрати. Обрати внимание: кругом природа, мы отселились, то дождь, то град, то ведро... податься нам некуда, а ведь на новый лад переходим. А ты что? Девчонки и те — ковыль, ковыль... Ну, будут они в деревне оставаться, в город не побегут? А что с них возьмешь? Чего молчишь?

А Ефим Кириллович молчал. Что, действительно, тут скажешь? Виноват. Сам, и жена, и корова, и собака, изба тоже покосилась направо.

Тут даже какой-то намек со стороны Ефима Кирилловича, что все хромают исключительно на правую. Ну хромали бы вперемежку — нет. Поехал Ромашов в город за продуктами. И Боже мой! Весь город, весь районный центр — хром... хром... на правую. Спихватилось наконец районное начальство, когда на конференции хозяйственного актива все — на правую ногу. Нет, тут явно намек на старые застойные времена. В общем, приказывают Ромашову Е.К.: из пределов района не выезжать, раз с ним такое неблагополучие и от него какая-то зараза идет. И приказ: самому не отлучаться, корову в стадо не пускать, если приблизится — отгонять, собаку — на цепь, а жену — чтоб только по хозяйству.

А ведь женщину разве удержишь? Сорвалась Марья в областной город... Идет по улице, и вся улица захромала. Не только люди и животные, а и машины припадают, сносит их направо. Хромые милиционеры с ног сбились, чтоб смертоубийство предупредить.

Надо бы в столицу зло не пускать, так собака Куня туда устремилась. Беда какая! Хромота оказалась страшно заразной. Началось с Рижского рынка и — по всему городу. Никакой антибиотик хромоту не берет. Стянули войска — танки, спецвойска быстрого реагирования, — перекрыли ходы и выходы... А сука Куня через дырку в заборе уткнула и ковыль, ковыль — к Ромашову, к своему дому.

— Тебя где носило? — спрашивает Ефим Кириллович, потому что беспокоился из-за ее долгого отсутствия. А сука только язык высовывает, пить хочет. Он налил ей плошку. Она приникла, стала жадно лкать.

Теперь надо сказать так для точности: Ефим Кириллович хоть и хромым, а был хороший плотник — рукояти для грабель, табуретки делал. Руки у него, хоть он и на пенсии, а всем старался помочь... Жена Марья доила хромую корову. Они молоко и себе оставляли, и продавали. Собака Куня тоже не так свою кличку получила. Ефим Кириллович с таким именем девчонку от немцев спас, это еще во время войны.

Все-таки польза от Ромашовых, выходит, была, маленькая, а была.

## ПУТЕШЕСТВИЕ

Глухоказенный человек, назовем его Вика, все пытался пробиться в глухо индивидуальную стену. А за этой стеной — умопомрачительный особняк, бокалы там звенели с нежностью оленей, потолок там в ванной — зеркальный, сама ванна прыскала водой из сотен дырочек, а туалет, о, туалет! — таких матово-туманных размеров, что если кого и убьют, то пожалуйста — труп можно было захоронить простым нажатием клавиши. И зажурчит ласково вода, и где-то там, в далеких нефтестальных трубах, смолкнет.

Телефоны в застенном особняке раскалялись от распоряжений и валютных поступлений, а телевизоры, видео и прочее, прочее глубоко проникали даже в заатмосферное пространство. Факсы все расширяли глаза, чтобы увидеть ломкие крики летящих к теплым морям птиц.

Женщин там раздевали. В спальнях. Но ведь не до скелета. А время беспечно сыпалось. Были и короткие рывки к песчаному пляжу, загорелыми телами мужчин и женщин поглощались солнечные лучи, и солоноватые волны морей и океанов заменяли Божественное причастие.

Это все для тех, это все для тех, тех, тех, все для тех, тех, тех...

Но вернемся к Вике. Он мечтал отвалить хотя бы один кирпичик от стены. И глухоиндивидуальная стена вроде бы с пониманием относилась к нему, к его мечтам. Да снизу обросла чистотелом и всякой сорной травкой. Но это все по эту сторону, за пределами.

Между тем Вика обзавелся добродушной, почти победной улыбкой. И губы его, где бы они ни путешествовали, в ночь — в полночь, или в яркий солнечный день, возвращались мечтою к стене...

Хотя бы один кирпичик, один кирпичик так поцеловать, чтобы слиться в экстазе.

Вика оставался глухо казенным, но постепенно и у него кое-что накапливалось — жена, сначала один ребенок, мальчик, потом и девочка, два года и три месяца, и работа, и машина, и стучало сердце, и поднимались и опускались легкие, и незаметно кружилась по венам и артериям кровь, но стена...

Конечно, Вика знал, что в Иерусалиме есть стена Плача, но ему-то к чему, православному? Он даже пару раз ходил в церковь, подавал записки за упокоение родителей. Не стена Плача, а стена Радости и Смеха нужна была ему. Там, где-то в веках, иудеи эти ветхозаветные Христа распяли, а его-то кровь чиста, это уж точно.

Даже во сне губы Вики целовали стену Радости и Смеха.

Это было в четверг, около часа дня. Июль разжигал необыкновенно. Губы Вики как-то ослепительно, жарко поцеловали кирпичик стены. Тонкий вкус заморского вина полоснул его страстные губы.

Сорная трава расступилась. Он вошел в сад. Огляделся. Безголо-  
сая постриженная трава газона перед входом.

Вика открывает дверь особняка. Мраморное блаженство ведет его  
из комнаты в комнату. Все-таки проник, просочился, пролюбился —  
стучит его кровь. Пустой рабочий кабинет. Молчат факсы... телефо-  
ны... пейджеры...

Меняются гостиные. Все до тонкой косточки ему уже тайно зна-  
комо — ковры, картины, кресла, телевизоры. Во всю стену картина:  
всадник на лошади с копьём. А-а-а! Георгий Победоносец. Моя фо-  
тография. Сместся. Шутка. Шутка неплохая. Надо бы не забыть.

Спускается вниз... Ага. Так он и ожидал: бассейн... Может, иску-  
паться? Вика пока не решается. Путешествует дальше — ванная ком-  
ната... А это? Туалет.

— Туалет... туалет... туалет... туалет... туалет, — поет Вика.

Тут уж не может не доставить себе удовольствия. Справляет ма-  
лую нужду, вполне безобидную.

Как в компьютере, он легко нажимает на клавишу. И его тело  
летит вниз, вниз по нефгестальным трубам. Душистое ворчание воды  
жур-жур... Вот и оно смолкло.

## НОВАЯ ЗВЕЗДА

Кузнечик проснулся весь в поту. Откинул одеяло. Желтым глазом  
смотрела луна. Кузнечик осторожно ощупал себя. Крылья лежали  
привычно: левое поверх правого. Как всегда. Как всегда. Да вроде  
ничего и не болело. Но глаз говорил твердо, даже неотвратимо.

Привычный за жизнь шорох страха, не видимый другим людям,  
царапнул Кузнечика мелкими зубчиками. Исчез.

“Нет, еще не то, — думал Кузнечик. — Не сон ли?”

Мелко крошились мысли: “В темной отаве, из гудков автомоби-  
лей. Ветром меня пригнуло. Дереву холодно. Оно тянет ветви в пу-  
стоту неба”.

И раньше, тоже длинной вереницей, шли то ли сны, то ли явь...  
И еще пугливые, понурые фигуры с зеленым болотным отливом.

Мелкие зубчики, жилки левого крыла, проскрежетали: “Тебе и  
шестидесяти нет. Еще не старость, не старость...”

В его жизни медленно пересекались линии — работа, жена. Рано  
родился ребенок. Пяти лет Коля умер. На могилу они ходили вместе  
с женой, на маленьком гранитном столбике — выпуклая фотография:  
улыбающееся личико ребенка. И каждую весну приходили сажать  
вокруг столбика цветы.

Как-то незаметно и без скандала покинула его жена.

Немногочисленные друзья поднимали бокалы в дни празднеств.  
Самое привычное для взрослого Кузнечика — большая комната в его  
институте. На его столе и еще у четырех сотрудников — компьютеры.

Куриль выходили в коридор.

Летом около реки стрекотал. Задние длинные ноги выбрасывали его далеко. Прорывался сквозь траву. Тепло. Приятно. Даже очень.

Но пустота давно и свободно пробилась в его сердце.

О, если бы не одна та заветная секунда.

А мать?.. Да, мать умерла. И тогда особо ощутил пустоту.

По вечерам открывалась и закрывалась раковина телевизора. Кузнечик неподвижно сидел напротив в зеленом кресле. Зеленый Кузнечик в зеленом кресле, никому не видимый.

Кузнечик тихо стрекотнул. Левое крыло потерлось жилкой о зеркало правого крыла. Тысяча тысяч поколений кузнечиков сменилась, и только ему была дана та единственная секунда.

Вспомнил, теперь весь в поту, вспомнил. Хотя и никогда не забывал. Да и не дано ему было забыть.

Он спускался по эскалатору в метро. Изнутри что-то резко толкнуло его. Он спускался вниз, а по эскалатору вверх, совсем близко от него, смуглое лицо девушки, явно с примесью восточной крови. Отточенность до пронзительного крика, не слышного никому, кроме Кузнечика. Звук его души влился в оглушительное молчание любви. Она не смотрела на него.

Властный голос молчания и запах речной травы захватили сердце Кузнечика. И он услышал, как переливается вода через камни на перекате реки с солнечной рябью.

Одно мгновение — и звук пропал. Но где-то в небесах сразу вспыхнула Новая звезда.

Может, ради этой секунды он навсегда теперь вписан в книгу вечности. Может, в будущем бессмертные души будут поклоняться ему как высшему существу. А он останется мучеником той вечно неразделенной земной секунды. Может быть, он здесь, на земле, смешной Кузнечик, станет еще одним божеством. Не крылья поднимут его в небо.

Лунный глаз позвал Кузнечика.

Он оттолкнулся своими “прыгательными” ногами и ринулся в лунную бесконечность.

Постель была пуста. Кроме лунного света, уже ничего не было...

А что я? Я буду, пока мой ангел оберегает меня, искать в ночи над собой, среди звезд, ту единственную, Новую звезду Кузнечика. Моя надежда, моя вера в бессмертие.

## ЭЛЬВИРА

Июль. Слепой от солнца. Валера Котин знает только: прямо, вперед и дальше.

В детстве играл в куклы с Зиной и Шурой, девочки жили в одном с ним доме.

Куклу назвали красиво — Эльвира.

Шил платяча чаще всего Валера. Шура и Зина ему помогали.

— Она хрустальная, — говорил Валера. — С ней надо осторожней.

Эльвира и вправду была хрустальной вазой. Очень дорогого звучания. Она стояла на старинном комодe красного дерева.

Валера сказал родителям, что ваза разбилась. Осколки выбросил. Искренне плакал, просил прощения, дрожал. Ложь наращивала судорогу. Родители испугались.

А игра сразу получилась опасной и привлекательной — тряпичная голова, руки, ноги, а внутри хрупко.

Туман обмана окружил куклу. Зина рисовала для куклы дворцы со взрослым словом — палатцо. И сады. Много цветов, заросли роз. А Валера рисовал четкие квадраты и ромбы. Красные и синие.

Мнимая тряпичность, цветастые платяча, а внутри — краденая вещь, грех. Тайна утоньшала игру, делала их соучастниками недозволенного. Этим они себя разгорячали. Пьянили.

Валера показывал девочкам пипиську. Они трогали ее. И кукле давали потрогать.

Зина рано стала колотья. Она поехала сначала в Польшу. Оттуда Валере пришло письмо. Без обращения. “Пропадаю. Будь счастлив. Зина”.

Потом из Германии, и вовсе одно слово: “Пропала”.

А Шура, не кончив школы, вышла замуж. Родила двоих детей. Вроде жизнь складывалась нормально. Но муж, способный инженер-электрик, сгорел от рака. Очень рано.

Вместе с детьми Шура ходила к нему на кладбище. Наскребла денег, поставила хороший памятник. Пригласила Валеру. Когда священник освящал памятник, Валера повторял про себя: “Господи, прости мя грешного”. Слова пришли сами собой, откуда-то из далекой памяти.

Шура на него не глядела, только сыпала слова торопливыми осколками:

— У меня двое детей. Не знаю, в чем виновата. Ты теперь не надейся. Слышишь?

— Я не надеюсь.

Больше они с Шурой никогда не встречались.

Валера Костин успешно кончил институт, работал программистом. В работе чрезвычайно исполнительный. Друзей не было. Пиджак, галстук. Незаметный, почти невидимый.

Родители, как могли, оберегали его от хозяйства.

Мать некла пирожки с капустой, вареньем, творогом. Сама из-под Иркутска, лепила по-сибирски пельмени, жарила шанежки с картошкой. Горячие, розовые. Если уезжали, то оставляли записку: “Внизу в холодильнике суп, на второй полке мясо. Вверху сыр и колбаса, в морозильнике масло. А шоколад — где всегда”.

Валера приходил с работы, съедал, что было оставлено, и потом, по заведенной традиции, съедал, отламывая несколько плиток шоколада. Его единственная слабость. Всегда и на работу брал шоколад. Ел сам, никому не предлагал.

Дома Валера играл на компьютере до глубокой ночи. Одновременно врубал телевизор или видео.

Это случилось в его отпуск. Слепой от солнца.

Чтобы солнце не мешало, Валера задернул шторы. На этот раз включил только компьютер, начал игру. Незаметно игра втянула его внутрь.

Он оказался на плоской поверхности — квадраты и ромбы, красные и синие. Он шел. “Где центр? — думал Валера. — Где-то должен быть центр”. Вспомнил Зину и Шуру. Подумал: “Тогда центр был совсем рядом”.

Где центр?

Его испугала мысль, что он может состариться, пока найдет центр.

Где центр?

Квадраты и ромбы. Красные и синие. Шагал и шагал.

Вдруг запах гниющих водорослей. Легкий шум. Дыхание. Его или кого-то другого?

Под ногами закрипели камни.

Это не мое дыхание, догадался Валера. Это прибой.

Все в нем сжалось от предчувствия. Пустынный берег моря, но у самой кромки воды — женщина в легком летнем платье, лицо закрытого соломенной шляпы.

Она оглянулась. Валера услышал:

— Ничего не говори.

Женщина кинула шляпу на камни, сбросила одежду.

Июль. Слепой от солнца.

Валера узнал ее не глазами, а всей своей одинокостью.

— Эльвира! Ты прекрасней, чем жизнь.

Она засмеялась:

— Я же сказала, не надо ничего говорить. Поплыли?

Он увидел, что Эльвира уже далеко. Тогда, не раздеваясь, кинулся в море. Плыл брассом, зарываясь головой в волны. И чувствовал соль на губах.

Задыхаясь, наконец нагнал Эльвиру. Ее тело было прозрачным в белом легком тумане.

— Хочешь шоколаду? — спросил Валера, сунул руку в карман. В руке был только мокрый липкий комок.

Эльвира засмеялась. И тогда и он засмеялся. Открыто, как никогда в жизни. Засмеялся в той единственной точке, где скопилась его энергия счастья.

— Плыдем дальше? — выдохнул Валера.

— Чтобы не было берега, — крикнула Эльвира.

— Play, — ответил Валера.

Мать первая увидела, что на столе еда совсем не тронута. Она открыла холодильник, чтобы убедиться.

— Смотри, — сказал отец. — Ваза нашлась. Помнишь?

На комодѣ стояла хрустальная ваза с розами.

Вдруг мать упала на пол. Она билась головой.

— Что с тобой?

Слезы катились по ее лицу. Отец испуганно схватил ее голову. Она бормотала сквозь сухой жар слез:

— Две... две...

— Что? Что ты говоришь?

— Две... две...

— Что две?

Отец посмотрел. В хрустальной вазе стояли две розы.

Он еще не понимал. Открыл шторы. Выключил компьютер.

Мать и отец неподвижно стояли около комода. Они глядели. Перед их слепыми глазами — две красные розы...

## ДИССЕРТАЦИЯ

Бугайкин женился поздно. И лет ему было поздновато, за пятьдесят. Правда, он осилил кандидатскую и работал научным сотрудником во ВНИИ Потустороннего Излучения Счастья.

У самого Бугайкина счастье выпеснялось стыдливостью. Он стыдливо глядел на всякое движение в нашей стране, и даже на президента и уборщицу в институте.

При такой стыдливости ему было трудно присоединить себя к иным, не мужским формам существования. Стыдливая улыбка на его лице отпугивала женщин, и они сворачивали с его жизненного пути в сторону.

И вдруг Нина Шульженко из Ближнего Зарубежья напихнулась на него в метро силой давления толпы. Была она в теле. И это тело у нее было все впереди. Она несколько придавила Бугайкина и спросила:

— Я вас не придавила?

Бугайкин хотел засуетиться, стыдливо отодвинуться, но давление толпы усиливалось. И Нина с ходу поняла, что тут как раз проходит граница между Ближним Зарубеьем и квартирой в Москве.

— Ой, как хочется в кино, — будто случайно вырвалось у нее.

А Бугайкин стыдливо подумал: “Ведь мне придется на ней жениться”. Этих слов он не произнес, да Нине и ни к чему. Через два дня она устроилась подавальщицей в кафе “Махаон”. А через три — уже привела в однокомнатную квартиру Бугайкина “чиловика”, как она называла и самого Бугайкина.

— Он хоть и в годах, а ученый, — говорила Нина пришельцу о своем даже еще не распisanном муже.

Потом Нина с Бугайкиным расписались.

Звали Бугайкина несуразно — Семен Иннокентьевич. Для простоты Нина называла его — дядя Витя, или просто дедуля. Бугайкину она стелила раскладушку в кухне. А какие стыдливые мучения терпел он ночью: ему казалось, что он попал в сферу притяжения луны и она сильно скрипит, его будили игрицы стоны и звериные шепоты.

Потом — утро. Что делать? Нужно выйти из кухни, помыгься, привести себя в порядок. А вдруг он столкнется с гостем? Стыдно. Мало ли что гость подумает... И Бугайкин терпел до института. В портфеле он носил бритву, мыло, зубную щетку, пасту и газету.

Когда вечером гость врубал телевизор, Бугайкин горел стыдом и стеснялся своего стыда.

Как-то утром он сказал Нине:

— Мне неудобно жить. И я хочу умереть.

— Умри, дядя Витя, — охотно согласилась Нина... и просчиталась.

Получив справку о смерти мужа, Бугайкина Семена Иннокентьевича, Нина успокоилась. Она не пожалела денег на хорошие похороны с поминками, блинами, кутьей... Поминки кончились веселой пьянкой.

Попав в иную сферу, Бугайкин сразу принялся писать докторскую. Отказавшись от рая, он поместился опять в своей прежней квартире. Теперь уже совершенно невидимым для других.

Характер Бугайкина изменился. Потеряв стеснительность, он невзлюбил молодых людей, приходящих к Нине. И стал сбрасывать с полки посуду. Тарелки, чашки, рюмки летали по всей квартире и шумно разбивались. Теперь ему нравилось включать телевизор на полную мощность. Соседи негодовали.

Нина не понимала, что происходит. Пригласить кого-нибудь приличного из кафе стало невозможно.

Между тем докторская диссертация Бугайкина двигалась не легко, но небезуспешно. Он особенно пристрастился бить редких теперь пришельцев сковородкой.

Входит молодой человек, а его сковородкой по башке — блям!

— Дядя Витя! — кричала Нина в темные пустоты бесконечности. — Прекрати! Раз умер, то веди себя тихо.

Однажды она взяла справку о смерти Бугайкина и подняла над головой. В ту же секунду справка вырвалась из рук, превратилась в комок бумаги, вылетела в форточку.

Нина села на пол и от безнадежности зарыдала. Кто-то мягко стал гладить ей голову, вытирать слезы.

— Семен Иннокентьевич, прости меня.

Но кругом была мертвая тишина.

В этой тишине было удобно работать.

“Через несчастье к счастью в потусторонних сферах” — это была тема диссертации Бугайкина.

К весне Семен надеялся защититься. Где? И как? Он не знал. Но верил, что с первыми, еще стеснительными листочками тополя он представит выстраданный труд всей своей прежней и будущей жизни.

## БЕЛАЯ ЯХТА

Неудачник спотыкался. И прежде всего об узкую полоску света, пробивавшуюся между жизнью и смертью.

Свинцовыми подошвами его ботинок притягивались всякие несуразности, вроде гвоздей и городских сплетен. А неудачник хорохорился: в уме моем зелены пшеницы поднимаются гуще, чем у вас на полях... А ночь набивает мою подушку жаркими львятами, и к утру они вырастут в настоящих львов... О, если бы... Неудачник поднимает глаза к небу, а потом опускает их к земле, да так неловко, что шляпа падает с головы, летит в какие-то тартарары — оттуда разве достать? И если в средние века кто горшок с помоями выливает со второго этажа, то обязательно ему на голову. И во все времена — если где стреляют, то пуля обязательно попадает в неудачника. И он уходит, страдает, но живой. Всегда живой, всегда живой, во все времена. Множество способов перепробовал неудачник, как перебраться в иной мир: кидался под гусеницы танков во время больших и малых войн и военных маневров, участвовал в тайных заговорах, которые были обречены... Неудачнику всегда чуть-чуть везло. И в далеких глубинах души ему чем-то нравилась жизнь.

Однажды ночью его разыскал генерал-лейтенант Руковишников с револьвером на правом боку, он лежал на холодеющем песке пустыни.

— Вы пришли ко мне? — спросил неудачник.

— К вам. Встать!

Неудачник вскочил, отряхивая песок с одежды.

— Вы Вечный Жид?

— Вообще-то меня зовут Сергей Сергеевич...

— Жаль, — и генерал-лейтенант четко, по-военному повернулся и пошел прочь.

— Гражданин начальник, — опомнился Сергей Сергеевич. — Ну хоть арестуйте меня, сошлите на Колыму, а?

— Где ж вы раньше были? — донеслось до него. — Сейчас у нас другие времена.

“Неудачник я, — подумал Вечный Жид. — Вечный неудачник. Черт меня дернул сказать, что я Сергей Сергеевич. Это ведь только по паспорту...”

Пора бы теперь описать внешний вид Вечного Жида, его грустный взгляд с отблеском надежды. Но зачем? Посмотрите внимательно на меня. Изю всех сил всмотритесь в меня, а может... и в себя. И

уж там, на заднем фоне, как на старинных фотографиях, вы различите нарисованную белую яхту Вечного Скитальца.

## ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Размундированный голос отставного полковника тихо опустился на каменный пол ванной:

— Ну чего, старик?

Он посмотрел на себя в зеркало. Танк с развороченной правой гусеницей и опущенным стволом пушки глянул на него.

— Ну чего, старик? — переспросил полковник. — Сегодня будем закусывать? Эта колбаса мне вот тут, — и полковник провел по горлу. — Картошка у нас есть, можно бы соленьких купить, свеколки. Борщок бы соорудить. Возиться неохота.

Зеленые глаза танка грустно поглядели на полковника.

— Никаких проблем, сэр, — полковник широко зевнул. — Телевизор только почию. Сам, между прочим.

Полковник обрывком взгляда скользнул по циферблату часов и безгубо в сознании: “23 часа 27 минут”. Старые часы ни разу его не подвели. На них он всегда мог, как на друга — вместе и в воде, и в огне, часы с вделанным компасом.

Его рука действовала автоматом, пальцы нащупали пазуху чашечки для бритвы, выдавили туда крем. Он открыл кран ванны и отключился.

— Кронпринц предпочитал бриться вечером, — бормотал он. — Кронпринц предпочитал, — сделал долгую паузу, — прожить остаток дней особнячком в особнячке.

Лицо полковника скрыла пена.

— Но двуликим Янусом мы с кронпринцем — никогда. Чтобы этим Янусом — это уж точно, сэр.

Лезвие безопасной бритвы легко и неоскорбительно убирало мыльную пену. Новорожденно выпрастывались острые черные усы без единой сединки. Вот только височки, вот только височки, но поскольку голова вполне жуковатая и глаза еще с огоньком, правда, подглазья припухли, но в целом, — полковник выпятил губы, и его нос почувствовал легкое прикосновение усов, — для баб тут сюрприз “X” в степени “n”.

— Ну что, Артем, — обратился он к танку, — берем сегодня таймаут в смысле баб? Или как?

Полковник жил на шестом этаже, в двухкомнатной квартире, пристройке к пятиэтажному дому начала века, с поднебесными потолками, и в ванной, и в сортире — высокие окна, выходившие в слоеный пирог узких переулков. Напротив, за каменным забором, размеренно, до полуночи, гудела обувная фабрика, и вонь от переработки кож поднималась к окнам полковника.

В большой комнате всю стену закрывал дубовый буфет, похожий на орган. Увезти его прежний жилец не смог, так что он достался полковнику вместе с квартирой. Другим подарком в маленькой комнате нагло раздвинулась темно-бордовая кровать-раковина с балдахином. Ее вывез из Австрии в конце войны прежний жилец, тоже военный, с которым полковник некоторое время общался. Но тот умер еще до того, как полковник оказался в Афгане. Кровать не сиротела, балдахин сотрясался от разных особ женского пола. У каждой было свое имя, но склерозированная память полковника уже не способна была их удержать.

Комнаты совсем бы опухли от одиночества и тоски, если бы не престарелая, полуслепая, задуханная собачонка на маленьких ножках, в черных лохматушках, приблудившаяся на улице и прозванная полковником Жанеткой.

А дочка? Что дочка? Любимое дитя. Уехала с мужем в Новосибирск. Ее редкие письма он аккуратно складывал в железную коробку из-под конфет.

Вспомнил умершую мать. В деревне, в Озерках. Вспомнил, как она голосисто тянула:

Озерчане, озерчане-е-е-е,  
Хорошие ребята, молодежь,  
Перевезите, перевезите на ту сторону реки.  
На ту сторону, на ту сторону...

Да, Кембриджа ему не пришлось кончать, а своего он достиг... И мать бы подивилась. Главное — все сам.

Ночь мятежничала ветром, сотрясала окно дождем.

Снова грохотали БТРы. Обожженные солнцем лица солдат. Осевший голос полковника. Жара все заштукатурила. Он не узнавал своего голоса. Танк качается на ухабах. Жрать вроде как разучился. Только пить, пить. Завис вертолет. Труп духа на дороге. Танки идут, и труп расплзается, тоньшаает...

Какой я все-таки стервец, подумал полковник, пацаном зябликов ловил и продавал. А теперь сам в клетке.

Дурманный запах ночницы. Одно лето ездил к бабке, матери отца, — за Днепр. И в темном лесу нашел. “Счастье тоби, — мягко говорила бабка, — баць, як ее словом опушило: “Люби менэ, не забувай”. И он запомнил слова бабки, даже очень.

Взрыв мины оглушил. Его свалило. Думал, с концами, а ранение — осколочное, только в правую лопатку да в плечо. И сейчас болит в дождь.

Полковник открыл глаза и привычно на часы: 23 часа 49 минут. — Артем, — шепотом позвал полковник.

Полковник ощутил, как хрустнула мысль и легкий озноб сотряс там, в зеркале, всю могучую махину танка. Крупно скрипнула боль в развороченной правой гусенице и сразу отозвалась в полковнике.

— Артем, — прошептал опять полковник.

Танк чуть-чуть шелохнулся, и огромный стальной член стал медленно подниматься вверх.

Губы, гортань — все мгновенно пересохло. Так уже было в Афгане. 23 часа 52... 53... 54... 55...

— Угломер тридцать ноль, наводить в цель, — и полковник крикнул: — Огонь!

Огромное облако спермы рвануло к небу.

— Выстрел, — в блаженном изнеможении выдохнул полковник.

— За погибших товарищей, за этих сосунков, мать вашу так...

Огонь!

— Выстрел, — он захлебывался в дрожащей радости. — Ах ты, кровь-кислица, пользуйтесь, размножайтесь...

— Огонь!

— Выстрел.

— Огонь!

Ствол начал опадать.

— Артем! — взревел полковник. — Ты что, мать твою ити...

Танк был жалок. Со всей силы полковник ударил кулаком по зеркалу. Куски стекла посыпались на плиточный пол ванной.

— Все, выпал в осадок.

Полковник поднял довольно большой кусок зеркала, пригладил усы.

“Может, по венам?” — он полоснул куском стекла по кисти руки. Выступила кровь. И усмехнулся: “Идти с этим ранением в санбат”.

В голове проявился номер телефона. Кто же это? Вышел из ванной. Набрал номер. Услышал женский голос.

— Даша, Вера, нет, Леля.

Женский голос сменился мужским:

— Иди ты знаешь куда...

Полковник положил трубку и тяжело осел на стул. Увидел, что еще держит в руке кусок зеркала. Бросил его, и почему-то тот не разбился. 0 часов 13 минут. Тихо. Фабрика уже не работает.

Заскулила собака.

— А, Жанетка, — полковник наклонился и погладил собаку, — сейчас, сейчас, пойдем погуляем.

Взял поводок, надел плащ, не забыл и зонтик.

На улице муравил мелкий дождик.

Полковник нажал кнопку, выстрелил зонтом. Поводок не стал пристегивать.

Они шли знакомыми переулками к широкому проспекту. Перейдешь его — а там садик, который особо любила Жанетка.

Они еще стояли с Жанеткой на тротуаре, как из соседней улицы на проспект темной волдой выплеснулась толпа. И в толпе был свой порядок. По бокам шли молодые ребята, вооруженные автоматами.

Что это?

Грохот солдатских ботинок полоснул его узнаваемой радостью. На проспекте, не то что в переулках, было довольно светло. Он увидел свастику на рукавах.

Еще не думая, полковник сорвался с тротуара, и командирский голос вернулся к нему:

— Отставить! Стоять!

Полковник отбросил зонт и вклинился в толпу.

— Разойтись! Среди вас есть афганцы?

Ближайшего парня одной рукой схватил за грудь, а другой рукой стал сдергивать повязку с рукава. Мешал поводок. Но полковник не хотел его бросать.

— Ты чего, старик, в уме?

— Мразь, фашист, гад... Я бы тебя в Афгане мордой в серый песок...

Но кто-то уже обхватил его сзади.

Залаяла Жанетка. Ее подбили ботинком. Она завизжала и отлетела в сторону. Полковник вырвался и, обернувшись, хлестанул со всей силы поводком.

— Да это же еврей.

Его свалили. Начали бить ногами.

Толпа шла по распростертому по мостовой полковнику.

Когда все стихло, он еще был живой.

Усилившийся дождь смывал остатки мыслей полковника. И вдруг он почувствовал на лице теплоту. Собака лизала ему нос, рот, уши.

Жанетка, с туманной любовью подумал полковник, надо домой ползти.

К утру ветер разогнал тучи. В садике на скамейке спал пьяный, прикрытый целлофаном. По дорожке бежала трясогузка. Среди старых лип слышались песенки щеглов и зябликов. Им не мешал шум машин на проспекте, вышибавших воду из-под колес.

## Я С ТОБОЙ, ДЖО

Кафе-стекляшка, глаз стеклянный. Затертый, запотевший и затуманенный. Рядом железная дорога и шоссе.

Мы живем здесь отдельно, но и все вместе. Кучей — так привыкли. Еще бы нам пивка! Пепел папирос сыплется в тарелку, где лежит кусок недоделанной селедки.

Я поднимаю глаза. Передо мной, как бессонница, торчит голова негра. Мне интересно, мне забавно. Ха-ха! Откуда ты свалился?

Я его полюбила. Думаю, что от удивления.

— Хав ду ю ду, — ломаю я язык.

— Я говорю по-русски. Вообще я русский, из Тамбовской области.

— Ты русский? А откуда такая морда? Ну даешь, парень.

— Ага. Нас там много. Половина Тамбовской области — негры.

— Гудишь ты и зубы мне чистишь.

— Тебя Любой звать?

— Ты как это вычислил?

— Люба — любовь. Я всю жизнь тебя искал. И вот видишь...

У него фиолетовые, вывороченные, негритянские губы.

И, как милостыню на паперти, к нему:

— Поцелуй меня. Тебя как зовут?

— Джон, а дома — Вася.

— Лучше Джо. Мне нравятся всякие крокодилы, пальмы, слоны, бегемоты.

— Нет, я тамбовский.

— Ну ты даешь, парень, ну ты даешь.

Я вам скажу — негритянская любовь зазнобила меня. Нет, ребята, так не бывает. Ну зачем он мне?

А пустые стаканы на столе от каждого проезжающего поезда — дзинь, дзинь, дзинь.

Нас убили в субботу. Думали, что двоих убили. Нет, троих. Моего ребеночка не родившегося.

Джо приехал на своем “КАМАЗе” из Тамбова, как всегда, в субботу. И сразу в кафе, в нашу стекляшку. Я увидела его от двери. Бросилась к нему. Он обнял.

— Не лапай нашу девку, черножопый.

Их было шестеро. Не наших. Как они вышли на нашу стекляшку?

Джо защищался алюминиевой вилкой, которую зажал в кулаке. В тарелке — недоеденные пельмени. Я почему-то помню эти пельмени.

Меня ударили, когда я прикрывала его. Да, уж так получилось.

Да, уж так получилось. Но если бы снова — я все повторила бы опять. Потому что и теперь я люблю Джо из Тамбовской губернии.

Что? Там не живут негры? Какое мне дело — живут, не живут...

Только не могу себе простить одного — крикнула им:

— Его Васей зовут! Он русский, из Тамбовской!

Они засмеялись.

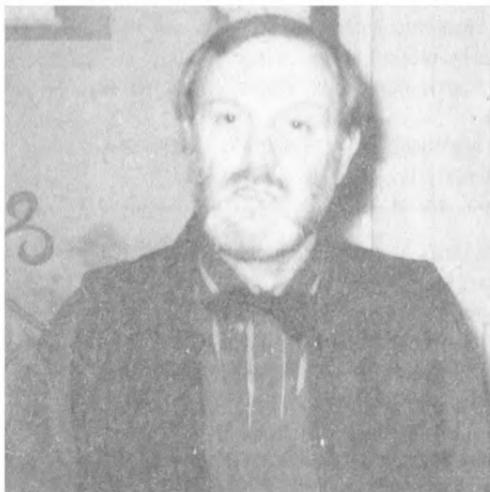
Гудели машины. Я сама видела, как парень-шофер натирал лицо углем. Из Тамбова по дороге ехали машины. Очень много самосвалов. И в каждой сидел негр. На черных лицах горели глаза.

Могила наша недалеко от стекляшки, почти рядом с дорогой. И тамбовская шоферня, да и не только они, притормаживают, гудят. Ребята, спасибо вам!

На желтом холмике — полевые цветы. Мы вместе. Джо-Вася и Люба.

А недавно за стекляшкой начато строительство микрорайона. Даже ночью, при свете фар, работают бульдозеры. Рядом гудит экскаватор, растет котлован. Огни бульдозеров все ближе и ближе к нашей общей могиле.

Я вижу, как по столешнице ползут стаканы к краю. Падают. Но падают неслышно, улетают в бесконечность.



*Игорь Бурихин*

## **В ЭТОМ ЖБАНЕ МОСКВЫ...**

**ф р а г м е н т**

- А Смоленск, что англичанину больше Рима, слышь,  
показался, так Москву б ему показать...
- Москва Москва, о скв в звуке этом споткнувшись...
- Москва, вишь, виновата...

И всё НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗГОВОРОВ..

опытов соединения стихов  
посредством стихов..

с Олей,  
ей посвящается...

В этом жбане сiju.  
В оранжево-буром дворе.  
Видно, долго солнце в нем хоронили.  
Или ящички ящички с апельсинами  
прятали в трюме. Ууу из М<sup>А</sup>рокко  
летнего вечно, еще аксеновского.  
Вель не Питер, Москва.

В этом жбане сижу как вишу.  
На четвертом — заходи, посчитай —  
уровне с балконом. Края неровные —  
где шесть, где десять всех тех уровней, старче, —  
во все ли верить?  
Ведь не Питер, Москва. Разнострой. Развал.  
Зато же и неба больше. Но не заходит.  
Он стоит, что луч, да и лучше,

веселее мне в жбане. Вишу, как вешу  
очень мало: у древка да не усач  
на полотнищах-то тех, что Москва что Питер —  
в небе в ритмах пищеварения, даже плыву, что в трюме —  
что во чреве, во вскрытом. МОСКВА моСКВА.  
Главное событие— носорог,  
носовой фигурой, или на водопоп  
там в углу, где выплеск многоэтажной

зелени. А в жбане осень. А он  
все в углу, где мотало листвою по небу  
через край, а теперь под дождем редее  
на березовых на косточках. Но он-то на водопоп  
— их наелся — пришедши. Торчит Торчит  
рог его — гостиницы Украина. И все, как Ууу  
Прыгов Прыгов с него там — все выше — меньше.  
(Да простит его главный Мильтон Москвы).

Ууу со жбаном вишу (поднимаясь) как вижу. А там и МИД,  
вечно мартовски, прямо с балкона, с его ВНЕШТОРГОМ.

А с моста к нему  
МГУуу как в Ульме, маленький поодаль, недаром Гройс...  
сам...собором...когда-то... сравнить их... и далее — выше — ниже —  
то на Восстания, то на Котельнической,  
то Ленинградской, всё МПС —  
и всеВЫШНИХ И ВСЁ РОСсийских,  
спасибо, Вилли, все перечислил,  
Ууу мскВОЗДУШНО, кругами, уже Садовое, поднимаюсь...

Что под брюхом небесного,  
только б не наколоться, ну вот и МКАД,  
стихохода (что ли) в жбане — над жбаном москваМММосквы —  
ЗДРАСте ЗДРАСте — с е м ь р а з как минимум —  
с католическим проколом всех третьеримских  
чаяний, значит, ну а в о с ь м о й — тот —  
над Христа, знать, над Спасителя, да снова, да поскорее,  
то есть ЗДРАСте и Бывши Бассейн Советов...

А подрогошников-то  
сорок-на-сорок-носорог, да еще Сорóкин,  
аж уши вянут, лечу лечусь

В этом жбане вищу, как Вссы —  
сомневаюсь: что же в Москве Москве,  
о скв в звуке этом споткнувшись, шпиками-то казалось  
аж в болото опрокинутых на хребты быков, Питер Питер.  
А ведь вот он свой рог поднимает, немецкий дюрсеровский,  
это впрочем для искусства. А так — немецкий  
рог нашествия. Битва Битва Метафор. Даже  
Осень Осень, но это совсем уж после.

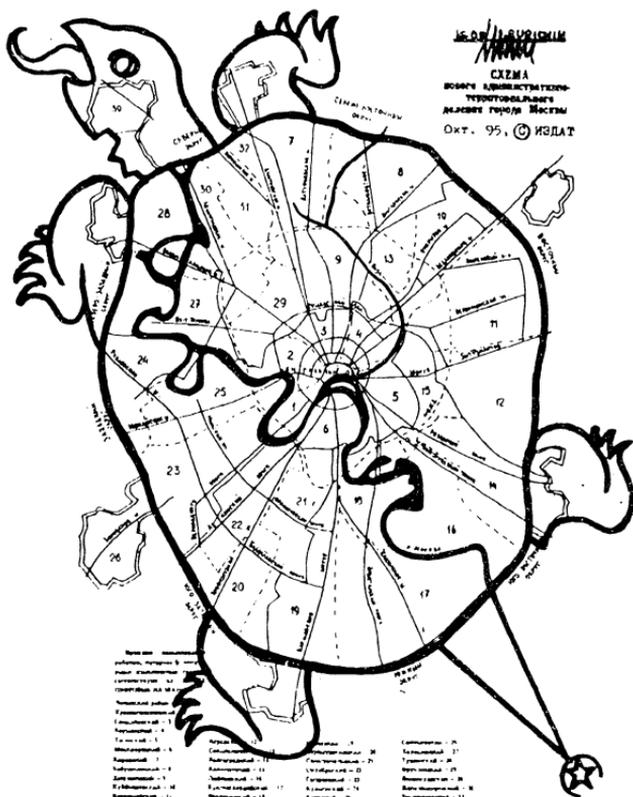
Бог он в жбане быка опрокинул-поддел, там где корень, вот кинет  
вверх копытами, да бык тот Медведем и оказался, вскидывается,  
только сам-то на рог, что Петрушка, надет, или же Моисей  
донетровский-какой...эх метафора, эко распространенная —  
для увесистых, видно, стрекоз на форуме, дос...чегоо...с?  
только сам ты и знаешь, что тут зачеркиваем/переставляем:  
пыльничко, сосуще, только — гляди — ГОБОЙ  
аже гумилевски... А так всё спокойно, по-католически

над Москвой, в этом жбане, как бы трижды по-третьеримски,  
прямо с завѣда, с улым как уменьшенными его там оригиналами,  
новым как и говорилось средневековьем, а по-нью-йоркски  
даже средне, недоскребо что выкидьш, а ведь так хотелось  
по-манхеттен-амехотепски аж. Да Четвертого  
вот не обещали, да вот не выполняют ли, эх распро-  
так-ее-геополитизированную, эко, что помело.  
Эсхатологически тоже довольно спорно.

Эко...так ее...в жбане по МКАД МКАД...эхо...  
просто логически тоже небезопасно. Зато Хорог...  
Таганрог...чтобы видеть как слышать...и всякий город на РОГ...  
хоть Кривой...хоть о Гродно Гродно...хоть новгород СПб...  
и это не считая Прибалтики, Западной Украины и всех на ВЛАДИ  
то ВОСТОК...то КАВКАЗ...то совсем ВладиМИР...  
а ВладиЛИМОНОВ, увы увы...А не то  
и калмык вдруг степной мол католик становится.  
хоть недолой и ЛАМУ...И ТЬМЫ...  
ТЬМЫТЬМЫТЬмыть нас, увы некрасов,  
снова косточек русских... еще на СТОК.шшш

В этом жбане совсем, как Весы ТАРО,  
за одну то есть ногу подвешен, вишу и вижу  
очень многое, раз уж Большая — с вывалившимся  
языком Камчатки — Медведица еще больше  
на черепахе похожа (+ параллели-меридианы  
по сереже, то-то латышеву), и тоже мчась  
на одном и том же месте и сокращаясь  
с грохотом грохотом, или же расширяясь

А Москва в том жбане, чем выше — насамомделе —  
точно черепахой, см.: карту с выбросами  
лап за МКАД, да змеиной головки на Питер, то есть  
прямо на Нью-Йорк, через полюс, а то и в Орк,  
ежели по-римски, и просто, как на иконе,  
что на Питер с Рязани бежит, расколотая  
по реке судоходной ЕЯ... КРЫЛЬЯ КРЫЛЬЯ...  
Змея Змея...спеши Георгий.



Впрочем, все в этом жбане, что вечность, ее заложность,  
вещность ее, рэди мэйд, ежели угодно здесь не проходит  
и буддийское лето в Москве, ибо и например, календарь Москвы  
заражен Кораном, Впрочем, Берлина Парижа Лондона  
Нью-Йорка тоже, увы, и немного узкие  
глаза, как чуть открытый ставень рам, люби люби теперь,  
что дым отечества, что Красного Креста да Красного Полумесяца,  
а я (из вздохов) что и делаю, упражняюсь, стр., стр., стравинских...

А я (дыханий длань) и так вишу  
в ооблаке — штаноо — за одну подвешен  
в небе в ритмах пищеварения, прямо — Гобой ГОБОЙ  
ирихонский какой-то,

и вся ж их Троица — шёнБЕРГ БЕРГ веБЕРН  
что ид на осы, аэроПЕТР, только шереметьевский, не забыть уж  
семь отмычек его, а и сколько еще их сядет  
приглушенно с небес, на весу, готовых  
для посадки-для взлета, ну прямо Снаряд СНАРЯД

Да, занятно в Москве, разнострой покуда, развал.  
Так держать, так оставить, хотя бы насколько-то, память память,  
Белый дом подкопчен,

да и вдоль по Питерской.Тверской.эх эх Горького  
облачноСТРОЙупаковок, да, кресто-христо,  
не скоро так снова будет.

Пусть уж гниюще под колпаком в слухах подземки...

пусть уж салютов, будто  
йуХ С ТОБОЙ...йуХХ С ТОБОЙ..третьеримских  
триумфатор приветствий...увы поэтам  
гете.фауста. в сухостой...ШТУКИ ЭТИ, Иосиф,  
что ПОСИЛЬНЕЙ их  
больше света...их штербе штербе...и проч.Щ.щebet...

\*\*\*

В этом жбане сию и, должно быть, свечусь в ответ  
в рожках колосьев — звезде его — ДНК  
этого дела, а может, ВДНХ,  
и кому-то все это-про это нужно,  
чтобы вот он зажигался вдруг, весь как есть,  
не усмотришь когда, без салюта, ежевечерний  
мне подарок, да и тебе — не просто шторы задернуть,  
ежели подумать, и так вот до половины третьего.

Освещает нам жбан, очевидный и неопознанный,  
НЛО для уфологов, может, ну а для нас —  
КРУГЛОЕ, точно на Ууу, с углами  
ТЕЛО тело — снаряд СНАРЯД  
для посадки-для взлета, весь на весу  
и сияет, гобой надоело — Флейтой —  
ближе к позвоночнику, прямо совсем домашний,  
да, Екатерина Александровна, так-таки и оставлен, и до полттретьего,  
будто в туалете. Убо ЗАЙ Юнг УНД Фрейд. Ну а ты заснула.

Вот и мгла в этом жбане, опознавательных только точки,  
означая означающее, а ты заснула, да и меня укачивает  
в этом чреве, а у меня скоро чтение,  
а нового ничего, слишком даже чего,  
да не выходит вот просто на МУЗыку МУЗыку,  
тяжек Змей, закрывай ЗАСЛОНКУ,  
а так хотелось задать стихам,  
да не просто нерифмованно для непосвященных  
а и для прочих не просто там анаграмм-на-грамм:  
так по РОГАМ...  
архитектонически как-нибудь, вот и не узнаётся:  
пльвиплыви мойкорабль  
длясебя...носоРОГО...аБОГА...ЕДИНОрого...уууВЫ...проваливаЮсь...

\*\*\*

В этом жбане вишу как попало, сторон с верхуниза КАРНИЗА  
только слышу что глохну, всё в грохоте, да ПОСТРЕЛИВАЯ  
да попердывая да повизгивая,  
— луноХОД ГОВОРИШЬ ТЫ ЧТОли —  
что с Ориной Пилигримище, Духов ДУХОВ КОТ  
ч е р е п а х у нам заводит по всем лучам МКАД...  
даже чаек МХАТ-ТАХИ (Ммм) слышишь, полный ПРУСТ  
И ШЕСТИ ТО НЕТ — ну прямо Летучий МЫШ —  
а и ты же вверх ногой, что висишь, ЗАСВЕЧИВАЕШЬСЯ...

Ну а в жбане православные твои что-то жгут палят  
диоксин-видать-последне-оксюморонное  
эпоксид-эбено-что-ж-там-свое-партийское  
несгорайно-отравляющеЕЕ—то ли СКУМ сконца —  
то ль совсем пиздец—прости уж—МОСКВА МОСКВА  
и т.д. ....  
вставай кудрявая, мол .....  
на фоне все тех же .....

Это в жбанае Москвы снова день встает  
с семи беспроконечных тех языках,  
о восьми тех изподземных, и утро красит  
этим светом их отроги, и ты не спи.  
То же Цербера, чтоб понятней, Горыныч-брат,  
окромя голов собачьих, Орк-Орт-ОРФЕЙ —  
места, видишь ли, сего ортодокс-СПАСИТЕЛЬ.  
И какой ему ПУСтарт, все НАПОСТ НАПОСТ

А и уровень МЕРТВОЙ ВОЛНЫ Москвы .....  
по рога ему, по грудь, по копыто, видишь, и все спокойно .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

М., Окт. 95.



*Татьяна Михайловская*

## **КАРАИМСКАЯ КРОВЬ**

### **Рассказ**

Я выхожу из автобуса.

Когда-то я любила уезжать из дома. Потом любила уезжать и возвращаться. А потом — только возвращаться. Теперь я не выношу ни того, ни другого. Все, что связано с дорогой, мне опротивело. Вокзалы, аэропорты, билетные кассы, гостиницы и прочее. Двадцать лет меня носит по стране, я была везде и по многу раз. Пора перейти на оседлый образ жизни, но не получается: в нашем секторе у кого дети, у кого — давление, у кого — диссертация, я одна свободна, здорова, бодря телом и духом, и значит, ехать — мне. Далеко или близко — разница только в том, что, если далеко, я беру сумку побольше. Джинсы на мне горят, мой трудовой стаж следует измерять в джинсо-километрах.

Свет в парадном, разумеется, не выключен, хотя давно день. Разумеется — потому что куча бездельников: слесарей, техников-смотрителей, монтеров, сантехников, работать не любят и не умеют. Я бы их порола. Публично.

Вхожу в квартиру и глотаю с порога запах пустоты и пыли... Набираю по памяти номер и в ответ на "але", сказанное с таким хамским тоном, каким говорят лишь в нашем ДЭЗе, вежливо вправляю им мозги:

— Вы забыли выключить свет в парадном. Дом четыре, подъезд два. Поторопитесь, пожалуйста.

Звук, похожий на икание и на первые буквы известного ругательства, свидетельствует о том, что меня узнали, и я спокойно кладу трубку. Можно не проверять — свет сейчас погасят. К выполнению простейших команд я их все-таки приучила.

Вот я и дома. Сначала — душ, затем — спать.

Телефонный звонок будит меня в начале ночи.

— Хорошо, что ты дома! Маня! — слышу я свое школьное прозвище и понимаю, что это Надежда надрыгается где-то в телефонной будке. — Можно к тебе сейчас приехать? Это очень важно! — кричит она и добавляет скороговоркой: — Я не одна...

На этом связь прерывается, и я не успеваю ответить. Но это и не важно, так как Надежде я не откажу. Я в долгу перед ней за те лекарства, что она доставала для бабушки, те самые, что не спасают жизнь, но облегчают муки...

Однако надо поторопиться, ведь Надежда могла звонить из ближайшего автомата. Раздвигаю диван, стелю самое красивое белье, какое у меня есть — когда-то я привезла его из Берлина и до того берегу, что жалею отдавать в прачечную, сама стираю. Тихое лесное озеро с камышинками и кудрявой склоненной листвой мирно растекается посередине любовного ложа. Зажигаю бра. Что еще? Полотенца, халат... Ну, подруга, пусть тебе будет хорошо.

Снимаю со стены две свадебные фотографии — бабушки с дедом и родителей. Я люблю смотреть на их счастливые молодые лица и радоваться тому, что человеку не дано знать своей судьбы. Этот симпатичный инженер из Риги, с нежностью взявший за руку свою совсем юную жену, не может и предположить, что впереди его ждет не просто ранняя смерть, как у его сына, но клевета, унижение, пытки и убиение в "Крестах". Золотой медальончик, подаренный им красотке, кокетке Марте Петерс еще до того, как она стала Мартой Манеевой, и в вырезе платья запечатленный безымянным рижским фотографом, будет последней ценностью, которую та снесет в торгсин, где эта крохотная золотая капля канет в безмерном море драгоценных людских слез.

Родительская фотография другая. На ней улыбаются два милых смущенных лица, смущенных от собственного счастья и направленного на них объектива, и чувства, которые они испытывают, настолько одинаковы, что делают их похожими друг на друг, будто это не муж и жена, а брат и сестра держатся за руки. Наверное, вот так же, взявшись за руки, ушли они на ледяное дно Байкала под опрокинувшейся лодкой. Я не помню их в жизни, отдельные смутные впечатления двухлетнего ребенка не рождают во мне их цельного облика, но я много раз видела их во сне, видела, как они тонули — и со счастливыми лицами, и с ужасными, мучительными, страшными лицами, но всегда взявшись за руки...

Прячу фотографии в шифоньер — незачем им смотреть на ... в общем, незачем. Собираю в узел свою постель и несю в кухню. До утра мое место здесь, на топчане, на котором в давние времена спал мой непутевый братец, являясь домой после гулянок. Он сам его смастерил по моему эскизу, и уж братец мой лет пятнадцать как потерялся на просторах страны, а топчан цел, крепко стоит, до скончания века ничего ему не сделается, если только я не порешу его выбросить.

Я успеваю вовремя. Открыв на звонок дверь, света в прихожей я не зажигаю, чтобы не было охоты разглядывать друг друга, и тотчас удаляюсь к себе в кухню. Надежда, благоухающая духами, сигаретным дымом и коньяком, успевает благодарно обнять меня и прошептать;

— Спасибо, Манечка! Все так неожиданно вышло... Он удивительный человек...

“Удивительный человек” скрывается в комнате, и она спешит за ним. Сколько же у нее было таких “удивительных”? По-моему, она сбилась со счета еще до второго замужества. Впрочем, одним меньше, одним больше — какая разница...

Я вытягиваюсь на топчане, закрываю глаза, и мне кажется, что я опять в поезде. Через секунду я засыпаю. Я быстро засыпаю. И быстро просыпаюсь. Как всякий, привыкший спать в дороге.

Меня будит легкий стук в дверь. В щелочку между занавесками я вижу голубое небо. Утро. Раннее.

— Мань, ты спишь? — слышу я за дверью приглушенный Надин голос, и вот уже входит она сама, в моем халате, в котором выглядит весьма соблазнительно, поскольку он ей размера на три маловат и обтягивает ее во всех критических местах. — Свари кофесочку. Голова болит, — жалуется она томно. — Не надо было водку с коньяком мешать, во дурища... И ведь знаю же себя, а удержу нет... Всю ночь не спала...

На щеках у нее румянец, кожа гладкая, бархатная, ни морщин, ни мешков под глазами. Всем бы так выглядеть в сорок лет да с перенос, да всю ночь проколөбродив.

Пока я варю кофе, она размышляет вслух:

— Понимаешь, он не похож на других... Не в том смысле... Но что-то в нем особенное... Ум, что ли?.. Говорил, я даже не все поняла... Интересно, с женой он тоже разговаривает?.. Двое детей у него, уже взрослые... Время-то как летит, моей Ирке скоро шестнадцать... Слушай, а еда у тебя есть какая-нибудь? Извини, я так по нахалке спрашиваю, просто ему сейчас прямо на самолет... Все совершенно неожиданно получилось...

Действительно неожиданно.

Минут через десять они, как примерные ученики за партой, сидят за моим кухонным столом, и я наливаю горячий кофе в чашки и предлагаю небогатое угощение: тосты, масло, джем в коробочке и сваренное вкрутую оставшееся железнодорожное яйцо. Надежда ест,

болтает, смеется, когда капля джема с бутерброда падает ей на голую грудь, выпирающую из тесного халата. Ее удивительный друг молчит и ест, хотя, кажется, без аппетита.

— А ты? — спрашивает Надежда меня. — Почему не ешь?

— Мне еще рано, — отвечаю я и вслушиваюсь в свой голос — вроде звучит, как обычно...

— ... И кофе не пьешь... Потрясающий кофе! Пахнет! Я всегда Марту Яновну вспоминаю, когда кофе пью. С детства запало. У нас дома чай, компот пили, а кофе не в ходу был... Слушай, Мань, я вспомнила, Ирке моей репетитор нужен по английскому, но не очень дорогой. Узнай мне, ладно?

Я киваю.

Когда они вскоре уходят, Надежда, прощаясь, легко целует меня в щеку.

— Созвонимся. Пока!

И я опять киваю и ей, и ему на его “до свидания”.

Оставшись одна, я мою за ними чашки, ложки, делаю порядок на кухне, как говорила только что упомянутая Надеждой моя бабушка Марта Яновна, и снова ложусь на топчан — досыпать.

Но не тут-то было. Только закрою глаза — начинается метель. В ледяном крошewe, облепившем меня со всех сторон, я ломлюсь вперед, не чуя под ногами дороги, и самих ног не чуя, и рук, и мое осеннее пальтишко не может защитить меня от ударов ветра, каждый из которых вышибает из меня жизнь. Что я делаю здесь, одна, между Европой и Азией, тыкаясь носом в пургу, в бездорожье, во тьму? А, я ищу своего брата, правда, честное слово, ищу своего брата, единственного мужчину в нашей семье, нашу опору... Дорогой братец, ау! Твой лучший друг, удивительный человек, сказал мне, где тебя искать — совсем рядом, за метелью, за этим адом крошешным! И я иду, иду, иду...

Я открываю глаза. В окне — голубое небо. Я снова закрываю глаза. Надо спать. И снова оказываюсь по колено в снегу. Я обязательно должна тебя найти. Зачем? Но ведь ты еще не знаешь, что у тебя родились близнецы, два мальчика, им уже полгода... Мы с бабушкой помогаем Наташе как можем, но без тебя... плохо... бабушка старая, Наташа еле ходит, мне еще учиться четыре года... Не хочешь — не женись, но детям помочь... Ты же очень добрый, ты всегда отдавал мне свое мороженое, свои игрушки, если я просила... Кто подарил мне мои первые взрослые туфли и духи? Ты, ты, ты! Мысли мои леденеют с каждым шагом.

Я открываю глаза. В окне опять голубое небо. Я поворачиваюсь на бок. Еще раз поворачиваюсь. Нет, спина не отдохнула, ложусь на спину. Спать.

Где я? Белые стены, тепло, снег остался там, снаружи... Я лежу и не могу пошевелиться, в груди у меня боль и клеткот. Мне повезло — я не долго валялась на дороге, и теперь у меня только отморожены

пальцы на руках и ногах, лицо несильно, и двустороннее воспаление легких, и что-то еще, я не помню... Какой удивительный друг у моего брата! Каждый вечер он навещает меня в больнице и разговаривает со мной. Он чувствует свою вину, что отправил меня к брату в такую погоду, но он не предполагал, что я пойду пешком, не дожидаясь рейсового автобуса, который из-за пурги, как на грех, отменили... Жаль, что брат ушел, так и не узнав, что я здесь, разыскиваю его... Нет, он вернется, но не скоро, может, через полгода или через год... новые изыскания, сложный маршрут... Конечно, напишет, непременно... и про близнецов... жаль, что они мальчики, если бы были девочки, то, наверное, выросли бы такими же красавицами, как их тетушка... Боже милостивый, руки и ноги мои в бинтах, болячки на лице покрыты мазью, волосы слиплись — и я красавица? Я не верю. Но почему этот удивительный человек так странно смотрит на меня? Целует мою забинтованную руку? Мне уже разрешили ходить, я ковляю по палате и иногда вижу из окна, как он, выйдя из больнички, стоит у забора и глядит в мою сторону. Что он во мне нашел? Что во мне такого, что привлекает этого взрослого мужчину — наверное, ему уже тридцать? — занимающего большое положение — начальник какого-то отдела какого-то завода! — высокого, темноволосого, которому медсестры и молоденькая врачиха обязательно стараются попасться на пути? Да, что-то во мне есть, но это вовсе не красота, как я и догадываюсь, это что-то, что необходимо смешать с дерьмом, чтобы я сильно не выделялась среди людей. Но это еще впереди, а пока я выздоравливаю и словно плыву в розовом сне — от вечера до вечера, и если появляется черная точка у меня на душе, так это отсутствие вестей от брата. Что я скажу бабушке? Что я скажу Наташе? Я добиралась сюда на одолженные деньги... Как это не думать о деньгах?.. Бабушка старая, Наташа инвалид, вряд ли я сумею учиться... Нам некому помочь, кроме... Удивительный, удивительный человек! Он очень умный, он все понимает! Повезло брату, что у него такой друг. Мне повезло? Мне, правда, повезло, что нашелся такой человек, который готов мне во всем помогать! Главное, чтоб я училась, ни о чем не беспокоилась, все будет хорошо, просто прекрасно... Что близнецы? Зачем принимать к сердцу чужие проблемы... Эта женщина должна была понимать, что ей не на кого рассчитывать... Ну, пошлет брат ей денег... Мужчина, в конце концов, не обязан нести ответственность за случайность...

Все. Хватит. Раз не сплю, нужно встать. Пойти в комнату, убрать за ними. Сил моих на это нет. Спать. Немедленно! Не могу. Мне холодно. Меня знобит, но я упрямо лежу с закрытыми глазами. Разве покойникам бывает холодно? — то ли я это думаю, то ли говорю вслух, я сама не знаю. И внезапно вскакиваю с яростью. Старая дура! Решила отсидеться в норе до смерти? Мой дом — моя крепость? Получай! По-лу-чай! Наволокла со всего света вазочек-тарелочек, рюмо-

чек-салфеточек, уют захотелось! Покоя! Вот тебе уют! Вот тебе покой! Не бьется, зараза! Ага, готова! И пепельницу туда же! Бей! А, провались! К черту простыни с кувшинками, подушки, долой покрывало, скатерть, халат, все, все долой, вон, прочь!

Меня носит по комнате, будто ураганом. Нет, это та, давнишняя метель снова разоряет мой дом, засыпает битым стеклом, перьями, разодранными тряпками, которые еще недавно были моими любимыми друзьями в славные минуты домашнего отдыха. Это погром, но он ничто по сравнению с тем погромом, который во мне. “Караимская кровь очень сильная, — объяснила мне однажды бабушка. — Когда подступит, ей нельзя перечить, надо ждать, пока сама спадет”. Она знала, что говорила, моя бабушка. Марта Манеева старшая Марте Манеевой младшей.

Я обвожу взглядом комнату, разоренную. Но, как мне кажется, недостаточно. Мне по-прежнему все в ней ненавистно — и люстра, и картины, и телевизор, и мягкие кресла, и диван, диван, диван!.. У меня нет топора, и нет выхода моей ненависти. Я не знаю, чем унять караимскую кровь.

Телефонный звонок вбивает клин между мной и комнатой. Беру трубку и слышу голос близнецов — они и по телефону говорят сразу оба, вместе. Мне не нравится их нераздельность, это вредно. У каждого должен быть собственный опыт. Зимой я их разлучу. Одного — любого — заберу с собой в Ялту, пусть поносит аппаратуру на студии, пока я буду лелеять свои обмороженные щеки вдали от московских холодов. Но близнецы пока не знают о моих планах, у них свои собственные. Им нужны два плеера для изучения английского языка и кассета со спецкурсом. Деньги им нужны. И кроме как попросить у тетки, ничего в голову не приходит. Погодите, голубчики, я вас наставлю на путь истинный: одного в Ялту на черную работу, а другого очень недорогим репетитором согласование времен разъяснять. Потом сравните. Но это все потом. А сейчас надо похвалить. За тягу к знаниям и любовь к наукам. Слушают, как я их хвалю, но молчат. Чего-чего, а караимской крови в них уже нет — разбавлено водой. Интересно, а у моего ребеночка была бы караимская кровь? Поскольку девочка, то непременно. Вовремя я от нее избавилась. Женщинам незачем рождаться. Тем более случайно. Эта мысль меня успокаивает.

Поворачиваюсь спиной к разгромленной комнате и направляюсь в кухню. Там падаю на топчан — спать! Вечером еще предстоит работать, поэтому надо выспаться. И никаких сновидений и потусторонних воспоминаний. В бога я не верю, но бабушке иногда молюсь. “Бабушка Марта, сделай так, чтобы я заснула...” Когда-то я к этой молитве добавляла еще несколько слов: “... и не проснулась никогда”. Но потом мне стало все равно, что проснуться, что не проснуться. Бабушка помогает мне всегда и после смерти. Я засыпаю.

Сплю я долго и когда просыпаюсь, солнце уже не пробивается из-за шторки. Значит, около четырех. В половине шестого за мной заедет Валера, наш оператор, он будет снимать культурную программу во французском посольстве, а я — переводить. Люди гибнут за металл. Поэтому пить кофе. Мыть голову. Краситься, мазаться, одеваться. Все это я делаю, как автомат, равнодушно перешагивая через разбросанные по всей комнате вещи.

Ровно в половине шестого я выхожу из парадного, и первое, на что натывается мой взгляд, это слесарь-сантехник из ДЭЗа, как обычно, “под банкой” и с незастегнутой ширинкой. При виде меня что-то с ним делается, и он столбенеет, загораживая мне проход к тротуару. “Цыпочка”, — говорит он и тянет руку к моей белой кашемировой пелерине. У меня реакция, как на ринге, — я отклоняюсь мгновенно, и его грязная пятерня повисает в воздухе. “Брюки застегнуть”, — командую я. Он не сразу соображает, потом ощупывает штаны и то, что под ними, и довольная гримаса растягивает поперек его толстую, опухшую морду: все главное при нем, можно не волноваться.

И тут я замечаю еще одно действующее лицо, торопливо шагнувшее мне навстречу. По сравнению с которым непотребный слесарь — просто оазис мужского совершенства. Ринг превращается в... После. Бросок вперед, и я уже на краю тротуара, дальше начинается проезжая часть. Мне некуда деться. Неужели он посмеет говорить со мной? Говорит. Не мог улететь, не мог забыть, не мог поверить... Я не слушаю. Я знаю, что душевный комфорт — такая ценная вещь, ради которой можно весь день прождать под моим окном. Это уже было. Я не слышу. Голос его стучит у меня в висках, точно кровь. Глаза мои неотрывно смотрят на несущиеся мимо нас машины. Слишком далеко от тротуара. Ближе к краю и быстрее. Чтоб в мгновение ока и одним ударом. Ближе. Ближе. Я заклинаю летящих драконов. Сейчас...

Но серые “жигули” замедляют ход и подползают к моим ногам. Лихой малый, весь в джинсе и в кепке с надписью “тойота”, выскакивает из них. Это Валера. Взглядом профессионала в доли секунды он оценивает мизансцену: меня в белом и черном, рядом со мной высокого седоватого мужчину с дипломатом в руке, а на заднем фоне похабную фигуру слесаря. Валера резво обегает машину и распакивает передо мной дверцу.

— Туся! Шарман! Париж в обмороке! — развязно восклицает он и буквально заносит меня в машину, хотя и почтительно. Хлопают дверцы, и на полном ходу мы уносимся, оставляя позади нечто, напоминающее финал бессмертного “Ревизора”.

Некоторое время мы едем молча. Голова моя пуста, и в этой пустоте, онадая, но все еще гулко стучит пульс.

— Здорово я их срезал? — не совсем уверенно спрашивает наконец Валера. Он даже не догадывается, от чего он меня спас. Марта Мансева старшая, когда ее вызвали и потребовали отречься от мужа,

чуть не выбила следователю два зуба, после чего ее привязали к стулу и несколько часов подряд расстреливали холостыми патронами, смакуя удовольствие. Через неделю после того, как ее отпустили, квартира следователя загорелась, сам он задохнулся в дыму, и пожарные вынесли его, уже накрытого брезентом. И на все это смотрела молодая женщина, двадцати лет, совершенно седая. И ведь она была беременна. На четвертом месяце. Караимская кровь о детях не помнит.

— Может, я чего не так сделал, Марта Янна? — Валера искоса смотрит на меня и пробует шутить: — Может я ваш эксперимент нарушил? По превращению этой обезьяны в человека? А тот, второй тип, не знаю, что он говорил... Будто ревнивые нотки звучат в его голое — или мне кажется? — но, похоже вам его слова не нравились, у вас такое выражение было...

Я прерываю его. Мне не интересно знать, какое у меня было выражение. Мне интересно знать, что это за выражение “Туся” применительно ко мне. Бедный Валера! Хорошо, что он в шапочке, не видно, но такое впечатление, будто покраснела даже кожа на голове.

— Имя у вас очень строгое, — он внимательно глядит прямо перед собой в лобовое стекло. — А сами вы как девочка, хочется назвать Мартуся, Туся...

Ох, Валера, Валера, видно, мало тебе в тридцать лет двух разводов и алиментов на чужого ребенка... Не поумнеешь — опять нарвешься.

Мы снова молчим. Я пытаюсь думать по-французски о предстоящей съемке, но для этого мне нужно заставить себя внутренне улыбнуться. Иначе Мишель, диктор французской телекомпании, ведущая сегодня программу, моя давняя знакомая, не преминет прозрачно намекнуть на мою загадочную русскую душу. Видимо, иногда я кажусь ей марсианкой, освоившей французский язык. “ У тебя прекрасное произношение”, — ее любимый комплимент мне. Мое произношение тоже досталось мне от бабушки. “Знать язык — иметь кусок хлеба, а два языка — так с маслом”, — твердила бабушка, вдалбливая нам с братом эту аксиому вместе с французскими неправильными глаголами и немецким плюсквамперфектом. Дорогой братец, я уверена, что ты жив, а после вчерашнего, когда таким приятнейшим образом объявился твой удивительный друг, не сомневаюсь, что через год-другой объявишься и ты, повидать сестричку, родных детушек обнять, на могилке у бабушки нашей Марты Яновны слезу проронить, — как у тебя с французским языком? Ты не забыл, как будет глагол “предать”? Если забыл, я тебе напому. Не беда, что я недоучка, я двадцать лет зарабатываю на хлеб с маслом твоим детям вместо тебя, я этот глагол на всех языках и во сне помню... Твой удивительный друг, когда-то вдохновенно вравший мне о твоих дальних командировках, геологических партиях, в то время, как ты стоял за дверью, подслушивал и трясся от страха, что я тебя обнаружу, — он погубил тебя дешевой сказкой о крепкой мужской дружбе, о мужском братстве, для

которого женщина — только предмет погребения и обуза. Ты лишился всего, что было дано тебе по рождению: дома, где по утрам пахнет кофе, заботы близких, радости видеть, как твои дети растут... Он одного поля ягода со следователем, измывавшимся над нашей бабушкой, и я бы не дрогнула сама толкнуть его под машину на смерть!.. Но ты размазня с добрым сердцем, не обидевший и мухи, лишь с пьяных глаз обрюхативший увечную и безавший от стыда в глушь, вдаль, только чтоб не нашли, ты или спился, или спиваешься, ты носишь в себе эту занозу, совесть гложет твоё доброе сердце предателя — с тобой-то что мне делать, когда ты вернешься...

— Не расстраивайтесь, Марта Янна, все обойдется...

Тон у Валеры глубокомысленный и сочувственный. Этого еще не хватало.

— Обойдется очень дорого, — отвечаю я, а сама подыскиваю нужное, все исчерпывающее слово. — Во-первых, мне надоела стандартная мебель. Я уже решила: все продаю и заказываю новую по своим чертежам. Главное — поскорее вывезти гарнитур, чтоб не мешал, Во-вторых... — Вдохновение захватывает меня, я чувствую, искомое слово рядом, близко, на кончике языка. Также в-третьих и в-четвертых...

Острый серп луны над крышей отсекает день от вечера. Безжалостно. Спасительно.

— ... это — ремонт!

Слово найдено. И оно станет делом. На всю жизнь.

— Ремонт — это два пожара, — подыгрывает мне Валера, но я не соглашаюсь:

— Ремонт — это полное обновление, очищение. Это клизма.

Он смеется. Я улыбаюсь. Я представляю свою комнату без мебели, эдакий японский стиль: есть на полу, спать на полу. Какие гости? У меня ремонт! Ни одного спального места! Обои еще не просохли. Воду не включили. Живу, как на вокзале... Но живу...

Все. Вот теперь действительно можно жить. Жить дальше. Работать. Болтать с Мишель. Брать интервью и не хмуриться, когда целуют руку.

Караимская кровь отступила.



*Юрий Орлицкий*

## **Верлибры**

\*\*\*

Ночью  
украли небо  
(не надо об этом думать).  
Свернули,  
наверное,  
в рулон  
и унесли под мышкой,  
черное и тяжелое.  
Не надо думать об этом.

Завтра проснешься —  
а над головой —  
пусто.

А кто-то  
повесит измятое небо  
у себя в трапезной  
на стене,  
для аппетита  
(ведь будоражила же монашья желудка  
“Тайная вечеря”  
Леонардо).

Этой ночью  
опять  
украли небо...  
(не думать об этом).

\*\*\*

Сосны,  
как волосы дыма,  
над ровной полоской леса.  
Ветер,  
в прорези окон  
вставляющий пальцы  
время от времени.  
Поезд,  
стучащий колесами,  
как костями игральными,  
по зеленой ладони  
тишины.  
Лето...

\*\*\*

На стене провинциального вокзала  
висит грустное объявление:  
“Одиноким помощникам  
составителей поездов  
предоставляется общежитие”.

Только им одним — одиноким помощникам —  
из всего длинного списка.  
Даже составителям — и тем нет.

Какие же, значит, они одинокие, эти помощники,  
если им сразу дают общежитие  
в городе,  
от которого всего четыре часа езды  
до Москвы.

\*\*\*

...Если покажется вдруг  
Что у тебя  
Слишком много друзей —

Забудь нечаянно  
Записную книжку  
В автомате...

\*\*\*

В песочнице под окном  
Играют  
Дети со взрослыми лицами —  
Таковыми же,  
Какие будут у них  
Через сорок лет;  
С лицами,  
Полными тайны.

Из таких детей  
Вырастают поэты,  
Художники,  
Пьяницы...

\*\*\*

Разбитая  
Мраморная плита  
валяется на свалке

Из длинной надписи  
одно слово осталось —  
“забвения”...

Наверное,  
это о том,  
что его  
нет



*Игорь Яркевич*

## ГОЛУБЕЦ

### Рассказ

Голубцы — мясной фарш, завёрнутый в капустный лист; русское национальное блюдо. Если только возможно определение “русское национальное блюдо”... Ведь все русские национальные блюда придумал китаец! Вкусные. Поливаются сметаной.

А ещё очень хочется кота. Чтобы в ногах спал, пушистая сволочь! А утром мяукал вместо будильника — ровно в девять. А по воскресеньям — в десять. И сам чтобы спускал за собой в унитазе и посуду чтобы мыл тоже сам.

В России секса нет. Но секса нет и выше — на Западе. В России секс чересчур brutальный, а на Западе он какой-то слишком стерильный. А настоящего, полнокровного, весёлого, безопасного, и в то же время по-хорошему опасного, доступного, простого, но одновременно и сложного, прямого — а иногда можно и в сторону свернуть — секса нет нигде. А люди зачем сбуются? Потому что люди надеются найти секс! Но как же можно найти то, чего нет?!

Но и настоящего пряника тоже нигде нет! Пряник пропал вслед за сексом. Секс, исчезнув, потянул за собой пряник.

Но у кота есть и отвратительнее качества. С котом нельзя погулять. Как с человеком или собакой. И потом, кот не умеет гавкать и таскать тяжелые сумки — как человек или собака. Зато кот умеет тереться, и у кота более интересные уши, чем у собаки или человека. Да и вообще кот молодец!

Но кот не может заменить мужчине мужчину.

“Вы занимались в детстве онанизмом, Антон Батькович?” — спросил однажды Чехов Толстой. Чехов густо покраснел. “А я в детстве был известный хуедрал!” — не дожидаясь ответа, воскликнул Толстой. Чехов снова густо покраснел, как всегда густо краснел при малейшем проявлении пошлости этот удивительно деликатный человек, и решил, что никогда, ни в одной из своих вещей, даже в агрессивно-развратной “Чайке”, он не напишет слова “онанизм”. “Что можно в жизни, то нельзя на бумаге”, — ещё раз понял Чехов. А Толстой? Ну, а что Толстой? Этому айсбергу никакой онанизм не страшен! Он, несмотря ни на какой онанизм, всегда айсберг!

А Толстой не зря не стал дожидаться ответа от Чехова! Он, как и положено настоящему айсбергу, давно знал, что от Чехова ответа хуй дождётся.

Но покраснел не только Чехов. Покраснел присутствовавший при беседе Горький. Покраснел яснополянский лес. Покраснела русская общественная мысль. Русская литература подумала, подумала, ещё немного подумала и в итоге тоже покраснела. Все покраснели. Вот Толстой! Вот айсберг! Нет, нельзя было не влюбиться в этого человека!

Но кот всё-таки может заменить мужчине собаку! Или ребёнка.

А мир стоит на пороге решительной смены эстетик. Какой она будет, эта новая эстетика? Хуй её знает! Ничего не ясно! Каким же вообще будет двадцать первый век? Неужели он будет ещё хуже, чем двадцатый?! Хуй его знает! Но одно понятно — хуже он быть не может! Хуже просто некуда.

Да, мужчина может полюбить мужчину — как собаку. И как ребёнка. Ведь в каждом мужчине есть своя собака и свой ребёнок.

Москва! Москва очень странный город. Неправдоподобный. Если из Москвы ехать, или в Москву, то сложно разобрать, где Москва, а где не-Москва. Вроде бы вот Москва, и вот Москва, и опять снова Москва, а потом очень долго сплошная загадка: Москва это или уже не-Москва? — и только потом — раз — и уже не-Москва! А такого, что вот здесь точно Москва, а вот здесь точно не-Москва — нет. Москва перетекает в не-Москву очень трудно. То ли дело Вашингтон! Там сразу всё как на ладони — вот Вашингтон, а вот и не-Вашингтон, и всё уже в не-Вашингтоне не так, как в Вашингтоне, — другая жизнь, другая литература, коммуникации другие, да всё совсем другое.

Русские газеты читать невозможно — в них “а” и “о” напечатаны одним шрифтом! А ведь “а” и “о” на самом деле совершенно разные буквы. И должны печататься в разных шрифтах.

Четыре великие мировые стихии умерли. Земля, вода, огонь, воздух — все взяли и умерли. И вот теперь мы живем в серое, скучное, неинтересное время. Профанное. Пятая стихия — русская литература — держалась дольше других стихий. Но и она тоже кончилась. Нет больше мировых стихий! И вот теперь нас любят неинтересные женщины, мы едим неинтересные пирожные и смотрим неинтересные клипы. Разве наши русские певцы — это певцы?! Разве наши русские клипы — это клипы?! В них мужчина никогда не заменит мужчине собаку или ребёнка. А в клипах зарубежного производства заменит! И как заменит!

Мастиф — дурак! И почему он такой модный? У него же в глазах только одна мысль — что он уже жрал, а вскоре снова обязательно пожрёт. И всё! Больше у него в глазах ничего нет! Да любой худосочный пудель выглядит рядом с ним Декартом! А любой недоношенный терьер — Кантом! Потому что в любой момент готов отдать всего себя людям.

Умер Бродский. Его по-хорошему, по-простому, по-человечески жалко. Но мужчина может заменить мужчине поэта. Конечно, не такого, как Бродский, но какого-нибудь другого — может.

Раз Бродский умер — жизни больше нет и жить не имеет смысла! И при Бродском жизни не было и жить не имело смысла, а раз Бродский умер — тем более!

На днях неизвестными у Коптевского мелкооптового рынка был застрелен в упор один из лидеров солнцевской преступной группировки некий Селиванов. Но что значит его смерть рядом со смертью Бродского? Да ничего она не значит! Что сделал Селиванов для русской литературы? Абсолютно ничего! Селиванов что, явился разве оправданием бессмысленной судьбы целого поколения? Не явился. Ни хуя не явился. А Бродский явился! Разве Селиванов стал символом? Не стал он никаким символом! А Бродский стал! И ещё каким символом! Настоящим, большим, полноценным символом.

Раньше на одеялах писали “голова” и “ноги” — чтобы не перепутать запах ног с аурой головы. А теперь на одеялах не пишут “голова” и “ноги” — и можно легко перепутать запах ног с аурой головы.

“Если я разрушу Берлинскую стену, то не завалю под её обломками русскую литературу? — думал в 1985 году Горбачёв. — Даже если завалю, ничего страшного; придёт Ельцин — он расчистит, — решил Горбачёв”. Но Горбачёв очень плохо знал Ельцина! Ельцин и сам не расчистил, и других не подпустил расчищать.

Мир застыл на месте. В жизни ничего не происходит. Ситуация хуя и пизды катастрофически себя исчерпала. А если втиснуть хуй в чужую жопу или самому подставить жопу под чужой хуй — тогда в жизни всё сразу может измениться, мир сдвинется с места и засверкает новыми разноцветными красками.

Весь мир делится на тех, кто готов любить мужчину, сам являясь женщиной, и на тех, кто не готов любить мужчину, сам являясь при этом женщиной. Кто готов — тот молодец! Тот голубой! Ему принадлежит весь мир. А кто не готов — тот дурак, недотёпа и голубец, то есть недоделанный голубой.

Вот русские писатели совершенно не умеют писать про голубых. Они умеют писать только про недоделанных голубых, то есть про голубцов. А вот американские писатели очень хорошо умеют писать про голубых и совершенно не пишут про голубцов, и не потому вовсе, что не умеют, а просто не хотят. А русские писатели, даже если очень захотят написать про голубых, то не сумеют; в результате у них всё равно выйдет про голубцов. Поэтому русский писатель значительно слабее американского — если американский писатель заденет плечом русского писателя, то русский писатель упадёт, ёбнется и гикнется, а если русский писатель заденет плечом американского писателя, то американскому писателю будет хоть бы хны. Если американский писатель харкнет в русского писателя, то русский писатель где стоит, там и захлебнётся, если же русский писатель харкнет в американского писателя, то американский писатель утрётся и как ни в чём не бывало побежит дальше по своим американским литературным делам.

Вот если бы я был Хемингуэй, то не валял бы дурака, а учил бы русского писателя писать про голубых и запрещал бы русскому писателю носиться с голубцами как с писаной торбой. Ведь что такое русский литературный опыт рядом с американским литературным опытом? Полная великая поебень.

И если бы я был Хем, то русский писатель получал бы у меня просто каждый раз по ободу, если бы плохо написал про голубых; или хорошо про голубцов. “Учись, русский писатель, писать про голубых”, — приговаривал бы я, Хем, давая русскому писателю пизды исключительно для его же русской писательской пользы.

Поэтому русская литература и умерла, что так и не научилась писать про голубых, а всю себя истратила на голубцов; и больше других в этом виновен Хемингуэй.

Однажды я честно пытался стать голубым. Но у меня не получилось. Это не у каждого может получиться! В жизни далеко не всегда есть место подвигу! В жизни также не всегда бывает место и для жизни. Поэтому у меня и не получилось! С тех пор я навсегда остался голубцом.

Скоро в этом мире всё будет принадлежать голубым. Голубые будут в нем хозяева, а мы, голубцы, будем у них слуги. Голубые будут ворковать как голуби под защитой голубого бога, а настоящие голуби станут в своих ласковых клювах носить весточки от голубого к голубому, мимоходом роняя дерьмо на нас, голубцов. Все приличные книги будут написаны только голубыми, и поэтому и книги все будут тоже только голубые. Ну, может быть, какой-нибудь голубец и напи-

шет случайно иной раз вдруг приличную книгу, но это будет из ряла вон исключением. Все мысли вслед за книгами будут также только голубыми. И все журналисты. А про блядей и говорить нечего! Все бляди, естественно, тоже будут только голубыми. Женщинам придётся искать другую профессию. Даже сыроежки, милые такие грибы, будут только голубого цвета. Носить будут, конечно, только голубое. И есть будут только голубое. Это голубые, освещённые лучами голубого солнца, за голубым столом голубой вилкой будут есть нас, голубцов, густо поливая сметаной — чтобы во рту оставалось меньше горечи!

Всё будет голубым, как в старой, доброй, банальной до безобразия и потому ещё более доброй песне, в которой все счастливы, все во что-то верят и нет даже намёка на то, что скоро всё развалится на хуй, из Мавзолея едва не вынесут Ленина, машины вокруг Кремля поедут по часовой стрелке, на Тверской откроется модный магазин и, не выдержав всего этого, лопнет самая длинная, самая крепкая, самая лучшая жила русского тела — жила русской литературы.

*Михаил Эпштейн*

## О НОВОЙ СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТИ

Когда мы пытаемся что-то предсказать, нами движет не столько избыток знания, сколько жизненный недостаток. Что мы знаем о 21-ом веке? и тем не менее беремся его предугадывать, единственно потому, что 20-ый век не дал утоления тем нашим потребностям, которые сам же развил: вот мы и переносим их на будущее. Чего-то остро не хватает литературе на исходе 20-го века, и именно это проецируется в 21-ый век, как способ восполнить эмоциональный голод читателей. Не хватает сильных ощущений, вернее, тонких чувств. Ощущений-то вполне хватает, и массовая, низовая, развлекательная литература только и занята бурными чувствами, вспыхивающими между мужчиной и женщиной, преступником и жертвой, спасителем и спасенной... Вся низовая литература, любого периода и народа, всегда ужасающе сентиментальна, но речь сейчас о другом: о том, чтобы чувства приобрели ту многосложность, какую принесла в 20-ый век работа художественного интеллекта. Потому что и сам интеллект уже не может двигаться дальше, не опираясь на свидетельства чувств; все, что порождается в новых витках и звеньях бесконечной саморефлексии, — это плошущая скука и пустота позднейшего постмодернизма.

Умберто Эко отметил, что даже язык чувств в эпоху постмодернизма вынужден прибегать к кавычкам. Слово “люблю” повторялось

уже столько раз, что интеллектуал новейшей формации не скажет своей подруге просто “люблю”, но добавит: “Я люблю тебя, как сказал бы...” — и по своему вкусу добавит имя поэта или мыслителя. Кавычки здесь вполне уместны, поскольку меняют смысл того чувства, которое обозначают. “Люблю” в кавычках — чувство более утонченное, ироничное, уклончиво-обольстительное, чем просто “люблю”. Может быть, это уже не любовь вообще, а нечто другое, выразимое не каким-то определенным словом, а только кавычками. Но если вокруг этих кавычек поставить еще одну пару кавычек, а затем третью, и четвертую, и пятую, то это умножение сложности уже не отзовется в чувстве, а скорее упразднит его. “““““Люблю””””” не означает уже ничего, кроме любви к самим кавычкам. Именно так, по ступеням нарастающей рефлексии без поддержки и отклика чувств, движется современное самоцитатное искусство.

Видимо, близок исход “постмодернистской” эры, обозначившей интеллектуальную усталость 20-го века от самого себя. Век открылся парадным входом в светлое будущее — а закрывается пародией на все прошедшие эпохи. Все, что в небывалом идейном опьянении век успел наскоро проглотить, он теперь извергает в виде муторных самоповторов и глумливых цитат. Перефразируя Венедикта Ерофеева, можно сказать, что в каждом веке есть физическая, духовная и мистическая сторона\* — и теперь наш век тошнит со всех трех сторон, особенно в шестой части света, сильнее других пострадавшей от запоя. Извергаются проглоченные территории, загаженные куски природы, прокисшие идеи основоположников — и все, что так горячило и опьяняло, теперь холодной рвотной массой заливают место недавнего пира.

Век устал от себя — но уже накопилась усталость и от самой этой усталости, и столетие лень множить свои тускнеющие отражения в зеркалах все новых пародий... Нарастает чувство какой-то новой серьезности, проверяющей себя на смех — и не смеющейся. Проверяющей себя на смелость — и не смеющейся. Очень тихой серьезности, похожей на малодушие, на боязнь что-то вспугнуть и непоправимо разрушить во мне самом и в мире без меня. “О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив!..\*\*

И вот, в творчестве того же Венедикта Ерофеева, нам приоткрывается сентиментальность на каком-то новом витке ее развития, сентиментальность, уже включившая карнавальную и пародийную эффект и растворившая их в себе. Не безумие ли предположить, что 21-ый век может стать веком сентиментальности? И как 20-ый век искал себе провидческих сходств в эпохе барокко, с ее фантастиче-

---

\*Венедикт Ерофеев. “Москва — Петушки”. Москва—Петербург. Интербрук. 1990, сс. 18-19.

\*\*Москва — Петушки, с. 21.

ским изыском, драматическим напряжением и бьющей через край энергией, так 21-ый обратится к сентиментальности, задумчивости, тихой медитации, тонкой меланхолии? Все громкое будет нас раздражать: взрывы гнева, взрывы хохота. Восстание масс, о котором пророчил Ортега-и-Гассет, подойдет к концу, а с ним завершится эстетика революции и карнавала. Люди станут вслушиваться в себя и, быть может, даже услышат голоса ангелов. Уголками носовых платков они будут оттирать слезы невинных младенцев, но не станут из-за каждой детской слезинки восставать на Бога и менять порядок мироздания.

Бердяев, как известно, пытался вывести коммунистическую революцию из повышенной сентиментальности русского народа, который, дескать, так чувствителен к чужому страданию, что готов весь несправедный мир сокрушить, лишь бы посочувствовать его жертвам. Вот и Белинский писал о своей неистовой любви к человечеству: “чтобы сделать счастливою часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную”. Но революция — это не зрелая сентиментальность, а скорее, ее выкидыш, стремление избавиться от непосильной ноши чувства. Революция — нетерпение чувств, неумение прочувствовать до конца собственную жалость, — желание оборвать и притупить каждое чувство мгновенным практическим выходом из него.

Сентиментальность в этом смысле противоположна революционности, она обожает чувства сами по себе, как воспитание души и смысл существования. Сентиментальность, собственно, и значит чувствительность. Но чувствительность 21-го века не будет прямым повторением чувствительности 18-го. Она не будет разделять мир на трогательное и ужасное, милое и отвратительное. Она вберет в себя множество противочувствий. Она возвратит себе все, что было отторгнуто от чувствительности и обращено против нее 19-ым и 20-ым веками, — кошмары, фантазмы, катастрофы, революции. Все, что притупляло чувства, будет их заострять. Чувствительность найдет способ улыбаться страшному и закономерному. Улыбка совсем не то, что пародия: это не отрешенность от чувств, а способ противочувствия. Чувствительность освободится от ходячих схем, от того плена, в котором так долго держал ее классицизм, предписывавший правила самим чувствам. Можно будет чувствовать все и по-всякому, вживаться в чувственность каждого предмета и смешивать ее с чувствами от других предметов. Из наследия 18-го века будет больше всего цениться юмор, мягко окутывающий сантименты, и Стерн и Жан Поль станут любимцами 21-го века. И тогда — Бог знает — через Венедикта Ерофеева восстановится преемственность сентиментальной традиции, ведущей из 18-го века в 21-ый. И Веничка, герой смешливой и жалостливой повести “Москва — Петушки”, вдруг найдет себе место на той же полке российской библиотеки, что и карамзинская Лиза, которая, бедная, бросилась в пруд — а он, бедный, напоролся на шило.

Или как герой другого рассказа: “Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось”\*.

Венедикт Ерофеев — первый по времени, но далеко не единственный представитель новой сентиментальности. В конце 1980-х и особенно в начале 1990-х гг. это “ерофеевское” направление становится одним из господствующих в русской литературе. Сергей Гандлевский, один из самых известных поэтов своего поколения, определяет это направление как “критический сентиментализм” и отводит ему центральное место между двумя “крайними” течениями: метареализмом, чересчур “возвышенным”, отстраненным, презирующим современность — и концептуализмом, нарочито “сниженным”, подвергающим насмешке все ходульные идеалы и языковые модели. “Обретаясь между двух полярных стилей, он (критический сентиментализм — М.Э.) заимствует по мере надобности у своих решительных соседей, переиначивая крайности на свой лад: сбивая спеси праведной поэзии, окорачивая шабаш поэзии иронической. Этот способ поэтического мировосприятия драматичнее двух других, потому что эстетика его мало регламентирована, опереться не на что, кроме как на чувство, ум, вкус”.\*\* Здесь, по сути, определяются принципы не только поэзии самого Гандлевского, но и той поэтики “похмелья”, скептической и сентиментальной, сшибающей спесь сначала с трезвого, а потом и с пьяного, которую ввел в новейшую русскую литературу Венедикт Ерофеев.

Знаменательно, что поэты и художники концептуализма, этой радикальнейшей русской версии постмодернизма, оказываются наиболее чувствительными к эстетике сентиментальности. Еще во второй половине 1980-х гг. Дмитрий Пригов, лидер московского концептуализма, провозгласил поворот к “новой искренности”: от жестких концептуальных схем, пародирующих модели советской идеологии, — к лирическому освоению этих мертвых слоев бытия и сознания. Это новая искренность, поскольку она уже предполагает мертвой традиционную искренность, когда поэт вдохновенно отождествляется со своим героем, — и вместе с тем преодолевает ту подчеркнутую отчужденность, безличность, цитатность, которая свойственна концептуализму. Новая искренность — это постцитатное творчество, когда из взаимоотношения авторского голоса и цитируемого материала рождается “мерцающая эстетика” (тоже термин Дмитрия Пригова). “Мерцательное отношение между автором и текстом пришло на смену концептуальности, причем очень трудно определить (не только для

---

\*Венедикт Ерофеев. “Василий Розанов глазами эксцентрика”. Альманах “Зеркала”, М., “Московский рабочий”, 1989, с.32.

\*\*С. Гандлевский. Разрешение от скорби. В кн. *Личное дело* № \_\_\_\_. Литературно-художественный альманах. Москва, В/О “Союзтеатр” СТД СССР. Главная редакция театральной литературы, 1991, с.231.

читателя, но и для автора) степень искренности при погружении в текст и чистоту дистанции при отстранении от него".\* Эта мерцающая эстетика, подобно мерцающей серьезности-иронии у Ерофеева ("транс-ирония"), выводит нас на уровень транс-лиризма, который одинаково чужд и модернистской, и постмодернистской эстетике. Эта "пост-постмодернистская", неосентиментальная эстетика определяется не искренностью автора и не цитатностью стиля, но именно взаимодействием того и другого, с ускользающей гранью их различия, так что и вполне искреннее высказывание воспринимается как тонкая цитатная подделка, а расхожая цитата звучит как пронзительное лирическое признание.

Вот, например, концептуалист Тимур Кибиров, самый популярный поэт 1990-х гг., обращается к другому знаменитому поэту-концептуалисту, Льву Рубинштейну, с такими словами:

Я-то хоть чучмек обычный,  
ты же, извини, еврей!  
Что ж мы плачем неприлично  
Над Россией своей? (...)  
На мосту стоит машина,  
а машина без колес.  
Лев Семеныч! Будь мужчиной —  
не отлынивай от слез! (...)  
В небе темно-бирюзовом  
тихий ангел пролетел.  
Ты успел запомнить, Лева,  
что такое он пропел? (...)  
Осененные листвою,  
небольшие мы с тобой.  
Но спасемся мы с тобою  
Красотою, Красотой!  
Добротой и Правдой, Лева,  
Гефсиманскою слезой,  
влагой свадебной багровой,  
превращенною водой! (...)  
Мы комочки злого праха,  
но душа — теплым-тепла!  
Пасха, Лев Семеныч, Пасха!  
Лева, расправляй крыла! (...)  
В Царстве Божием, о Лева,  
в Царствии Грядущем том,  
Лева, нехристь бесплодный,  
спорим, все мы оживем!\*\*

\*Dmitri Prigov. What more is there to say? In *Third Wave. The New Russian Poetry*, p. 102

\*\*Тимур Кибиров. "Л.С.Рубинштейну" (1987-88), в его кн. *Сантименты* Восемь книг. Белгород. Риск. 1994, сс.172, 179, 181. В пятой строфе — ссылка на евангельские эпизоды: совершенное Христом чудо претворения воды в вино на бракосочетании в Кане Галилейской и предсмертное томление Христа в Гефсиманском саду. Показательно, что сама итоговая книга Кибирова называется

Казалось бы, концептуализм совершенно исключает возможность всерьез, в первичном смысле, употреблять такие слова, как “душа”, “слеза”, “ангел”, “красота”, “добро”, “правда”, “царствие Божие”. Здесь же, на самом взлете концептуализма и как бы на выходе из него, вдруг заново пишутся эти слова, да некоторые еще и с большой буквы, что даже в 19-ом веке выглядело напыщенным и старомодным. В том-то и дело, что эти слова и понятия, за время своего неупотребления, очистились от той спеси и чопорности, которая придавалась им многовековой традицией официального употребления. Они прошли через периоды революционного умерщвления и карнавалового осмеяния, и теперь возвращаются в какой-то трансцендентной прозрачности, легкости, как не от мира сего.

В кибиrowsком тексте, эти выражения — “плачем неприлично”, “душа теплым-тепла”, “спасемся Красотою”<sup>\*</sup> — уже знают о своей пошлости, захватанности, и в то же время предлагают себя как первые попавшиеся и последние оставшиеся слова, которые, в сущности, нечем заменить. Любые попытки найти им замену, выразить то же самое более оригинальным, утонченным, иносказательным способом, будут восприняты как еще более вопиющая пошлость и претенциозность. Цитатность этих слов настолько самоочевидна, что уже вовсе не ограничивает их ироническим контекстом, но предполагает их дальнейшее лирическое освоение. Для концептуализма цитатность — то, что требуется доказать; для постконцептуализма — начальная аксиома, на которой строятся все последующие лирические гипотезы. Если концептуализм демонстрировал заштампованность самых важных, ходовых, возвышенных слов, то смелость постконцептуализма состоит именно в том, чтобы употреблять самые штампованные слова в их прямом, но уже двоящемся смысле, как “отжившие” и “оживающие”. Лирическая искренность и сентиментальность умирают в этих давно отработанных словах, так сказать, смертью попирая смерть.

Это та самая смелость, к которой сам автор призывает своего адресата: “Лев Семеньч! Будь мужчиной — не отлынивай от слез!” Мужество сдержанности осознается как форма трусости, как страх перед банальностью, — и уступает место мужеству несдержанности, лиризму банальности. Есть банальность, есть сознание этой банальности, есть банальность этого сознания и есть, наконец, сознатель-

---

“Сантименты”, и в ней огромная роль принадлежит таким сентиментальным, “душещипательным” жанрам, как идиллия, элегия, послания.

<sup>\*</sup>Чисто концептуальная игра с этим клишированным выражением из “Идиота” Достоевского (“красота спасет мир”) дана в стихотворении Дмитрия Пригова “Течет красавица-Ока...” (о нем см. в моей книге “Парадоксы новизны”, сс.153-154). Это стихотворение, конечно, известно Кибиrowу, который отвечает на приговское закавычивание образа его постконцептуальным раскавычиванием.

ность самой банальности — как способ ее преодоления. Об этом говорит сам Кибиров: “Не избегайте банальности, не сражайтесь с ней напрямую (результат всегда будет трагикомический). Наступайте на нее с тыла; ведите подкоп с той стороны, где язык, сознание и жизнь долгое время, как считалось, находилось в полном подчинении у банальности, где нападение на нее меньше всего ожидается. /.../ В этом, как мне кажется, состоит цель и долг современной поэзии”<sup>\*</sup> Кибировский постконцептуализм, с его “теплой душой”, “тихим ангелом” и “царствием Божьим”, есть развитие ерофеевской транс-иронии, когда словам, вывернутым наизнанку карнавалом, возвращается их первичный, но уже отрешенный, загробный, виртуальный смысл. Транс-сентиментальность — это сентиментальность после смерти сентиментальности, прошедшая через все круги карнавала, иронии и черного юмора, чтобы осознать собственную банальность — и принять ее как неизбежность, как источник нового лиризма.

Становится ясно, что все “банальные” понятия не просто были отменены, они прошли через глубокую метаморфозу и теперь возвращаются с другой стороны, под знаком “транс”. Это относится не только к ерофеевской “транс-иронии” и приговоскому транс-лиризму, но и к тому, что можно назвать транс-утопизмом, т.е. возрождением утопии после ее смерти, после всей ее жесточайшей критики в рамках постмодернистского скепсиса, релятивизма, анти— и постутопического сознания. Вот несколько высказываний московских художников и искусствоведов постконцептуальной волны: “Очень важно сейчас актуализировать проблему универсального. Я понимаю, что это утопия. Делается это совершенно осознанно, да, утопия кончилась, но да здравствует утопия. Утопия дает личности некий более значимый, более масштабный горизонт” (Виктор Мизиано). “Будущее современного искусства — это воля к утопии, прорыв к реальности сквозь пленку цитат, искренность и патетика” (Анатолий Осмоловский).<sup>\*\*</sup> Речь идет о возрождении утопии после смерти утопии — уже не как социального проекта, претендующего на изменение мира, но как нового, более масштабного горизонта личности. Транс-утопизм, транс-патетика — это проекции все той же “лирической” потребности, которая в постмодернизме перешагнула через свое отрицание.

Вообще, если задуматься о возможных названиях новой эпохи, надвигающейся вслед за “постмодернизмом”, то следует особо выде-

---

<sup>\*</sup>Third Wave. The New Russian Poetry. Ed. by Kent Johnson and Stephen Ashby. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1992, p. 224.

<sup>\*\*</sup>Кто есть кто в современном искусстве Москвы. М., Album, 1993 (без пагинации). Виктор Мизиано (род. 1957) — искусствовед, куратор Центра Современного искусства в Москве, член редколлегии “Художественного журнала”. Анатолий Осмоловский (род. 1969) — лидер антиконцептуалистских движений Э.Т.И. и “Революционная конкурирующая программа НЕЦЕЗУДИК”.

лить значение приставки “транс”. Последняя треть 20 века проходила под знаком “пост”, тем самым завершая и отодвигая в прошлое такие явления и понятия Нового времени (modernity), как “истина” и “объективность”, “душа” и “субъективность”, “утопия” и “идейность”, “первозданность” и “оригинальность”, “искренность” и “сентиментальность”. Теперь они возрождаются уже в качестве “транс-субъективности”, “транс-идеализма”, “транс-утопизма”, “транс-оригинальности”, “транс-лиризма”, “транс-сентиментальности”... Это уже не лиризм, прямо рвущийся из души, или идеализм, гордо воспаряющий над миром, или утопизм, агрессивно переустраивающий мир, как в начале 20-го века. Это “как бы” лиризм или “как бы” утопизм, которые знают о своих поражениях, о своей несостоятельности, о своей вторичности — и тем не менее хотят выразить себя именно в форме повтора. Как ни парадоксально, именно через повтор они снова обретают подлинность. Усталые жесты, если они не автоматичны, как в постмодернистской поэтике, полны своего лиризма. В повторе, в цитате есть своя естественность, простота, неизбежность, которой не хватает первичному акту, рождаемому с усилием и претензией на откровение.

Такова вообще судьба оригинальности, которая неминуемо становится подделкой и шаблоном, чтобы уже сам шаблон мог быть воспринят как простое, ненатужное движение души, как новая искренность. И со временем, быть может, сам постмодернизм будет восприниматься как первая, неадекватная реакция на эстетику повтора, когда она еще была неожиданной и требовала, казалось, полного притупления и автоматизации чувств. Постепенно, однако, повтор и цитатность входят в привычку и на их основе возникает новая лирика, для которой ироническое остранение становится началом, а не концом пути.

И если в эпоху постмодернизма даже язык чувств вынужден прибегать к кавычкам, то теперь кавычки уже так впитались в плоть каждого слова, что оно само, без кавычек, несет в себе привкус всех своих прошлых употреблений, привкус вторичности, который стал просто необходим, чтобы на его фоне стала ощутима свежесть его повторного употребления. И когда произносится слово “люблю”, то оно подразумевает: да, так могли бы сказать и Данте, и Мопассан, но это я говорю, и у меня нет другого слова, чтобы высказать то, что оно означает. Транс-цитатное слово содержит презумпцию вины и жест извинения, признание собственной цитатности — и тем самым еще сильнее и увереннее подчеркивает свою безусловность, незаменимость, единственность. Да, люблю, хотя то же самое “люблю” произносили и Данте, и Пушкин, и Мопассан, и Толстой, и Маяковский. Если постмодернистское “люблю” прикрывалось цитатностью, как смысловой лазейкой, в которую субъект высказывания мог скрыться от его прямого смысла и ответственных последствий, то теперь цитатность

подчеркивается, чтобы быть перечеркнутой. Слово сразу расслаивается на цитируемое и надцитатное, произносимое впервые, здесь и сейчас, что открывается простор для новой многозначности.

Если многозначность постмодернизма — это множественность уровней рефлексии, игры, отражения, лепящихся друг на друга кавычек, то многозначность эпохи “транс” — более высокого порядка. Это движение смысла сразу в обе стороны, закавычивания и раскавычивания, так что одно и то же слово звучит как “““““люблю””””” и как Люблю!!! Как “““““царствие божье””””” и как Царствие Божие! Причем одно измерение текста неотделимо от другого, раскавычивание происходит из глубины закавычивания, точно так же, как воскресение происходит из глубины смерти.

*Андрей Ранчин*

## **МЕЖДУ СЛОВОМ И ЖИЗНЬЮ**

**Валерия Нарбикова “Шепот шума”**

“Другой прозой” сейчас читателя не удивишь. Изданы сочинения Саши Соколова, Владимира Сорокина, Евгения Харитонов и многих иных авторов, причисляемых литературными критиками к этому направлению. Понятие “другая проза” или “новая проза” основано на противопоставлении этой литературы и традиции. Установка на описание действительности, на правдоподобие сюжетов, персонажей и ситуаций, психологический анализ, роль оценивающего и судящего этой прозе чужды. В ее мире (или, точнее, мирах, ибо здесь не существует раз и навсегда заданной реальности) правдоподобное и алогичное, абсурдное, невозможное не разграничены. Персонажи условны — они могут раздваиваться, “растраиваться”, склеиваться, слипаться друг с другом. Ангажированности “другая проза” тоже избегает. Ее абсурдные черты, конечно, могут вызвать у читающего ассоциации с нашей повседневностью. Но не надо на них останавливать внимание, искать в них ключ, который отомкнет дверь текста. И вовсе не потому, что, как покажется некоторым, этой двери нет или она — не настоящая, нарисованная. За плоскостью белого листа с буквами подлинно талантливого текста “новой прозы” скрывается многомерное пространство. Просто ориентация в нем невозможна без понимания особых правил, отличных от привычных канонов “старой”, “классической” словесности.

Но противопоставление “старой” и “новой” словесности во многом условно. Авторы “обычной” прозы — Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Набоков, Булгаков, Гроссман, Солженицын (список имен нетрудно продолжить) — писатели, между которыми общего не так уж много. Кроме того, Гоголь или Достоевский не удивляют, не шокируют нас. Для читателей же, воспитанных на повестях Карамзина или романах Загоскина, знакомство с “Мертвыми душами” требовало труда, так же как для нас — с “другой литературой”. Но самое главное — открытия, приемы “других” прозаиков были отчасти уже как бы предсказаны, предугаданы в сочинениях традиционной словесности — и прозаической, и стихотворной.

Скажем, обнажение условности, игра с формой. Пушкинский “Евгений Онегин”, автор которого легко обсуждает, какое имя больше бы пристало якобы реальному своему приятелю. Или героини-маски, “знаки”. Онегин — не только “добрый мальчик”, светский щеголь и поклонник Байрона и Адама Смита, но и причудливый коллаж романтических героев (Мельмота, Чайльд Гарольда); как Татьяна — и провинциальная барышня, чье письмо Онегину свято хранит поэт, и сошедшая со страниц Руссо и Ричардсона сентиментальная героиня, и муза Пушкина. Вспомним и о “раздвоении” судьбы Лескова, который мог бы стать и и пошлым барином, и великим поэтом... Или о героях Достоевского — которые вместе и остросовременные фигуры, и персонажи-символы, участники грандиозного мифа, создаваемого автором по канве библейских сюжетов. А многие персонажи Лескова (хотя бы в хрестоматийном “Левше” и “Очарованном страннике”), сотворенные хитроумным плетением сказа. “Очарованный странник” Иван Флягин — одновременно и быллинный богатырь, и Иван-дурак, и грешник, и почти житийный святой.

Нужно лишь немного — убрать, устранить мотивировку поступков, изъять несколько сюжетных скреп, — и простота правдоподобия рассеется...

Как различны, непохожи друг на друга произведения традиционной словесности, так не схожи и тексты “новой прозы”.

У Валерии Нарбиковой — по-моему, одного из самых интересных “новых” авторов, — основная особенность: повествование не столько о событиях, сколько о языке, на котором (точнее, на которых) описывается происшедшее. Любое действие, поступок узнаются и истолковываются нами лишь в рамках определенных условных норм и представлений: социальных, культурных и литературных, философских и религиозных. То, что является событием в одной системе координат, в другой просто не замечается. И Нарбикова сталкивает в своем монтаже-тексте разные точки зрения, “языки”. И стремится выйти за пределы этих условностей, разорвать замкнутый круг. Чтобы увидеть жизнь “как она есть”. Эта жизнь, не преломленная в призмах культуры, оказывается голой фиксацией событий чисто физических и даже физиологических.

Сюжетная основа романа “Шепот шума”, написанного в 1992-м и два года спустя опубликованного в книге с близким названием “Избранное, или Шепот шума” (издательство “Третья волна”, Париж — Москва — Нью-Йорк, 1994; серия “Библиотека новой русской прозы”, издаваемая Александром Глезером) такова. Девушка по имени Вера знакомится в аэропорту с “одним человеком” по имени Нижин-Вохов (или “Н.-В”) и с его отцом, называемом всеми Свя (от “Святослав”). У Н.-В. есть жена Снандулия (имя, как бы со страниц Гоголя) и любовница Василькиса. У Веры — муж дон Жан и дочка. Вера — художница. Кто-то дает ей номер человека, который мог бы устроить выставку. Им оказывается прежде встреченный Н.-В. Вера любит или, может быть, просто “занимается любовью” сначала с Н.-В., потом со Свя. Свя умирает. Сначала он исчезает потом приходит к Вете мертвый, но занимается любовью, как живой. После он умирает снова: выкапывает в лесу могилу и ложится в нее. Вера оставляет Н.-В.

Смысл романа, конечно, не в сюжете самом по себе — с одной стороны, незамысловато житейском, а с другой — фантазмагорическом. Главное: вопрошание о смысле слов, жизни, событий. Ответа не знают ни герои, ни автор. Автор вообще не знает ничего большего, чем персонажи. Они — как бы частица Нарбиковой, по крайней мере, ее имени. Не случайны созвучие “Вера — Валерия” и анаграмма “Н.-В.” — “Валерия Нарбикова”.

В происходящем осмысленности вроде бы нет. Любит ли Вера Н.-В. или Свя? Или их обоих? Почему она покидает Свя? И вообще что есть любовь? Любовь, брак, Бог — одновременно и высшие ценности, не объяснимые словом, и как бы фикции, плод игры слов и сознания. В ценности можно только верить. Вера же, замечают герои, не возможна без обмана; верят в то, в чем можно обмануться, что нельзя доказать. “Зачем люди женятся? То ли так выходит. То ли по-другому не выходит”. Какова разница между любовью и занятием ею? И сколько раз нужно заниматься любовью, чтобы это стало событием? а чтобы романом? а чтобы настоящей страстью?

Разлад, невозможность коммуникации, подлинного соединения людей характерны для мира Нарбиковой. Человек отчужден от власти: они, номенклатура — другие. Советские магазины лишены товаров. Зарплата платится только на бумаге. Человек не совпадает со своей ролью — не только социальной, но иногда и биологической (характерны женское или среднего рода имя Свя, лишенная признаков грамматического рода сокращение “Н.-В”, разговоры Веры с мужем о гомосексуализме). Любимая Н.-В. — Вера, жена — Снандулия, мать будущего ребенка — Василькиса. Три роли могли бы соединиться в одной женщине, но не соединяются.

Имя персонажа никак не соответствует поведению. В дон Жане нет ничего “донжуанского”, в Свя видит святость один из его знакомых, но почему — неизвестно.

Мир героев Нарбиковой странен, несовершенен, в чем-то ущербен, но не трагичен. Трагедия придавала бы событиям ограничивающий и ограниченный смысл. У Нарбиковой же и любовь, и разрывы, и смерти одновременно и серьезны, и эфемерны, иллюзорны. Не случайно мертвые и живые встречаются в “Шепоте дума” друг с другом, и никого это не удивляет.

Художественная реальность, мир “Шепота шума” вообще крайне зыбки. Их творит язык. Про один из разговоров Н.-В. и Свя так и сказано: “...этот разговор имел какое-то свое собственное право на Свя и Нижин-Вохова. Мало того, э т о т разговор был именно и х разговором, он мог происходить только между Свя и Нижин-Воховым, и этот разговор уже знал их абсолютно. Получалось, что даже не они имели этот разговор, а этот разговор имел их”.

Фантастические образы, сочетания и превращения вещей рождены игрой словесных ассоциаций. Лифт вдруг становится самолетом: ведь и тот, и другой перемещаются в воздухе. Люди сидят в аэропорту, ожидая самолет, и одновременно ходят, лежат, спят, едят и бодрствуют: сталкиваются два значения глагола “сидеть” — узкое и широкое — “ждать”.

Персонажи Нарбиковой постоянно горорят о высшем начале, о Боге, но как бы и знают, и не знают Его одновременно. Мир Нарбиковой — это мир неопределенности, сослагательного наклонения. Первая проблема для героев — найти единый Смысл в совершенно не связанных между собою вещах. Человек — образ и подобие Божие. Но тогда его можно назвать и “ожившей религиозной спермой”. Зазор между земным и сверхреальным ощущается, и для героев “Шепота шума” он непреодолим. Непреодолимы различия между целым и отдельными сущностями. Бог един и в то же время он — в Трех Лицах. Христиане делятся на католиков и православных. Но кем — католиком или православным — был Христос (“детский” вопрос Веринной дочери)? Нарбикова и ее персонажи стремятся и сохранить себя от одного, цельного взгляда на мир, и соединить распадающиеся образы и вещи. Н.-В. и Вера одновременно верят и кощунствуют над верой, любят и низводят любовь до голой чувственности.

Отношения Н.-В. с тремя женщинами и Веры с тремя мужчинами и приземленносексуальны, и словно бы религиозны. Не случайны эти тройственные, тройные образы, в которых предстают женское начало Нижин-Вохову и мужское — Вере. Свя и Н.-В. напоминают о Боге — Отце и Сыне. Снятием всех антитез, противоречий, оказывается, может быть, лишь смерть Свя, возвращение в чрево-лоно Матери-Земли.

Роман Нарбиковой — поиск дочеловеческого, до- и внесловесного смысла-бессмыслицы жизни, ее шума. “И нет ничего противней человеческого шума. Потому что он членораздельный. Шум состоит из

слов, слова составляют смысл, а шум есть полная бессмыслица. А в шуме моря нет смысла, и в шуме ветра смысла нет”.

Такое направление поиска исключает однозначный итог.

Можно по-разному относиться к роману Валерии Нарбиковой. Иные читатели, привыкшие к традиционной словесности, вероятно, не примут “Шепот шума”, не услышат его голоса. Людей религиозных покоробят, оттолкнут рассуждения о Боге и вере. (Впрочем, стоит помнить, что автор прямо не отвечает за мысли героев.) Но, несомненно, роман Валерии Нарбиковой заслуживает внимательного чтения. Оригинальностью стиля. И еще потому, что (как это ни странно на первый взгляд) Нарбикова уловила и отразила одну из граней той реальности, которую, за неимением более точного слова, можно назвать духом нашего времени и культуры.

Рубрику ведет Сергей Юрьенен

## 2000 СЛОВ — УЖЕ МНОГО!

### Американский жанр сверхкраткого рассказа

Жанр в России небезызвестный, но куда менее престижный, нежели в литературе Соединенных Штатов — очень короткий рассказ. Так называется первый классический, переведенный нами заново и намеренно (ввиду неточностей в канонизированном переводе Н. Гергиевской) текст размером в 840 слов — простых и честных. Текст второй — молодой минималистки Элизабет Таллент — взят из антологии лучших американских рассказов. Как и следующий — в четыре раза короче предыдущего — Барбары Гринберг. В США сверхкраткий рассказ настолько популярен, что жанру пытаются найти свое название: мини-проза, шорт-шорт, рассказ “врасплох” и даже вовсе не “рассказ”, а “расс” или, если угодно, “взрыв”. Один из таких мини-“взрывов” прозвучал в начале 80-х в аудитории Колумбийского университета, где на семинаре по искусству прозы, который вел писатель Гордон Лиш, девятнадцатилетний студент Дэвид Орлэн огласил свое сочинение в 1048 слов — с тех пор его переиздают в соответствующих антологиях.

Помимо неизменного Чехова, мастера сверхкраткости, американцы среди учителей ино гда называют и русских 20-го века: Бабель, Платонов (жаль, не Александра Солженицына, среди “крохоток” которого есть такой шедевр русского “шорт-шорт”, как “Пасхальный крестный ход”). Джой Карол Оутс, которую в России знают давно и хорошо, пишет: “Мы любим читать и писать эту мини-прозу, поскольку

ку она экстремальна: так крепко сжата, так мощно заряжена... Форма, конечно, будучи современной, еще и безвременна, она стара настолько, насколько древен человеческий инстинкт, который пытается совместить в структуре слов силу и краткость". Подборку "Стрельца" завершают еще 907 слов, сливающихся военно-воздушные силы США с поэзией в одной метафоре: это лучший, как считают критики и коллеги по перу — "северяне", писатель американского Юга после Фолкнера: неподобный Барри Хэнна.

Кроме Хемингуэя, мини-тексты современных американцев печатаются по-русски впервые.

С.Ю.

*Эрнест Хемингуэй*

## ОЧЕНЬ КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Жарким вечером в Падуе его вынесли на крышу, и он смог взглянуть сверху на этот город. В небе летали стрижи. Скоро стемнело, и зажглись прожектора. Все пошло вниз и унесло с собой бутылки. Он и Люз слышали их голоса внизу на балконе. Люз присела на край кровати. Она была свежей и прохладной в духоте ночи.

Уже три месяца Люз дежурила по ночам. В этом ей охотно шли навстречу. Она сама готовила его к операции; у них была шутка насчет дружка или клизмы. Под анестезией он старался не потерять контроля над собой, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего в приступе глупой болтливости. Когда он встал на костыли, он начал сам разносить градусники, чтобы Люз не нужно было вставать с постели. Раненых было мало, и все были в курсе. Все они любили Люз. На обратном пути через холл он думал о том, что Люз лежит в его постели.

Когда пришло время возвращаться на фронт, они пошли в Дуото и помолились. Было сумрачно и покойно, и другие люди молились тоже. Они хотели пожениться, но времени для оглашения не оставалось, и у них не было с собой свидетельств о рождении. Они чувствовали себя мужем и женой, но им хотелось, чтобы об этом знали все, — сделать так, чтобы этого не потерять.

Люз написала ему много писем, которые он получил только после перемирия. Пятнадцать пришло на фронт одной связкой, и он разобрал их по датам и залпом прочел все подряд. Все они были о госпитале, и как сильно она его любит, и как невозможно без него, и как жутко не хватает его по ночам.

После перемирия они сошлись на том, что он поедет домой и найдет работу, чтобы они могли пожениться. Люз не придет к нему

до тех пор, пока он не найдет хорошую работу и сможет встретить ее в Нью-Йорке. Было решено, что он не будет пить и встречаться со своими друзьями и вообще ни с кем в Штатах. Только лишь одно — найти работу и пожениться. В поезде из Падуи в Милан они поссорились из-за того, что она не хотела ехать с ним сразу же. Когда пришла пора прощаться, на миланском вокзале, они поцеловались, еще не помирившись. От такого прощания ему стало нехорошо.

В Генуе он сел на пароход, отходивший в Америку. Люз вернулась в Порденоне, где открывался новый госпиталь. Там было одиноко и дождливо, а в городе стоял батальон ардити — ударных частей итальянской армии. Коротая зиму в грязном сыром городишке, батальонный майор занялся любовью с Люз, а она до этого еще не знала итальянцев, и в конце концов написала в Штаты, что у них было только детское увлечение. Она просила прощения и высказывала уверенность, что он, возможно, окажется неспособным ее понять, но когда-нибудь сможет ее простить и будет ей благодарен, а теперь она собирается, совершенно неожиданно для себя, выйти замуж весной. Она любит его по-прежнему, но теперь она осознала, что это только любовь мальчика и девочки. Она надеется, что перед ним большое будущее, и верит в него абсолютно. Она знает, что так оно к лучшему.

Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на свое письмо. А он вскоре после того заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, катаясь с ней в таксомоторе по Линкольн-парку.

*Элизабет Таллент*

## НИКТО НЕ ТАЙНА

На мое восемнадцатилетие Джек подарил мне дневник с датами на пять лет вперед — с замочком и ключиком, блестящим, как десятицентовая монетка. Я сидела с ним рядом, щелкая замком, который, похоже, заклинило, когда Джек сказал, что нас догоняет “кадиллак” его жены. Он спихнул меня на грязный пол своего пикапа и придавил своей ладонью. Вдыхая запах его сигарет из пепельницы на приборной доске, я подпевала Розанн Кэп из автомагнитолы. Мы пили текилу, и бутылка была у него между ног, зажатая в паху, где ткань его “ливайсов” выцвела до белизны, хотя джинсы были почти новыми. Не знаю почему, но его джинсы всегда так выцветают — вдоль швов и на коленях. Зиппер на выпуклости сиял как золотой.

— Точно! Она, — сказал он. — Даже днем она ездит с включенными фарами. Ничто меня так не раздражает в женщине, как это...

— Он увидел, что я не собираюсь вскакивать, снял руку с моей головы и запустил пятерню в свои темные волосы.

— А зачем она это делает? — спросила я.

— Считает, что так безопасней. Хотя какая опасность? Водит она на скорости точно пятьдесят пять миль в час. Она верит в эти знаки: “Скорость контролируется вертолетами сверху”. В небе никого, но это ей неважно.

— Джек, она заметит, что ты двигаешь губами. И поймет, что ты с кем-то говоришь.

— Решит, что я пою под радио.

Руки он не поднял, в знак приветствия просто вскинул пальцы, оставляя тяжесть ладони на руле, и я услышала, как “кадиллак” в ответ бибикнул дважды. Джек вел на скорости восемьдесят миль в час. Я изучала его сапоги. Лосиные головы, вышитые на коже, лохматились обтрепанными нитями, носки повытерлись, а между каблуками и подошвами вьелся засохший навоз — эти сапоги он носил все два года, что я его знала. Из кассетника Розанн Кэш пела: “Никто меня не достает, никто не тайна”.

— Как ты считаешь, звездой она становится из-за своего отца или только благодаря себе? — спросил Джек.

— У тебя на полу куча коробок от кассет, ты хоть об этом знаешь? Какой-нибудь ребенок может поранить ногу, Джек.

— Кроме тебя, никакие дети в мой пикап не залезают.

— И почему это у тебя тут так грязно?

— И почему это, — передразнил он меня. — Даже говоришь ты, как ребенок. Можешь, если хочешь, залезть обратно на сиденье. Смотреть назад она не станет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, и все, — сказал он. — Как знаю, что на ужин мне дадут мясные консервы. Как знаю, что ты станешь писать в своем дневнике.

— А что я стану писать? — Забравшись с коленями на сиденье, я оглянулась и увидела бабочку пыли, которая отпечалась на моих джинсах. За опущенными стеклами Вайоминг дрожал в жару. Пшеничное поле было желтым и четко разделялось узкой грязной дорогой. Я различала запах воды из оросительных канав, невидимых в пшенице.

— Сегодня вечером ты напишешь: “Я люблю Джека. Это его подарок мне на день рождения. Не могу себе представить, что кто-то любит кого-то больше, чем я люблю Джека”.

— А я и не могу.

— А через год ты напишешь: “Странно, что я нашла в Джеке. Почему я провела столько дней, катаясь в его пикапе? Правда, конечно, что он научил меня кое-чему в смысле секса. Но правда и то, что в Шейенн ничего другого особенно и делать было нечего.

— Этого я не напишу.

— А через два года ты напишешь: “Не могу вспомнить, как звали того парня не первой молодости, у которого были кудри, грязный плакат и тюряга за плечами”.

— Этого я не напишу.

— Не напишешь?

— Сегодня я напишу: “Я люблю Джека. Это его подарок на мой день рождения. Не могу себе представить, что кто-нибудь может любить кого-нибудь больше, чем я люблю Джека”.

— Нет, не можешь, — сказал он. — Этого ты представить себе не можешь.

— А через год я напишу: “Джек вот-вот придет домой. Стол уже накрыт — скатерть моей бабушки, и ее старое серебро, и желтые свечи с нашей свадьбы, — но я не знаю, смогу ли я дожждаться, когда мы покончим с форелью по-наварски, чтобы заняться любовью”.

— Похоже, надо мне разводиться поскорей.

— А через два года я напишу: “Джек уже должен быть дома. Маленький Джек уже хочет есть. Кроме “мама” и “папа” он сказал сегодня свое первое слово. Он сказал: “Кака”.

Джек засмеялся.

— И при этом, наверно, пальцем размазывал свое кака по стене в ванной.

— А через три года я напишу: “Мои соски саднит немного от кормления Элизы Розамунды”.

— Розамунда. Почему каждая девочка должна иметь второе имя, которое она ненавидит?

— “Ее дыхание пахнет ванилью, а глаза у нее голубые, как у Джека”.

— Красиво, — сказал Джек.

— Так какие записи тебе больше нравятся?

— Твои, — сказал Джек. — Но верю я в свои.

— Ну и верь. А я верю в свои.

— Нет. В глубине души ты все-таки не веришь.

— Ошибаешься.

— Нет, не ошибаюсь, — сказал он. — А ее дыхание будет пахнуть, как твое молоко, и это будет горько-сладкий запах, если хочешь знать всю правду до конца.

*Барбара Гринберг*

## **ВАЖНЫЕ ВЕЩИ**

Годами эти дети хныкают и пристают:

— Скажи нам, скажи нам.

Вы обещали сказать детям когда-нибудь потом, когда они станут большими.

И вот дети смотрят вам прямо в глаза и скалят зубы.

- Скажи нам.
- Что вам сказать? — говорите вы бесхитростно.
- Скажи нам важные вещи.

Вы говорите вашим детям, что континентов шесть, а океанов пять или наоборот. Вы говорите детям то небольшое, что знаете про секс. Ваши дети говорят вам, что есть слова лучше, чем то, что вы выбрали назвать Супружеским Объятием.

Вы говорите вашим детям, что они должны быть честными перед собой. Они говорят, что они честны перед собой. Вы говорите им, что они врут, вы всегда знаете, когда они врут. Они говорят вам, у тебя крыша поехала. Вы говорите им, следите за своим языком. Они думают, что вы шутите; они смеются.

В глазах у вас слезы. Вы говорите детям, что после заката будет тьма, что начинается прилив, что трава вырастет снова, что всякому овощу свое время. Вы рассказываете им сказку о солдатике, правая рука которого, отданная в борьбе за правое дело, выросла снова.

Вы говорите, что, не будь Зла, мы не могли бы испытывать удовлетворения, выбирая Добро. И если бы не было боли, мы никогда бы не узнали нашей величайшей радости — избавления от нее.

Вы предлагаете испечь им пирог с шоколадной обливкой, их любимый.

- Скажи нам, — говорят дети.

И вы говорите вашим детям:

- Я умру.
- Когда?
- Однажды.

Они разочарованы:

- О-о...

Вы говорите вашим детям, что они тоже умрут. Они уже знают об этом.

Ничего другого, чтобы сказать детям, придумать вы не можете. Простите, говорите вы. Простите меня, дети. Но детям надоели ваши извинения.

— Обещание есть обещание, — говорят дети. Они дадут вам еще один шанс сказать им по вашей доброй воле. Если ды им не скажете, они будут вынуждены прибегнуть к попытке.

*Дэвид Ордэн*

## **МАМА ВОТ-ВОТ ВОРВЕТСЯ В ДВЕРЬ**

Мама умерла, когда делала мне сандвич. Если бы я знал, что это ее убьет, я никогда бы не попросил. Это никогда не убивало ее раньше, так почему вдруг? Отец этого не понял тоже. Но мы об этом с ним

не говорим. Мы совсем об этом не говорим. Иногда мы пытаемся. А иногда за ужином мы просто молчим, он и я, и все почти хорошо.

Но только иногда.

Чаще все по-другому. Чаще я забываю не накрыть ей на стол. И потом мы не знаем, что делать. Потом мы даже не пытаемся говорить. Три тарелки. Три стакана. Кухня сияет. Яркая, сияющая кухня, говорила мама. И на ней мы — отец, ее место и я. И каждую минуту мама может ворваться в дверь, вся в коробках и пакетах, мой большой зимний плащ делает квадратными ее плечи и бедра, ее лицо смеется и морщится, как домашнее растение.

Напрасно я так.

Надо было знать больше о всех этих вещах.

Да ладно, мама? Что, тебя убьет сделать мне сэндвич? Действительно убьет? Помнишь, как ты играла со мной? Помнишь? А потом я подкрался сзади к ее креслу, вынул у нее бигуди и стал расчесывать ей пальцами волосы до тех пор, пока она не сказала, ну ладно, с чем ты его хочешь? И она поднялась, повернулась к моему отцу и распахнула свой купальный халат, чтобы он смог удостовериться, что порох еще в пороховнице. Но я не думаю, что порох еще был. Подумаешь, сказал он. Какая невидаль! Сделай сэндвич, сказал он. И растекся всем телом, как пудинг, в своем кресле.

Так это было. Это было последнее, что он сказал ей. Мама выключила телевизор, пошла на кухню, и затем мы осознали, что она зовет на помощь.

Отец, он знал, что происходит, не больше моего, так что он встал со своего кресла, протаскился через комнату — стараясь на ходу выложить свои ноги, чтобы вывести ее на этот раз из себя по-настоящему, — вот и все. Мама лежала мертвой в кухне на полу, ее халат распахнут на груди.

И я подумал, так, мама умерла, и что теперь? Никто об этом никогда не думает. Никто не думает о том, что случится после того, как вы найдете вашу мать мертвой вот так на полу в кухне. Но я вам говорю, вот тогда и начинается самое интересное. Это когда вы должны пытаться делать рот в рот — родной нашей матери, Господи! — зная, что, если она очнется, она плюнет вам в лицо, потому что это то, что происходит, но вы все равно молитесь, надеясь на это, потому что, если она не очнется и не плюнет, тогда все кончено. Вот тогда вы должны вызывать “скорую” и ждать, когда они накроют ее простыней с головой, чтобы унести ее от вас. Вот тогда вы должны сидеть и смотреть, как они трогают своими руками ее тело, и сознавать, что они никогда не поверят, что вы пытались ее спасти. Когда соседи видят мигающий красный свет у вашего дома и спрашивают себя, что это за подонок сын, что не сумел спасти свою мать. Вот тогда вам остается вся ваша жизнь, которая вся будет состоять из оправданий, что вы не сумели ее спасти. И что вам делать? Мы не знали, так что отец переложил ее на диван, и мы стали ждать. Мы ждали и смотрели телевизор.

Он был включен.

Но, как я уже сказал, мы об этом много не говорим. Как мы можем? Говорила у нас мама. Вот что она обычно говорила. Обычно она говорила: “Ребята, что бы вы делали без меня?” И вот мы тут без нее. Мы с отцом не нашли бы, что сказать друг другу, даже если бы нам за это платили, так что мы даже не пытаемся. Во всяком случае, не очень. Что я ему скажу? Как твоя любовная жизнь? Как тебе спится одному в постели? Этого он хочет. То есть совсем не хочет. Он хочет, чтобы я ушел из дому. Но, знаете, он в общем-то этого не очень и хочет. Что бы он делал тогда? Шесть комнат — это может оказаться слишком много, если ты к этому не готов. Иногда за обедом я говорю ему об этом. Я говорю ему, что я ему очень нужен. Как я ему важен. Но я ему не важен. Ему важны кухня, халат и то, что я делал, пытаясь спасти его жену. Мои руки. Ее тело. Мои губы. Ее рот.

“Скажи мне, — говорит он, — неужели ты хочешь сохранить ее в памяти именно такой?”

*Барри Хэнна*

## ДАЖЕ В ГРЕНЛАНДИИ

Я сидел на радаре. То есть не делал ничего.

Мы поднялись на 75 000 футов, просто так, для кайфа. Думаю, мы были еще в Мексике на пути в Мирамар и, между прочим, на истребителе Ф-14. Хотя это все неважно после того, как земля была увидена с такой высоты. Тогда все остальное теряет смысл. У нас уже было три утренние зари. Это, наверное, и называется — день прожит не зря.

И вдруг...

— Джон, — сказал я, — самолет горит.

— Это я знаю, — сказал он.

Джон был отрывист и злился на себя.

— Есть какие-нибудь предсмертные мысли?

— Ага. Уже прокрутил пару. Но как-то они меня не вдохновили.

Не отражают они момента. Стиль слабоват, — сказал Джон.

— У тебя была фора. Ты знал об этом до жень, — сказал я.

— Ага, и хотел тебя удивить. Чтобы это застало тебя врасплох. И тогда все, чтобы ты ни сказал, было бы графоманией. А я бы произнес нечто гениальное, — сказал он.

— Но у тебя не вышло, — сказал я. — Так?

Он сказал:

— Не вышло. Ничего эдакого в голову мне не пришло.

Крылья стали наливать красным. Пожалуй, можно назвать этот цвет красным. Это было зарево на темно-синем фоне, который был цвета мистического фламинго, очень космическим, как живая кровь. Вроде того, что самолет истекает кровью?

— В Перу провел время хорошо? — спросил я.

— Не особенно, — сказал Джон. — Должен тебе кое-что сказать. Хорошего времени у меня не было уже давно. Что-то возникло между мной и “хорошим временем” с тех пор, как мне исполнилось двадцать восемь или около того. Я многое повидал, но, знаешь, ничего не увидел. Как будто это было уже видно кем-то до меня. Свежести не было. Чьи-то глаза все до этого стерли.

— Даже там, в Мериде? — спросил я.

— Даже там, — сказал Джон.

— Даже в Тибете где ты встретил свою жену? Красавицу американку, забравшуюся туда чисто случайно? — спросил я.

— Даже там, — сказал Джон.

— Даже в Гренландии? — спросил я.

Джон сказал:

— Да. Даже в Гренландии. Свежесть там есть, но не та. Следы на снегу.

— Может быть, — сказал я, — ты думаешь о Миссисипи, когда идет снег, а ты еще пацан. И ты встаешь первым, и никого на снегу не было, никаких следов.

— Заткнись, — сказал Джон.

— Что, мордобой устроим в момент смерти? Еще и это добавим к горящему самолету?

— Заткнись! Заткнись! — закричал Джон. Джон был вне себя.

— В чем дело? — спросил я.

Он не суетился с рукоятью управления или контрольными приборами. Может быть, мы и горели, высоту держали. 50 000 футов. Мы отнюдь не спешили к земле.

— Так что, Джон? — сказал я.

Джон сказал:

— Сукин ты сын, это был мой образ — снег в Миссисипи. А ты смешал его с говном.

Страницы с его планшета разлетались по кабине, и я видел, как он яростно размахивал рукой с карандашом.

— Это было мое, мое, пидар ты гнойный! — Листочки бумаги присосались к радару. — Понимаешь, о чем я?

Странички свисали сверху, а прямо над ними стояла большая луна.

— Катапультируйся! Спасай свою шкуру! — сказал Джон.

Но я сказал:

— А ты как же, Джон?

Джон сказал:

— Я остаюсь. Только оставь мне мой снег в Миссисипи!

— Но ты же не сможешь, — сказал я.  
Но он смог.

Мы с Селестой выходим на выжженное место среди блондинистого песка под одной из этих черных романтических и никому не нужных гор милях в пяти от базы Мирамар.

Теперь я капитан. Но, честно говоря, меня все еще слегка трясет, когда я гоняю “Скайхок” в Малибу и обратно.

Селеста и я, мы сидим на песке и ничего не говорим, глядим на выжженное. Все железо они убрали.

Я не знаю, о чем Селеста говорит или что она думает, настолько я ушел в себя — полный паралич.

Вот он передо мной, сбанный триумф этого Джона.

Его шедевр.

*Перевод С. Юрьенена*

*Амари*

## СТИХОТВОРЕНИЯ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Амарі... Имя поэта звучит как французское. Но это был русский поэт, сохранивший и в эмиграции чистоту родного языка, ставший носителем русской культуры. Михаил Осипович Цетлин (1882-1945) родился в состоятельной московской семье. Быть может, именно из противоречия с ее традициями юноша вместе с друзьями увлекается идеями революционной борьбы и вступает в партию эсеров. Первые буквы имен его друзей и образовали впоследствии этот загадочный поэтический псевдоним — Амари.

Стихи он писал с юности. В 1906 году вышла первая его поэтическая книга, благосклонно встреченная прогрессивной критикой. Амари воспевал романтику служения народу. Но был и подтекст — в стихотворении “Он ушел на утренней заре” одиночество свободолюбивого юноши-борца — это и одиночество непонятого окружающими творческого человека — поэта или художника, как, например, Ван Гог, герой другого стихотворения Амари.

Когда революционное движение в том же 1906 году пошло на убыль, угроза ареста заставила Амари бежать во Францию. Таким образом, из будущих поэтов “парижской ноты” он чуть ли не первым оказался в этой стране, да и в самом Париже (в 1911 году). После февральской революции 1917 года Цетлин с женой Марией возвращается в Россию, где оказывается в центре если не политической, то

уж, по крайней мере, поэтической жизни. Он организует поэтические вечера, издает коллективный сборник “Весна поэтов”. Но обстановка в стране постепенно менялась, начались преследования эсеров, на сей раз со стороны большевиков. Пришлось уезжать снова, теперь уже навсегда. Да и большевистская Россия, “быть может, великая”, но “мерзкая, злая”, была чужда поэту, лелеявшему идеалы свободы.

В начале 20-х годов в Париже оказалось много русских литераторов. Большинство из них бедствовало, и чета Цетлиных помогала им материально, чем буквально спасла некоторых из них. Для поэтов всегда была открыта дверь литературно-художественного салона в доме Цетлиных. Здесь выступали Бальмонт и Бунин, Ходасевич и Поплавский, а также Рильке, Арагон и многие другие. Сам Амари также выступал с чтением стихов, публиковался в эмигрантских литературных журналах, а в одном из них — в “Современных записках” — в течение двадцати лет вел отдел поэзии. Упомянем также, что он был одним из лучших в те времена литературных критиков.

В своих стихах Амари уже не воспевает романтику подвига — настало время осмысления. В одну из лучших его книг “Кровь на снегу” (1939) вошли стихи о декабристах. Быть может, размышляя об их участи, поэт думал и о судьбах своих друзей юности. Одно из самых сильных стихотворений — “Письмо Каховского императору” — написано непривычным в те времена свободным стихом; однако интересно оно не только этим, но и неожиданной своей злободневностью (например, размышления о конституции и законах). Впрочем, настоящие стихи живут своей жизнью и в каждую эпоху звучат по-новому.

*Анатолий Кудрявицкий*

\*\*\*

Я не знаю, играет ли сладостный хмель,  
Золотой жужжит ли в нем шмель,  
Но ужалено сердце любовью такой  
И такой пьянящей тоской!

О шмель волшебный, жужжи, гуди!  
Трепещи, ворожи в груди.  
Как сияют, как искрятся крыльца твои  
Многоцветной пылью любви!

## ВАН ГОГ

*Н.С. Гончаровой*

О бедный безумец Ван Гог, Ван Гог!  
Как гонг печальный звучит твое имя...

Сновидец небывалых снов, Ван Гог!  
Стою, захвачен вихрями-холстами.  
Кто показать с такою силой мог,  
Как жадными, несъгтыми устами  
Подсолнечники желтые, как пламя,  
Пьют солнца раскаленно-белый ток?  
Пэрою ты, как буйный демагог,  
Вопишь с холста, и краски — бунт и знамя.

О красные и синие фанфары,  
О этот крик, сияющий и ярый,  
О желтые и алые снопы!  
И это рядом с “комнатой” убогой,  
Где дышит все гармониею строгой,  
Где тихо все, и все — не для толпы.

\*\*\*

Он ушел на утренней заре,  
В час, когда сияли на горе  
Первым блеском солнечные пятна.  
Целый день он где-то пробродил,  
Целый день домой не приходил,  
К вечеру вернулся он обратно.

Он пришел, когда бледнел закат.  
Был в пыли, в крови его наряд,  
Сам он истомлен был и безгласен,  
Словно в тяжких битвах изнемог,  
Но, безгласый, был, как юный бог,  
Радостно и солнечно прекрасен.

И в волнах сгущающейся тьмы  
Молчаливо вопрошали мы,  
Где он был, зачем пришел обратно,  
С кем боролся, бился за кого,  
И была нам светлая его  
Радость — так чужда и непонятна!

## НОЧНЫЕ ТЕНИ

Мне тени мертвые предстали  
На краткий час.  
Слова забытые шептали  
Еще мне раз.

Припоминали все, что было  
Давно, давно,  
Что сердце бедное забыло,  
Как суждено.

И было мне немного страшно —  
Слегка, чуть-чуть.  
Тоской и радостью вчерашней  
Сжимало грудь.

Немного страшно, неудобно  
На беглый миг  
Увидеть с яркостью минутной  
Былого лик.

Или магическое средство,  
Безбольный яд,  
Вернули юность мне и детство  
На миг назад?

Когда бы это просто память  
Зажгла свечу,  
Я зажигал ее бы пламя,  
Когда хочу.

Нет, без желанья, против воли  
Пришли они,  
Сгустившись в каплю сладкой боли,  
Былые дни.

\*\*\*

О, что здесь есть, кроме усталости?  
Смотрю на вас, друзья мои!  
Немного мудрости и жалости,  
Немного боли и любви,  
Да тень прозрачная вечерняя —  
Еще не близкой смерти час,  
Да жизни будничные тернии,  
Деля, соединяют вас!

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я вижу твое искаженное злобой и страстью лицо,  
Россия, Россия!

К тебе приковало меня роковое какое кольцо?  
Неразрывные цепи какие?

Я так стремился к тебе, и еле тебя узнаю:

Вдохновенную, мерзкую, злую, святую,  
И, быть может, великую, только не ту, не мою,  
А другую, другую!

## ПИСЬМО КАХОВСКОГО ИМПЕРАТОРУ

Не о себе хочу говорить я, но о моем отечестве.

Пока не остановится биение сердца, оно будет мне  
дороже всех благ мира и самого себя.

Я за первое благо считал не только жизнью —  
честью жертвовать пользе моего отечества.

Умереть на плахе, быть растерзану и умереть в самую  
минуту наслаждения — не все ли равно?

Но что может быть слаще, как умереть, принеся пользу?

Человек, исполненный чистотой, жертвует собой  
не с тем, чтобы заслужить славу, строчку в истории.

Так думал я, так и поступал.

Увлеченный пламенной любовью к родине, страстью к свободе,  
Я не видел преступления для блага общего.

Согрет пламенной любовью к отечеству —

Одна мысль о пользе оного питает мою душу, —

Я прихожу в раздражение, когда воображаю себе все беды,  
Терзающие мое отечество.

Конституция — жена Константина... Забавная выдумка!

О, мы бы очень знали заменить конституцию законом!

И имели слово, потрясающее сердца всех сословий: “Свобода”.

Мы не можем жить, подобно предкам, ни варварами, ни рабами:

Ведь чувство свободы прирождено человеку.

Во имя чего звать к восстанию? Во имя свободы.

Свобода — вот лозунг, который подхватят все.

Свобода, сей светоч ума, теплотвор жизни.

Свобода обольстительна, и я, распаленный ею, увлек других.

Жить и умереть для меня — одно и то же.  
Мы все на Земле не вечны — на престоле и в цепях.  
Человек с возвышенной душой живет не роскошью, а мыслями —  
Их отнять никто не в силах.  
Тот силен, кто познал в себе силу человечества.  
Я и в цепях буду вечно свободен.  
О свобода, светоч ума, теплотвор жизни!..

Публикация и подготовка текстов

А. Кудрявицкого

## Письмо Г. Адамовича Н.С. Гумилеву

Дорогой Николай Степанович[!]

У меня нет никакого дела к Вам, но просто поговорить с Вами. Вы в одном очень правы, когда восстаете против провинциальных уединений, — здесь можно говорить обо всем, но о стихах [нрзб.] и не с кем. В Петербурге, не замечая, при встречах, мимоходом, каждый день, — все говоришь. Я вообще здесь, в своих одиноких “рассуждениях о русской поэзии” часто думаю о Вас. Это совсем не признание и для меня совсем не неожиданно, — у меня только привычка вести с Вами полу-оппозиционные разговоры, а в сущности я Вами, Вашей ролью и стойкостью среди напора всякой “дряни” — давно и с завистью восхищаюсь. Вы настоящий “бедный рыцарь” и Вас нельзя не любить, если любишь поэзию. Меня чуть отпугивает только Ваше желание всех подравнять и всех сгладить, Ваш поэтический социализм к младшим современникам, — но даже и тут я головой понимаю, что так и надо, что нечего носиться с “индивидуальностью” и никому в сущности она не нужна. Хорошая, общая школа и общий для всех “большой стиль” много нужнее. Писать трудно и всего не напишешь. Положим, говорить иногда еще труднее. Вы, наверно, усмехнетесь и подумаете, что это “от Розанова”. Но, правда, это так.

Знаете, я здесь первый раз, хорошо и всего, прочел Пушкина, — по близости к его Михайловскому и его могиле. Это хорошая школа, — для вкуса совершенно непогрешимая. Все-таки не Онегин, и не Борис, и ничто другое из больших вещей не есть лучшее из Пушкина. Онегин писан прямо трухлявыми стихами и очарователен только

в замысле и подробностях. Не знаю я, кто это создал мнение, что это “венец” Пушкина. Я хожу и повторяю “Безумных лет угасшее веселье”. Тут, вероятно, дело в законах теории поэзии или творчества, отчего 12 строчек лучше всего Онегина — но Безумных лет нельзя любить, и смешно после таких стихов читать монолог Алеко. Вероятно, нельзя в таком напряжении выдержать поэму. Если бы мы были настоящими людьми, то надо бы праздновать как день Народной Коммуны день, когда Татьяна написала эти стихи, и распускать всякие школы и т.д. Простите, если я пишу какой-то реферат о Пушкине, — это то же занятие “поговорить” и грусть об ответе, невозможном за 400 верст.

Пушкин написал: “Что за чудо Дон-Жуан!” А Дон-Жуан — совсем как Онегин, едва ли лучше, [нрзб.] хуже. У меня, вероятно, неверное отношение к поэзии, но я Ч.-Гарольда могу повторять, ходя от стиха и [нрзб.], а Дон-Жуана почти не помню. Переводить его — очень приятно, но как болтовню. Главное — мы стали более всего требовательны, придирчивы и чутки ко всякому смеху и иронии, а Дон-Жуан — это совсем не Гоголь, а здоровый “детина” какой-то, обаятельный, но грубоватый.

Пушкин в Михайловском, в деревенской церкви, служил панихиду о Байроне, “о рабе Божиим Георгии”. Это очень хорошо. Байрон все-таки, после всяких “но”, был мучеником и за всех Пушкиных помутился.

Мне все стыдно как-то писать Вам в повествовательном тоне. Это, правда, только разговор, полувопросы.

Очень бы мне хотелось знать всякие Петербургские дела. Мне здесь все это стало очень дорого. Вы, кажется, никому не пишете, и никогда. Очень мне жаль, если так: было бы мне очень большой радостью получить от Вас письмо, — о стихах и делах. Я опять буду повторяться, но Вам я больше, чем кому бы то ни было, верю. Вы мне всегда будто внушаете, что я пишу плохие стихи, и если я иногда стараюсь писать хорошие, то в этом есть доля желания переубедить Вас.

Разучился писать с “ѣ” — и теперь пишу уж совсем безграмотно.

Искренне Ваш  
Г.Адамович

Новоржев, Псковск. губ.  
Дом [нрзб.] С.Карандашевой.

[между 1918 и 1921 гг.]

Публикация Л.Володарской  
ЦГАЛИ, Архив “Всемирной литературы”

*Лев Аннинский*

## РЫЖИЙ ВОРОН

...Ведь если изолирует фарфор,  
Зачем его ворона оседлала?

*Иосиф Бродский*

### 1. "МИМО... МИМО... МИМО..."

Точность первого прицела, подтвержденная дальнейшей почти сорокалетней работой, — признак великого поэта? Великого жребия?

Первое же стихотворение Бродского высвечивает его путь до последней точки.

Я помню, как оно появилось — положенное на музыку Клячкиным и спетое Визбором, пошло (полетело), минуя печать, из уст в уста. "Пилигримы". Россия выучила это стихотворение вместе с именем автора, восемнадцатилетнего питерского... то ли школьника, то ли бросившего школу безработного: на рубеже шестидесятых биография еще невнятна и, как вскоре выяснится, еще и не начата, но врзается — образ.

Образ пилигрима, проходящего мир насквозь.

Даже не "насквозь" — "мимо".

В музыке стиха это "мимо" накладывается на "пилигрима", повторяется заклинанием — звучит как пароль.

Мимо чего?

Мимо всего.

Мимо стадионов и площадей, символов массовой истерии: “мимо ристалищ, капищ”. Ну, а если капище — место богослужения? Все равно мимо. Храм приравнен к торжищу: мимо! “Мимо храмов и баров”. Бар — символ жизни низменной, испорченной. Как и базар. Мимо, мимо! Но кладбище — символ жизни отошедшей и очищенной в памяти... и все-таки мимо! Мимо великих религий — ислама и христианства! “Мимо Мекки и Рима”. Впрочем, Рим — это еще и мировая государственность... Мимо! Весь мир отодвинут, отринут, отброшен.

А люди, горюющие в этом мире?

И они отброшены: мимо!

Такое тотальное неприятие можно было бы окрестить обрусевшим словом “нигилизм”, если и была тут хоть капля базаровской ярости. Но — ни ярости, ни страсти. Ледяное неучастие. Это не борьба с миром, с его пошлостью, подлостью, низостью, слабостью, это — какое-то зябкое отстранение. Это не нигилизм — это существование в другом измерении. Наивное, отрешенное, упрямое, детски радостное, старчески горькое.

Пилигримы — силуэты, тени, отсветы. Видишь сгорбленность фигур, убогость одежды. Более ничего. Это не “пилигрим”, в отдельном облике которого можно уловить черты индивида, — это “пилигримы” вообще: каста, поветрие. Чистый дух, сквозящий мимо всего.

Пейзаж прохода (пролета) — пустыня. Звезды. Зарницы светил. Из всего живого только птицы — единственные обитатели Вселенной, к которым выражено сочувствие.

Все остальное — мираж. Ложь. Мир неисправим, жесток, невменяем. Постижимый в частностях, он бесконечно чужд и далек как целое. Ни уверенность не спасает в этом мире, ни вера. Ни “в себя”, ни “в Бога”.

Так что остается?

Ничего. Фатальная смена рассветов и закатов. Фатальная смена иллюзий. Фатальная дорога мимо псевдобытия... куда? К Богу, как полагалось бы пилигримам?

Но и Бог — такая же бестолковая мнимость, как все в ЭТОМ существовании.

А в “том”, в “другом” существовании — есть ли что-нибудь утешительное?

Тут — кровь и плоть людей, ставших солдатами, солдат, ставших навозом Истории.

А “там”? Ничего.

Ничего, кроме эфемерности, которая может спасти и называется “Слово”.

Слово — как единственное оправдание бытия в этом небытии, единственная гарантия существования Смысла на тысячу лет вперед. “Поэзия” — как единственная возможность одобрить этот мир, купить его.

Мысль, достаточно дискуссионная, однако подкрепленная тридцать лет спустя в Нобелевской лекции: есть некий эстетический инстинкт, некий “вкус”, некое присутствие “стиля” в этом пространстве мнимостей, в этом времени, распадающемся на мгновения, и только отсюда могут родиться этика, мораль, нравственность, смысл, добро, истина... все то, МИМО чего проходит Поэзия, обреченная перемазывать горы впечатлений, прокладывая дорогу к святыне, которая недостижима.

Развязка дана уже в экспозиции. Поэт, наделенный зрением безошибочно острым, голографически предметным, стоит перед миром, каждый предмет которого он может взять на точнейший прицел.

И целится — мимо.

## 2. “НИ ГРЕКУ, НИ ВАРЯГУ”

“Мне нечего сказать ни греку, ни варягу...”

Однако и греку, и варягу это сказано.

В поэтическом Театре Иосифа Бродского действуют: евреи, грузины, поляки, немцы, эстонцы, литовцы, китайцы, румыны, таджики... А по преодолении “железного занавеса”: американцы, англичане, итальянцы, испанцы, мексиканцы, голландцы, шведы, арабы... А по ходу экскурсий в “бездны истории”: римляне, гунны, татаро-монголы, парфяне, персы, византийцы, египтяне, славяне...

Славян, как и чужь белоглазую, оставим “русскому вопросу” (“равнодушной отчизне”). Однако диапазон контактов поразителен. Дети разных народов, скользя все время по заднику картины, свидетельствуют о какой-то неутоленной, но жгучей потребности лирического героя. Иногда эти связящие тени сотканы из элементарностей, за которыми не надо даже лезть в энциклопедии. Финляндия — это сосны. Голландия — это цветы. Грузия — это чай. Это — где поют “Тбилисо” “и “Сулико”. Гимн баналу — как сказал бы сам Бродский.

Иногда фигуры многонационального шествия обрисованы с беглостью едва ли не обидной. Если, конечно, вдумываться. Но в том-то и дело, что статисты поэтического действия очерчены тут без вдумывания, автор думает совсем о другом; а они — только часть “пейзажа”. “Вдали маячит сумрачный грузин”. Фигура — из “кавказского анекдота”. Или — такая шеренга: “Студентики, фарцмены, тихари, грузины, блядуны, инженера...”. Или математическая выклад-

ка: “Увы, не хватит в Грузии грузинов (так! — Л.А.), чтоб выложить прямую между нами...”

Грузины не должны слишком обижаться: они не одиноки. Китайцы восприняты в том же биостатистическом ключе: “Китаец так подходит на китайца, как заяц на другого зайца...” Даже возлюбленные греки, некогда подарившие бессмертного Одиссея памяти человечества, — охлестнуты тою же переписной веревкой: “Столько мертвцов вне дома бросить могут только греки...” Греки же, брошенные вне дома, введены в стих такую фигурой: “Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь...”

Сардонический ритм, сквозящий в подобных оборотах, не дает нам возможности просквозить мимо, подобно тени паломника, ибо тут перед нами уже не фигуры фона, тут глубинный Бродский, полный яда и отчаяния, горечи и безнадеги, неуязвимости и уязвленности. Конечно, многонациональный хоровод теней и ряженных в его поэзии иногда кажется кощунственным; конечно, переделка лермонтовской “долины Дагестана” в “долину Чучмекистана” бестактна; конечно, многое надо понять и простить поэту чисто человечески, ибо это — человеческое... слишком человеческое... Но когда у поэта из-под человеческого орет сверхчеловеческое, — надо вслушаться.

Скольжение фигур фона — не более чем антураж трагического действия. Само действие, вернее, взаимодействие героя с национальными фигурами в болевых точках его судьбы — это действительно обрывы в бездну.

Первая такая точка — еврейская. Эта тема подложена Бродскому самой судьбой: проклятием и таинством происхождения, — она возникает с первых стихов: “Еврейское кладбище около Ленинграда” написано в тот же ранний год, что и “Пилигримы”.

На кладбище: юристы, торговцы, музыканты, революционеры... Идеалисты-талмудисты... Не сеявшие никогда хлеба, летшие сами в землю подобно зернам... Сумма мифологем, спрессованная в этом стихотворении, кажется сегодня слишком элементарной, но не забудем, что это пишется в 1958 году, когда само слово “еврей” — под полузапретом, и пишется восемнадцатилетним мальчиком, едва ощутившим вес пера.

Тринадцать лет спустя “тены” еще раз откликаются — в “Литовском дивертисменте” — в зарисовке еврея, где потрясающая точность исторических деталей приоткрывает сквозящую бездну. Сохнущая перина... икотка страха от наведенного лорнета... тележка с рухлядью... пейсы, переделанные в бачки... Новый Свет... Атлантика, заблеванная эмигрантами. Наверное, литовские корни матери, раскопанные Бродским в его родословной, навяли эту еврейскую мелодию в “Литовском дивертисменте”, так или иначе в поэзии, посвященной собственно еврейству, зарисовка Бродского — бессмертна.

И уже в самом финале пути, в 90-е годы — в “Послесловии к басне” — щемящий диалог любимой птицы — с кем? Надо думать, с Богом:

— Еврейская птица ворона,  
зачем тебе сыра кусок?  
Чтоб каркать во время урона,  
терзая продрогший лесок?..

— Я просто мечтала о браке,  
пока не столкнулась с лисой,  
пытаясь помножить во мраке  
свой профиль на сыр со слезой.

Игра смыслов, лучащаяся в стихе, не исчерпывает его бездонности, но, конечно, сообщает Бродскому неотторжимый статус еврейского поэта.

Так и казалось — особенно при его отторжении от России в 1972 году, — что зияние, оставшееся на месте вырванных русских корней, заполнится еврейской болью. Еврейской живучестью. Еврейской беспечностью. Еврейской почвой.

Но все оказалось иначе. Ни поэтом диаспоры не стал Бродский, ни поэтом каменной пустыни Бытия, — хотя горечь изгнания из Союза смешалась с горечью изгнания прадедов из старой России, и каменная жестковейность пророков ощутилась в демонстративном спокойствии, с каким Бродский перенес потерю отчизны.

Все получилось не так. И “Бытие” перечитано не столько иудейскими, сколько христианскими глазами, впрочем, это отдельная тема. И диаспора отступает куда-то в свете (или во тьме) несравнимо трагичнейшего общего мироощущения. И диалог с еврейством оказывается только эпизодом в ряду других национальных встреч, и это уже наша тема.

Итак, литовцы.

Точнее, так: сначала — прибалты вообще: магическая миниатюрная Европа советских.

Первый контакт — эстонцы. Автобусная экскурсия в Пириту осенью 1962 года исторгает из лиры Бродского “рыдающий” звук, толкование которого уводит нас за пределы эстонского пейзажа.

Сверхзадача — вовсе не эстонский пейзаж, а именно невозможность “войти” в эстонский пейзаж, переступить оградившую его грань. Само существование “другого” мира: непонятность “эстонской латыни” на могильных камнях врачует душу уже одним тем, что не все в этом мире проницаемо, не все просквожено и отбираемо. Может быть, это даже зависть к эстонской непроницаемости: знак надежды. И потому: “русский глаз” отдыхает “на эстонском шпиле”.

“Литовский ноктюрн”, сотворенный уже в изгнании, вскоре после конца “прекрасной эпохи” (как сардонически именуется Бродский под-

советскую пору своей жизни), содержит еще более детальный, до мелочей проработанный пейзаж. Костел, прихожане, прикрывающие ладонями свечки. Куры, роющиеся в дрове. Запах рыбы. Малец и старуха, загоняющие корову в сарай.

“Русскому глазу”, вырвавшемуся из имперской ночи, вроде бы уже не надо “отдыхать” на каунасских шпилях... Оптическая точность зарисовки нужна для иной цели; в противовес ей почти с тою же долей отчужденности нарисован портрет адресата этой ночной песни:

Вот откуда твои  
щеки мучнистость, безадресность глаза,  
шепелявость и волосы цвета спитой  
тусклой чайной струи...

Томас Венцлова, чьи черты Бродский увековечил таким образом, ответил поэту с безукоризненной прибалтийской корректностью, но так же безжалостно: поэзия Бродского — типичное барокко; разностильность здесь возведена в принцип; неустойчивый, низменный мир тщится быть эмблемой мира незыблемого и вечного; перед нами человек, оставленный Богом, брошенный на периферию космического “текста”. И Прибалтика для Бродского — не более чем “окраина” распадающейся “Империи”, — принципиальная “частность”. “Подчеркнута семантика стагнации, тесноты, ущербности, удушья. Движения нет — в лучшем случае есть бессмысленное мельтешение, случайная смена направления, толчея... Человек приравнен к вещи, превращен в ничто... Ни первого, ни второго лица — ни явного адресанта, ни явного адресата... Рассказчика можно восстановить разве что по его тону: то ли это некий пошловатый денди, забредший сюда из “прекрасной эпохи”, то ли современный городской житель, “жертва толчеи”, потерявший центральное место в мире. Образ его мельтешит, двоится, совпадает и не совпадает с автором. Скорее всего, это просто точка зрения, а не личность. Совершенный никто, человек в плаще... Буква стирает личность” (Томас Венцлова. Литовский дивертисмент Иосифа Бродского. Ардис, 1984, с.195—197).

Томас Венцлова прав: это не контакт с Литвой. Это вообще не контакт с миром. Это — автопортрет существа, которое решилось слиться с серой “поверхностью” жизни и одновременно ненавидит жизнь за необходимость такого решения; “безадресность, мучнистость, тусклость” внутреннего состояния скомпенсирована бароккальной мощью деталей.

Литовский “ноктюрн” почти совпадает с “рассветной” песнью Америки. “Небольшая дешевая гостиница в Вашингтоне” дает первый приют иммигранту.”Постояльцы храпят...”

За тринадцать лет до этого из Нового Света слышалась совсем иная музыка! Это было в 1961-м — “Июльское интермеццо”. Диззи Гиллеспи, Джерри Маллиган и Ширинг, Ширинг! Запретные звуки амери-

канского джаза едва долетают сквозь треск помех до ленинградских молодежных компаний. О, какой стиль, какой стиль! Как жадно ловят эту музыку задавленные дети Империи! “Боже мой, Боже мой, звук выписывает эллипсоид так далеко за океаном... Боже мой, Боже мой, какой ударник у старого Монка и так далеко за океаном... Боже мой, Боже мой, это какая-то погоня за нами, погоня за нами...”

1974: погоня увенчивается успехом, океан пересечен. “Постояльцы храпят”.

И тотчас от этого храпа — свечой, ястребом — взмывает душа в небо! От этих кирпичных домов, аккуратных ферм, школьников в пестрых куртках, кричащих по-английски: “Зима, зима!”

Америка хороша “из-за океана” или уж — с птичьего полета, с высоты ястреба, который не различает людей, а только холмы, серебро реки... Еще выше! “В ионосфере. В астрономически объективный ад птиц, где отсутствует кислород...”

И “ионосфере” он дома, но Америка — не дом. Живой обыкновенной Америки нет, а есть — нечто абстрактно великое и абсурдно-всемирное. Америка — вывернутая Россия?! Боже мой, Боже мой, кажется, так...

Я, пасынок державы дикой  
с разбитой мордой,  
другой, не менее великой,  
приемыш гордый...

Вот и уравнились.

Каждая встреча Бродского с “другим” миром приводит его к неизменному, фатальному ощущению: к равенству абсурдов.

Для того чтобы почувствовать это с предельной ясностью и создать потрясающий по силе поэтический апофеоз равноабсурдности, требуется еще один “Дивертисмент” — мексиканский.

Преследующая поэта мысль о том, что “жизнь бессмысленна”, что перед человеком расстилается не дорога, а “пыльная форма бреда”, получает в тегуантепекских музеях подтверждения, куда более впечатляющие, чем около литовских луж или под американскими вентиляторами. Ацтеки: бред существования языка, не знающего слова “или”. Что они рассказали бы, если бы могли? О победе над соседним племенем, о разбитых головах, о том, что “вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход надежнее, чем будильник”?

С вершины этого абсурда поэзия Бродского возносится в один из своих зенитных пиков:

Все-таки лучше сифилис, лучше жерла  
единорогов Кортеса, чем эта жертва.  
Ежели вам глаза скормить суждено воронам,  
лучше, если убийца — убийца, а не астроном.  
Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось  
толком узнать, что вообще случилось.

Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,  
всюду жестокость и тупость воскликнут: “Здравствуй,  
вот и мы!” Леня загонять в стихи их.  
Как сказано у поэта, “на всех стихиях...”  
Далеко же видел, сидя в родных болотах!  
От себя добавлю: на всех широтах.

Потрясают в этих стихах все та же самая “бароккальная” мощь деталей и циклопическая устойчивость конструкции, встроенной прямо в пустоту и безначальность космоса.

И еще: убежденность, что даже “лучшие” пути Истории — страшны.

И еще — вдруг шевельнувшаяся противозаконная тоска по родным болотам. И Пушкин, завещавший человеку выбор из трех возможностей: “тиран, предатель или узник”.

Нужно же было проделать виток кругосветки, чтобы убедиться в этом.

Но возвратимся в Европу (Западную) — единственное место в мироздании, которое ему, кажется, по душе?

Север континента. Английские каменные деревни. Кувшин молока, вечно белеющий на ступеньке, — знак незыблемости. Покуда есть правый берег у Темзы, есть и левый. Лондон прекрасен.

Чем? Тем, что здесь веками живет здравый смысл, и это, к счастью, неотменимо.

Прописи о британском характере, “загнанные” в стихи, напоминают о прописях характера еврейского, “загнанного” в стихи пятнадцатью годами раньше.

Юг континента. Синие холмы Челлини. Туманы Ломбардии. Чугунная кобыла Виктора-Эммануила, никогда не сбивающаяся с пути. Скрипичные грифы гондол. Венеция прекрасна.

Чем? Тем, что “я пишу эти строки, сидя на белом стуле под открытым небом, зимой, в одном пиджаке...”.

Разумеется, Венеция — не Лондон. Не только потому, что зимой над Темзой в одном пиджаке нельзя, а над Риа делла Фрескада — можно. Есть и психологические нюансы. Лондон без тебя обходится — и это законно. Венеция тоже обходится — и это жаль. Общее там и тут — что без тебя обходятся. Это по-человечески печально. Но за человеческим скрыто сверхчеловеческое. Нужен только шаг... шаг назад или шаг в сторону, — чтобы прописное онемение перед патентованной Европой сменилось диалогом с нею — таким, на который способен только Бродский.

Шаг в сторону из Англии:

Голландия есть плоская страна,  
переходящая в конечном счете в море,  
которое и есть в конечном счете  
Голландия...

Шаг в сторону из Италии:

Уехать, что ли, в Испанию, где испанцы  
увлекаются боксом и любят танцы,  
когда они ставят ногу, как розу в вазу,  
и когда убивают быка, то сразу.

Переключку чувствуете? “Роза в вазу” — пространство, сходящее на конус, упирающееся в точку, умирающее “сразу”, исчезающее “в конечном счете”.

Маленькая Голландия — апофеоз такого “конечного счета”: ни подняться в горы, ни умереть от жажды, ни оставить следа, уехав на велосипеде, уплыв — тем более.

Исчезнуть — вот реакция на этот мир.

Испанский танец — скорбь пространства о точке; стремление розы вернуться в стебель; зигзаг, казнящий равнину.

Удерживать ткань мира от разрастания — вот реакция.

Так цветет Голландия “безадресным воспоминанием”. Так “срастается с бездной испанский танец”. Так проходит возлюбленную Европу насквозь и мимо — неприкаянный дух.

При этом ближним, практическим разумом — он все понимает.

И даже дает советы: если выбирать место жительства, то “где-нибудь в Италии, Голландии или в Швеции”. И даже так: “Рекомендую США”. Сардоническая усмешка, сопровождающая такой совет, видна невооруженным глазом: в ней-то все и дело. Потому что суть опыта — вовсе не проникновение в душу той или иной страны. Суть опыта — непроницаемость. Непроницаемость национальных душ.

И более того: бессмыслица проницания, если оно почему-то оказывается возможным. Благо чужбины — безвестность. Только это спасает от “разрастания плоти” мира. А мы, к ужасу поэта, хотим другого. “Предпочитаем исключенью — массу. Вот так мы в разум поселяем расу... Так получаем нацию, букет...”

Так, может быть, лучше — и не “получать”?

Да, в принципе так. Не “получать” и не давать, не “поселять” и не поселяться. В чистом виде, в сфере чистого разума, как сказал бы Иммануил Кант... которого Бродский однажды, в 60-е годы, процитировал мне, не назвав, — предложил угадать автора, а когда я автора угадал, — потребовал назвать еще и произведение, а когда я произведение не назвал, — выдал мне “под нос” ссылку, весь светясь от гордого превосходства: так я понял, ЧТО было его любимым чтением... ну, так лучше бы и сидеть ему под звездным небом, созерцая нравственный закон внутри себя.

В принципе это и есть мироощущение Бродского: гордость сжимающейся точки, тоска по запредельному и — молчание.

Но тут же — заводное, нетерпеливое перемалывание впечатлений, и отбрасывание их, и снова — жажда, жажда, жажда: встречи, встре-

чи, встречи: варяги и греки, шведы и турки, испанцы и персы, голландцы и немцы, британцы и американцы, евреи и арабы, литовцы и эстонцы, японцы и чухонцы...

Вот она, драма Бродского: обречение миру — и проклятие миру. Заводное любопытство и внутренний окрик: прячься!

“Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса”.

Космос и хронос — тема особая, как и вирус эроса. А вот расы-нации в поэзии великого отшельника мы коснулись.

Сидит ворон... но не на дубу. И не на крыловской ели. На столбе. На линии гудящей связи. Но — на изоляторе.

Точнее не скажешь.

### 3. “НИ ЛЮБВИ, НИ ТОСКИ, НИ ПЕЧАЛИ”

Среди зашифрованных персон, которым посвящены стихи Иосифа Бродского, чаще всех встречается та, что обозначена инициалами “М.Б.”. Пока будущие комментаторы не свели эту загадку к конкретному лицу, есть возможность расширить ее до глобальных масштабов, что применительно к такому всемирному скитальцу, как Бродский, вполне естественно. Под литеры “М.Б.” можно подставить Матерь Божью, а можно и некую даму, — ту самую, которая в повести “Полторы комнаты”, придя к поэту в закут, отгороженный от родителей баррикадой из книжных шкафов и чемоданов, “обнажает не только бюст”.

В таком сближении нет кощунства — у поэта свято все, к чему он прикасается. И несчастен он — от тех же соприкосновений с жизнью.

Как и свойственно Бродскому, история любви описана в изобилии разрозненных, но точных подробностей. Покинув закут, влюбленные гуляют по питерским прешпектам, считают ворон на телеграфном столбе, созерцают Шагала в музее, едут на экскурсию в Псков и Изборск. Все эти детали: и ее белый вязаный шлем, и ее колкие остроты, и ее нежность — все вспоминается позднее, задним числом, по ходу утери.

А в тот момент?

А в тот момент — “ни тоски, ни любви, ни печали”. Бессмысленность звуков, слов, жестов. Обреченность — словно надо немедленно “завещать свою жизнь”. Мир расколот. Это лейтмотив: все расположено, разрезано. Море рассечено переплетом окна, мысли — предчувствием разрыва.

Два года спустя — ссылка в деревню. Она навещает его в архангельской глуши. Позднее он вспомнит, как катал ее в лодке, как лес был перевернут в воде, каким святым было место, где они друг друга любили.

А в тот момент?

“Приготовившись мысленно к дележу”, — смотрит в ее глаза, ревниво ищет в них свое отражение. Тоска и холод. Когда без нее — распят на верстах, их разделивших. Когда с нею — “каждый о своем...”.

Ссылка окончена. Новая встреча. Его постоянство почти неправдоподобно. Отгородиться на берегу — от всего мира отгородиться “самодельной лампой”, и в этом светлом круге — родить дитя... назвать Андреем... нет, Анной...

Не получается. Вместо уютного кружка под лампой — “кабак”. Ложь, не отличающаяся от правды. В знобящей Паланге уязвленное сознание воздвигает декорации знойной римской провинции. Наместник болен, его жена “выскальзывает в сад” с секретарем. Непостижимо самообладание мужа, который “позволяет изменять” жене и не опускается до ревности.

Сам герой такого тона не выдерживает. Расставаясь, говорит: “Можешь плюнуть тому в лицо, кто место мое займет”. Воет от одиночества. Хочет превратиться в птицу, улететь, вознестись... “Боже, чем больше мир, тем и страданье больше”. Кому эта “Прощальная ода”? Богу? Божьей Матери? Или той, чьи “юбки” и “подвязки” еще вчера украшали стул, а теперь исчезли?

Да не покажутся странными детали такого туалета в картине возвышенной любви: суть в том, что картина перевернута изначально. Обычно романтический герой является на rendez-vous во власти чистых чувств, “посюсторонние” же препятствия, включая и “цепи” законного брака, обрушиваются на него со стороны не понимающей чистых чувств возлюбленной. Здесь все наоборот: она с легкостью отдается чувствам, очищенным от расчета, — он требует законности.

Философски — это еще одна попытка структурировать изначально хаос. Лирически — это кульминация драмы:

Зная мой статус, моя невеста  
пятый год за меня ни с места;  
и где она нынче, мне неизвестно:  
правды сам черт из нее не выбьет.  
Она говорит: “Не горюй напрасно.  
Главное — чувства! Единогласно?”  
И это с ее стороны прекрасно.  
Но сама она, видимо, там, где выпьет.

“Зная мой статус”... С переменой статуса драма переходит в принципиально иной и, кажется, еще более безысходный акт. Эмиграция обрывает муки реальных встреч. Но страшней муки отраженные. Не уходит из памяти деревня, затерянная в болотах. Что там теперь? Те же гати, те же буераки? Баба Настя, поди, померла, а Пестерев, если жив, ладит калитку из спинки кровати. Той самой... “И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили...”

Можно ли назвать другого великого поэта, любовь которого была бы обречена на такую изначальную несбыточность? И боль, и горе, и отчаяние — не от неразделенности чувств (чувства-то как раз разделены), а от какой-то космической околдованности души, которая стремится именно и только к несбыточному. Такой влюбленный, в сущности, убивает спутницу тем, что ищет в ней — Богоматерь. И знает, что не найдет. И потому на rendez-vous приходит как на место казни.

Любая лирическая встреча высвечивает душевную обреченность.

Шум ливня воскрешает по углам  
салют мимозы, гаснувшей в пыли.  
И вечер делит сутки пополам,  
как ножницы восьмерку на нули....

Это почти каббалистическая символика: бесконечность, рассеченная надвое, дает нули. Мир пуст, пылен — до него не доходит тот запредельный свет, который мог бы возвестить ему смысл. Жизнь проклята, потому что в ней не слышно Бога, то есть нет цели, нет оправдания. Значит, все — мираж. В том числе и “она”:

Ее ладонь разглаживает шаль.  
Волос ее коснуться или плеч —  
и зазвучит окрепшая печаль;  
другого ничего мне не извлечь...

Реальность — это то, что надо извлечь из псевдореальности. Из чугунного Города, из полусгнившей Деревни, из стальной Державы, из “рабской” речи. Идя к Богу, пилигрим проходит этот мир насквозь. И когда он натакивается на живое непредсказуемое существо, к которому, как на грех, еще и начинает испытывать страсть, тогда надо рассекать надвое душу. И свою, и ее...

Мы здесь одни. И, кроме наших глаз,  
прикованных друг к другу в полутьме,  
ничто уже не связывает нас  
в зарешеченной наискось тюрьме.

Выйдя наконец из этой российской ночи в другую, американскую ночь, — он задумается: что же произошло?

И еще раз подумает: вникать бессмысленно. Чем безнадежней, тем понятней. Дорогая, мы квиты. Хорошо, что мы врозь. Мир — разведенная смесь кириллицы и диких чувств динозавра. Под всем этим — пустота. Любовь не спасает, как не спасает прививка от оспы среди общей чумы. Не спрашивай, куда все летит, — ответа не будет.

Ну, подытожим.

Гуляка смолоду “задирает красавице платье” и, обнаружив там именно то, что искал, не больше, как-то философски замечает по этому поводу: “Тут конец перспективы”.

Теперь он ставит точку: “конец перспективы” — это поток лишних слов, из которых — “ни одно о тебе”.

Перед нами еще один акт “перевернутой драмы” в изначально перевернутом мире. Чтобы не было недоразумений, этот ернический лейтмотив, этот молодецкий жест — под юбку! — однажды доведен до циркового аттракциона и проделан с “вещью”:

...стоит он в центре комнаты, столь наг,  
что многое притягивает глаз.

Но это — только воздух. Между ног  
(коричневых, что важно — четырех)  
лишь воздух...

“Конец перспективы”, продемонстрированный меж ножек стула, — финал скитания, начавшегося когда-то на питерских прешпектах, где “перспектива” сторожит тебя, куда бы ты ни пошел.

В этом скитании “вирус эроса” оказывается эликсиром постоянства, предательски привязывающего вечного пилигрима... к стулу, к юбке на стуле — к дому, которого в этом мире НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

И потому он компенсирует несчастную любовь охальством. Вооружается на сей раз не Кантом, но Гераклитом, находит его вечно текущему афоризму парафразис, который можно ставить эпиграфом к доктрине свободы, обретенной жертвой тоталитаризма на вольном Западе:

Дважды в ту же постель не лечь.

И не лег. Ни в ту, ни в эту.

И не вписался в доктрину свободы, как не вписался в рабство.

Иосиф Бродский умер через восемнадцать лет после того, как написал ту дерзкую строчку.

Он оставил на этом свете дочь Анну, рожденную от жены Марии.

#### 4. “НИ СТРАНЫ, НИ ПОГОСТА”

Как человек, заслуживший у Всевышнего легкую кончину, он умер во сне. Трудности начались у правопреемников. Едва приготовились к похоронам в Нью-Йорке, как Россия — почти на государственном уровне — предложила вернуть тело в Петербург. Тут итальянцы вспомнили, как покойный любил Венецию, и тоже попросили прах. Запахло Гомером, за право стать родиной которого спорили, как подсчитано, “семь городов”.

В известном смысле это нормально: великий поэт всегда как бы сын Вселенной. Но у Питера есть в споре свой аргумент: написанные молодым Бродским строчки, без которых не обходится ни одна о нем статья:

Ни страны, ни погоста  
Не хочу выбирать.  
На Васильевский остров  
Я приду умирать...

Дальше там, однако, еще две строки, которые обычно опускаются:

...К равнодушной отчизне  
Прижимаясь щекой.

Нельзя сказать, что отчизна была так уж равнодушна: устроила суд над тунеядцем, сослала в деревенскую глушь на пять лет, из коих полтора года заставила-таки отсидеть. С чего и началась всероссийская, а потом всемирная слава Бродского. Отчизна в дальнейшем опомнилась и так грубо не притесняла (если, конечно, не считать того, что — не издавала). Но — не сажала, не ссылала, а — мирно отпустила за рубеж, когда у слушника достало сил и средств отъехать.

Он отъехал и, вступив в Новый Свет, с облегчением обронил свое русифицированное имя: “Джозеф! Чтобы не было никакой “моветошки”: ах, где моя Родина, ах, я осиротел. Веди себя так, будто ничего не произошло”.

Так и вел. Не проклинал особенно громко ни Россию, ни тех, кто в ней его обидел; ни их, ни ее — “не замечал”.

Разочек представил Россию в виде дурацкого балагана, но эти стихи — особняком; названы — “Представление”, кажутся “сценарием”, построены на “чьих-то” репликах, вроде: “Дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю”, или: “Скажешь “пли!” — ответят “бля!” — в коих предсказаны постмодернисты вроде лирических героев Рубинштейна и Вишневого и мусульмане” вроде кинематографического героя Хотиненко.

Как-то раз написал “Сталина” и “Хрущева” с маленькой буквы... однако “Брежнева” написал с большой в прощальном письме, на которое так и не получил ответа: наверху сочли, что “ничего не произошло”.

В пятую годовщину отъезда еще раз обернулся:

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.  
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.  
Там, грубо говоря, великий план запорот.

Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.  
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.  
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

Строго говоря, это не ненависть. Это — старательное безразличие, то есть перегоревшая страсть, которой лучше не давать разгораться.

Один раз только и прорвалась ярость — в момент отъезда:

Собака лает, ветер носит,  
Борис у Глеба в морду просит...  
Пускай Художник, паразит,  
другой пейзаж изобразит.

Другой пейзаж Художник изобразил за десять лет до отъезда. До отсылки, до ареста и суда:

Не следует настаивать на жизни  
страдальческой из горького упрямства.  
Чужбина так же родственна отчизне,  
как тупику соседствует пространство.

Прежде чем раствориться во “времени” и “пространстве” подобно всем прочим вещам, предметам, реалиям, биосуществам и идеологиям, — родина оставляет в поэзии Бродского некоторый след, образ, вопрос... вернее, намек на вопрос — отсутствие вопроса по причине невозможности ответа. Никто ничего не просит, ни “в морду”, ни “в лицо”. Никто никому не обязан. Родина не слышит, не знает, не реагирует, и ты в ней никак ни с кем не связан, не нужен, — ты одинок, тебя никто не ждет, не встречает, не провожает, на тебя никто не рассчитывает.

Иногда это жаль, и тогда прорывается что-то вроде робкой надежды: “Что ей стоит поберечь нас немного...” Иногда возникает что-то вроде превентивной обиды: “Слава Богу, что я на земле без отчизны остался”. Между этими чувствами — взгляд “мимо” и то загадочное состояние, которое выражено в строке: “Ни родины, ни дома, ни изгнания”. В этой строке куда больше смысла, чем в залихватской эпиграмме: “Русский орел, потеряв корону, напоминает сейчас ворону”. Двусмысленность последнего высказывания состоит в том, что ворона — любимая птица Бродского, и еще в том, что интонационно он попадает здесь в след Вознесенского, самого нелюбимого из своих собратьев.

Как и в строках о “жулье... вождей” — такой диссидентский ширпотреб, несомненно, свидетельствует об отваге молодого автора, но для этого не надо быть Бродским. А вот для строки: “Дай мне пасть в милой моей отчизне” — надо. Для фантастического неразличения бытия — небытия в строке: “Приехать на Родину для смерти” — надо. Для мучительного: “Нельзя вернуться” — надо обладать именно его характером, более того, принять судьбу, которую он предсказал себе сам в ранних стихах:

И нет на родину возврата,  
одни страдания верны,  
за петербургские ограды  
обиды как-нибудь верни.

Ты все раздашь на зимних скамьях  
по незнакомым городам  
и скормишь собранные камни  
летейским жадным воробьям.

В "Город, знакомый до слез", он так и не вернулся. Не посетил даже в постсоветские годы, когда звали усиленно, почти униженно. Доезжал до финских холодных скал, смотрел через залив, но "на Васильевский остров" так и не пришел. Говорил: сердце не выдержит. Чтобы не расшифровывать, сбывался на того же Гераклита: нельзя вступить дважды и т.д. Расшифровка, однако, просвечивала: пусть не думают, что простил.

"Наказал" Россию — пренебрежением. Даже русскую речь наказал — "рабскую"! — тем, что воспоминания о родителях написал — по-английски.

В стихах русским языком пренебречь так и не смог — писал стихи по-русски до последнего дня.

Если же вернуться к первым дням — бывало так: "Напишешь стишки в Ленинграде, потом выходишь на улицу: все кругом как иностранцы..."

Настал час — спасся из этой чуждой Родины, бежал из клетки, из барака, из вечной Деревни — объездил мир, — и тогда стало ясно, что дело не в "месте". "Кругом иностранцы" — потому что сам — кругом иностранец. Всемирный пилигрим. Пришелец на этой планете. Святости далеко, под ногами — песок, небьгть, нежить. Пропасть непродоходимая между Замыслом и копошащейся реальностью.

Отсюда — вся поэтика. Напряженная аура зова — крик птицы в пустом небе — над всякой точкой бытия. Напряженные, не уместяющиеся в строку богические цепи, звенящие от подступающего разрыва. Напряженная безнадежность неотступного выбора — между ужасным и ужаснейшим.

Как в этой облетевшей мир строчке:

Но ворюга мне милей, чем кровопийца...

Как и следовало, Россия приняла это на свой счет. А между тем это — Рим. Древний. Современный Рим — это "шпана со шприцами в сырых подъездах". Шотландия — это "хряск" при встрече протестанта и католика. Германия — место, откуда "смерть расползлась по школьной карте". Китай — это богдыхан, запивающий таблетки "кровью проштрафившегося портного". Мексика... по мы уже видели: это — "на всех широтах".

О России на таком фоне не сказано ничего особо обидного. Вариация той же богооставленности, не более. Но и не менее: взгляд, обеленный горечью.

Вот Город. "Парадиз мастерских и аркадия фабрик, рай речных пароходов". Арки домов, трубы предместий.

То, куда мы спешим,  
этот ад или райское место,  
или попросту мрак,  
темнота, это все неизвестно,  
дорогая страна,  
постоянный предмет воспеванья,  
не любовь ли она? Нет, она не имеет названия.

Сквозь толпу, сквозь отчизну, сквозь место, сквозь людей, сквозь арки Малой Охты — сквозь всю эту жизнь — к тому, что неопутимо и неназываемо.

Вот Деревня. Распутица, хлябь, брод:

Не то, чтобы весна,  
но вроде.  
Разброд и кривизна.  
В разброде  
деревни — все подряд  
хромая.  
Лишь полный скуки взгляд —  
прямая.

Взгляд, полный скуки, — сквозь все видимое.

Вот, наконец, портрет Державы: картина нежной шаткости, подпертой железом:

Этот край недвижим. Представляя объем валовой чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.  
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.  
Даже стулья плетеные держатся здесь  
на болгах и на гайках.

Варварский способ укрепить жизнь, распадающуюся от внутреннего варварства. Град, зацепившийся за берег Океана. Портрет России, написанный остывшей желчью — эликсиром спасения от перегоревшей любви.

Эта горькая связь теперь нерушима. Во-первых, перед нами все-таки портрет России. Во-вторых, перед нами поэзия, созданная на русском языке, — и именно среди русских ей обеспечено адекватное чтение. В-третьих, это все-таки диалог России с Вечностью, как бы горек он ни был.

Пилигриму же, представшему перед Всевышним “в области адской” (я думаю, все-таки — райской), можно на прощание вернуть реплику: Джозеф! Обойдемся без мелодрамы: ах, мы осиротели! Покинуть сей бранный мир — не жалко. “Мир — весьма дикое место и не заслуживает лучшего отношения”. Будем же вести себя, как будто ничего не произошло.

Последний взгляд на Россию, в декабре 1994-го, за год до смерти:

На севере если и верят в Бога,  
то как в коменданта того острога,  
где всем нам вроде бока намяло,  
но только и слышно, что дали мало.

Кому мало дано, с того мало спрошено.

Помянем нынче вином и хлебом  
жизнь, прожитую под открытым небом,  
чтоб в нем потом избежать ареста  
земли — поскольку там больше места.

Помянем...

## 5. “НЕ ВАШ, НО И НИЧЕЙ”

В галактике слов (частей речи), оставленных Иосифом Бродским, три — ключевых: холм, ворон и пыль.

Холм — единственно приемлемый вариант поверхности. Равнина убийственна. Горы — та же плоскость, вставшая на дыбы. “Жизнь — холмы, холмы...”

Птица — единственно приемлемый вариант живого: пернатое, в воздухе. От ястреба до малиновки. Но чаще всего — ворон. Черный ворон на белом изоляторе столба. О самом поэте я бы сказал: белый ворон на черном фоне толпы... Или: рыжий ворон. То есть: отщепенец индивидуального толка, в противовес типовому отщепенству “белых ворон”. Хотя в палитре Бродского цветовые пятна незаметны. Черное и белое. А в точке их встречи и взаимоуничтожения — серое.

Пыль. Самое, может быть, физически непреложное в мире Бродского. Непреложное на ощупь. То, что поднимается из старой мебели, когда ее сдвигаешь. То, что видишь, когда включаешь в жилище свет. То, что внутри вещи, если проникнуть внутрь. Суть вещи, если ее раззять. Единственное, что остается от бытия, плененного вещами и освобожденного наконец от плена вещей. Серая пыль — плод взаимодействия запредметных тонов палитры.

Пыль — атрибут вещи, цвет вещи, бытие вещи. А вещь? А вещь — бред пространства и времени. Бред, который и есть жизнь.

Вещь не стоит и не  
движется. Это — бред.  
Вещь есть пространство, вне  
которого вещи нет.

Классический Бродский. Мимо вещи — в пространство, вытесненную вещью. Мимо звука — в немоту, вытесненную звуком. Про-

странство “впереди” смешивается с пространством “за кормою”. “Между шагами тишина” сообщает шагам смысл. Движение сть отрицание бездвижности, бездвижность — отрицание движения. И то, и другое — явления “чего-то”, что не является ни тем, ни другим, но как бы суммой того и другого.

Пространство и Время цельны, а то, что в них набилось, — разъято. Мир — сумма частей. Эта сумма — попытка превратить “кавардак” в “систему”. Система рисуется в арифметических или астрономических метафорах. Числа, только числа реальны! Цифры, только цифры не умирают. Лишь прямая имеет смысл в этом хаосе. Конец перспективы — конец всего. Конец — это помесь тупика с перспективой. Мир — развалины геометрии. Архитектура — мать развалин.

Пространство и Время действуют в стихе активнее того, что их наполняет. Пространство пятится, точно рак, пропуская Время вперед. Время идет, пачкая платье тьмой.

Время тягается с Пространством.

Время больше пространства. Пространство — вещь.  
Время же, в сущности, мысль о вещи.  
Жизнь — форма времени. Карп и лещ —  
сгустки его. И товар похлеще —  
сгустки. Включая волну и твердь  
суши. Включая смерть.

О смерти — чуть позже, а сейчас — о жизни как “форме” времени или “форме” чего-либо другого. В поэтическом мире, где все явленное плавится, испаряется, исчезает и вновь неожиданно концентрируется, “форма” — универсальная категория: она позволяет превращать все во все. Ужас — форма жизни духа. Грядущее — форма тьмы. Снег — форма света. Время — форма бессонницы. Толпа отлита в форму стадиона.

Пластические характеристики, рождающиеся из этой игры формы и бесформия, по-своему изысканны. Например: “Тело покоится на локте”. Или: “Простор важней, чем всадник: передних ног простор не отличит от задних”. И даже такое: “Скулы пространства... есть форма татарвы”. Не будем относиться к этой последней характеристике как к национальной: это все то же перетекание бытия из формы в форму.

Смысл перетекания: ничего реального нет, все это только формы, и потому все мнимо. Бытие есть форма небытия.

Но если все есть “форма”, то “содержания” нет и быть не может. Содержание жизни — ноль, ничто, пустота. Тело — сгусток пустоты. Пустота — подлинник, с которого копируется существование. Присутствие равно отсутствию. Суша — эпизод воды, которой больше, а вода — эпизод чего-то, чего еще больше, чем воды. Воздух — вещь языка. Речь — сиротство звука. Смысл — инобытие бессмыслицы. Смысл и бессмыслица — равны.

Опять-таки: с точки зрения житейской логики — абракадабра. Но с точки зрения жизненной абракадабры — поэзия:

И не есть ли Земля  
только посуда? Род  
пиалы? И не есть ли мы,  
пашущие поля,  
танцующие фокстрот,  
разновидность каймы?

Мы есть “кайма” чего-то, что непреложнее нас. “Тронь меня — и ты заденешь то, что существует помимо меня...”

Бессмысленно спрашивать, что в этой жизни следствие, а что — причина. Ни объяснить, ни оправдать ничего нельзя. Можно только терпеть, наблюдать, постигать, созерцать.

Но тогда и Добро со Злом — полная чушь? Именно. “Шваль”. Добро и Зло — два кремня; искра рвется “от Зла, Добра и прочей швали”. Добро равно Злу, мудрость слита с ересью, счастье неотделимо от несчастья, ад — рядом с раем.

Жизнь равновелика смерти.

Это, может быть, самая пронзительная из антиномий (или, лучше сказать, “син-номий”) Бродского: жизнь и смерть — как равные, близкие, почти неразличимые ипостаси бытия, равного небытию.

Взяв в руки собрание его сочинений, вдруг обнаруживаешь, что огромный, в тысячи страниц корпус его поэтических текстов начинается со слова “прощай!”. И от этого слова, написанного в первой строке самого раннего стихотворения — через все творчество — лейтмотивом идет смерть. Смерть — как продолжение жизни, как двойник жизни, как неразлучная пара к жизни...

Можно истолковать это как предчувствие, понятное с точки зрения медицины: человек, который “дважды бывал распорот” врачами, чувствует свою хрупкость.

Однако и поэтически такое некрофильство ложится в картину безумного века, сорвавшего человечество в две мировые войны и заставившего его еще пять десятков лет ждать третьей. В этом смысле Бродский — дитя XX века. К традиционному скептицизму он вроде бы не прибавляет ничего нового, варьируя все те же мотивы: все мы осядем в прах, в пепел, в пыль, которую сдует будущий ребенок, сожрет будущий моллюск.

Впрочем, кто может судить о том, много ли “нового” прибавлено тут к традиционному скептицизму? На такие вопросы отвечает только время — в зависимости от того, подхвачены или забыты ответы того или иного страдальца, помогает ли его опыт новым поколениям сдюжить в подобной (или иной) ситуации или остается камень в “истории поэзии”.

Г. Комаров, составитель и редактор Собрания сочинений Бродского, пишет в послесловии, что это “единственный из великих рус-

ских поэтов XX века, в чьем творчестве отчаяние существования преодолевается самой структурой поэтической речи”.

В принципе — так, но В ПРИНЦИПЕ любой поэт делает именно это: восстанавливает распадающееся вещество духа фактом поэтической речи. Вернее, это делает Поэзия в целом. Станет или не станет “речь” Бродского таким “универсальным случаем” самовосстановления духа, для которого Пушкин окажется “частным случаем” (как Эвклид для Лобачевского, Ньютон для Эйнштейна), — это как раз и решит история. Заодно она решит смутный сегодня вопрос о гениальности: гений — понятие ситуационное, он виден только на расстоянии, тогда как великого поэта видишь “в упор”. Во всяком случае, все может быть. Бродский демонстрирует выживание духа в тотально-гибельных условиях, он выпускает эту смертельную тотальность в глубь души — внутрь речи — в центр стиховой ауры. Отсюда — его тотальное “нет” ВСЕМУ, с чем входит в эту ауру реальность.

Но и ответная живучесть — фантастическая.

Узор, выложенный таким тотальным взаимоупором, дает фактуру стиха, которую можно воспроизвести на уровне манеры письма, но невозможно воспроизвести на уровне духовной практики.

Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст, и слежимся в обнимку с грязью, считая дни, в перегонной, в осадок, в культурный пласт. Замаравши совок, археолог разинет пасть отрыгнуть; но его открытие прогремит на весь мир, как зарытая в землю страсть, как обратная версия пирамид. “Падаль!” — выдохнет он, обхватив живот, но окажется дальше от нас, чем земля от птиц, потому что падаль — свобода от клеток, свобода от целого: апофеоз частиц.

Апофеоз частиц — это апофеоз неистребимости. Это распад до такого последнего предела, с которого начинается собрание мира из частиц, и поскольку — из частиц, то это собрание так же фатально и неостановимо, как распад до пыли.

Земная поверхность есть  
признак того, что жить  
в космосе разрешено,  
поскольку здесь можно сесть,  
встать, пройти, потушить  
лампу, взглянуть в окно.

Что же за окном? Бесконечность. Все, что “не мы”. И это “не мы” — одно из самых трагичных переживаний личности, готовой бес-трепетно раствориться в запредельных сверхматериях. Бесконеч-

ность — два сцепленных нуля. Однако вслушайтесь: “Ты — никто, и я — никто. Вместе мы — почти пейзаж”. Усмешка, судорогой прошедшая по этой фразе, важнее самого хода слов. “Мы”, конечно, можем встретиться “там”. Но “там” будем уже не “мы”. Но раз отчаяние оборачивается усмешкой, то это неистребимо. Это будем не “мы”. А что? “Пейзаж”.

Нужен ли этому “пейзажу” Бог?

Строго говоря, нет.

Однако “Бог” в этом “пейзаже” есть. Он здесь затем, чтобы обозначить все то, что в этом мире не вмещается в свои параметры. А не вмещается — “все”. Поэтому “Бог” может быть очерчен как “все”: любыми признаками. Но — отрицательно: через “не”.

“Бог — не природа... Бог и не совесть”.

А что же все-таки?

“Он — их творец”.

Иными словами: та самая первопричина, которая находится у Бродского в неразрешимой тяжбе со следствиями. С точки зрения логики, да и философии — все тот же тавтологический тупик. С точки зрения поэзии — выход: мучительное равновесие, побуждающее к непрерывному тревожному вопрошанию вроде молитвы и к непрерывному подтверждению бытия вроде благодати.

Кроме страха перед дьяволом и Богом,  
существует что-то выше человека...

Интересно, что Бог тут приравнен к дьяволу (как жизнь — к смерти, рай к аду, добро ко злу...).

Так все-таки: если существует что-то “выше” страха Божьего, тогда вопрос: то, что “выше”, это Бог или не Бог? Если Бог, то построение бессмысленно. Если не Бог, то что? Или: кто?

Чисто поэтически тут опять-таки есть путь спасения: своеобразное травестирирование образа. На этом пути Господь узнает себя в Сыне как “бездомный в бездомном”, он клеит “глобус”, он, Господь, “органичен”, и даже так: он “смотрит вниз” на творение рук своих, как со столба или с облака, “а люди смотрят вверх”. Такой Эйфель побродски.

Однако помимо библейского балаганчика есть тут и евангельская мистерия, которую Бродский воспринимает с потрясающей чуткостью. То есть: он смиренно впускает слабость в самую душу, в самый дух. Это то “блаженство нищих духом”, которое не укладывается ни в ветхозаветные, ни в языческие, ни в атеистические понятия. Тут можно было бы повторить вслед за крестившимся римским язычником: душа человеческая по природе христианка! И вслед за крещеным потомком иудеев: когда поэзия впадает в неслыханную простоту, тогда исчезает ересь. Это, я думаю, сильнейшее из написанного Бродским:

Мать говорит Христу:  
— Ты мой сын или мой  
Бог? Ты прибит к кресту.  
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,  
не узнав, не решив:  
ты мой сын или Бог?  
То есть мертв или жив?

Он говорит в ответ:  
— Мертвый или живой,  
разницы, жено, нет.  
Сын или Бог, я твой.

Секрет — качание смысла на острие тотального отрицания: Сын? Бог? Жив? Мертв? Все рассыпается. И рассыпанные “частицы” собираются вновь в Целое. “Я твой” — независимо от того, Бог или не Бог, жив или не жив. “Я твой” — независимо НИ ОТ ЧЕГО. Какое чистое тремоло. Какой очищающий шок.

Секрет обаяния поэзии Бродского, столь узнаваемого в каждом повороте стиха, столь легкого для внешнего подражания и столь невозпроизводимого во внутреннем дыхании, — не в той философской схеме, которую я тут “вычленил” и которую действительно ничего не стоит спародировать, — но в соотношении, сопряжении, со-творении “схемы” с “веществом жизни”. Если бы содержание этой поэзии сводилось к шестивью “мимо” реальности, единственным финалом ее должна была бы стать немота. То есть конец самой поэзии. Но смысл действия не в отказе от мира, а в непрерывном контакте души с тем миром, от которого она отшатывается.

Поэтому, проходя “мимо”, пилигримы все время видят то, “мимо” чего проходят.

Поэзия Бродского — непрерывное двужильное, жадное, яростное, неистощимое перемалывание впечатлений, идущих “мимо”: от мировой истории до милицейской хроники и от экскурсионной прописи до какого-нибудь домашнего половика, вентилятора или стула. Титаническое размалывание мира в поисках Смысла, сомнамбулическое разбрасывание и собирание осколков, раздувание пылинки до Вселенной.

И в финале стихотворного эпизода — как правило — возврат к какой-нибудь элементарности, мгновенное сворачивание Космоса в пылинку, в деталь быта; что-нибудь вроде: “Хочется пить”. Или: “Без мебели жить нельзя”. Или: “Кто там?” — за дверью. Или: “На бумажке простой кружок. Это буду я. Посмотри на него — и потом сотри”.

Вот это миропересоздание в миниатюре:

Спи. Земля не кругла. Она  
просто длинна: бугорки, лощины.

А длинной земли — океан: волна  
набегает порой, как на лоб морщины,  
на песок. А земли и волны длинной  
лишь вереница дней.

И ночей. А дальше — туман густой;  
рай, где есть ангелы, ад, где черти.  
Но длинной стократ вереницы той  
мысли о жизни и мысль о смерти.  
Этой последней длинной в сто раз  
мысль о Ничто; но глаз

вряд ли проникнет туда и сам  
закрывается, чтобы увидеть вещи.  
Только так — во сне — и дано глазам  
к вещи привыкнуть. И сны те вещи  
или зловещи — смотря кто спит.  
И дверью треска скрипит.

Скрипит дверь. Плывет треска. Сидит на столбе ворон. Черный?  
Белый? Рыжий?

“Смотря кто” стоит у столба и глазеет вверх.

*Валерия Нарбикова*

## Последний великий

Нет сомнения, что Набоков — великий русский писатель. Но все-таки Владимир Владимирович Набоков — последний великий русский писатель. Причем абсолютно — последний. Абсолютно — великий. И абсолютно русский. Даже в его времена, то есть когда он еще был жив, были и русские писатели, и советско-русские, и русско-советские, были даже великие советские писатели, были первые — русско-советские, были даже последние русские писатели, после которых остались уже только русско-советские (хорошие, плохие, средние), были даже последние хорошие русские писатели. Но Набоков так и остался Великим-последним русским писателем. Он замкнул русский ряд великих, если считать, что Гоголь — великий, Достоевский — великий, Пушкин — великий, Толстой — великий... да не будем перечислять всех великих русских писателей, среди которых последним великим оказался Набоков. И если бы не он, то великий, могучий русский язык не сохранился бы в 20-м веке таким же великим, могучим и русским. То есть даже можно сказать, что литературу 20-го века можно рассматривать как до-набоковскую и пост-набоковскую.

В общем, получалось так, что по нему проверялся вкус. “Вы читали Набокова?”, “Вы любите Набокова?”, “А что вы больше всего любите у Набокова?”, — вот что говорили молодые люди семидесятых—восьмидесятых годов, к которым Набоков попадал оттуда, и

молодые люди читали Набокова даже не в виде маленьких замечательных книжек “Ардиса”, а читали какие-то слепые ксероксы и машинописные копии.

Набоков был мифом. Почему мифом?

Он не — стрелялся.

его не — убили на дуэли.

у него не — было много женщин.

он даже не — получил Нобелевскую премию.

Говорили, что он уехал из России в семнадцать лет, и он был аристократом, собирал бабочек, и он переводил Пушкина. Что после того, как у него не стало дома, то есть дом так и остался в России, а он так и остался вне дома вне России, у него уже никогда не было своего дома, и он так и скитался по гостиницам, и что он еще писал стихи, и что он никогда не вернулся в Россию.

Пожалуй, у Набокова было самое большое количество эпигонов. Скорее всего, не меньше, чем у Бродского.

Стали даже материализоваться набоковские персонажи: советские мальчишки-эмигранты, проживающие где-нибудь в Питере или в Москве, они ходили с поднятыми воротниками, курили и писали рассказы как бы как “Весна в Фиальте”. Набоков оставался самым провокационным писателем, в которого можно было впасть. Трудно было обидеть молодого автора, который давал почитать свой рассказ, почти как у Набокова. В этом смысле он тоже последний — он завершил русский язык и завершил русского героя. Он усвоил и выразил все самое зыбкое в русском герое, все недосказанности, все отточия. Поэтому, конечно, не может быть набоковской школы. После Набокова нужно начинать все сначала. Поэтому возникла пост-набоковская литература. Следовательно, он писатель — окончательный.

В русской литературе есть традиция героя трогательно-смешного (Обломов, Пьер Безухов, Лужин) и героя агрессивного (Раскольников, Передонов...). После Передонова (соллогубовского из “Мелкого беса”) расплодилось новые-русские герои. Более или менее талантливо написанные, они заполнили собой пост-набоковскую литературу.

Самые как бы русские набоковские романы — это “Защита Лужина”, “Другие берега”, “Дар”.

Самый не русский — “Лолита”. Самый русский в этом не русском романе — язык. По-русски написано о том, чего в русской литературе никогда не было. Никогда не было такого американца, да и вообще американцев в русской литературе на было. И не было такой девочки. Как будто бы не было. На самом деле такие девочки в русской литературе были, но не были написаны в виде девочек. Была девочка Соня Мармеладова (Достоевский, “Преступление и наказание”), была девочка — Настя (Достоевский, “Идиот”, Настасья Филипповна). Русская литература — то есть язык ее, то есть дух ее — не позволяла себе описывать таких девочек. И еще была одна де-

вочка — Дуня (Достоевский, “Преступление и наказание”). Была еще Лиза (“Бедная Лиза”, Карамзин). Наконец, была Наташа (“Война и мир”, Толстой). Но вся любовь этих девочек — оставалась за пределами русского языка. Из всех этих русских девочек Набоков сделал антидевочку, совсем нерусскую, нарочно нерусскую, только написанную по-русски. Это как будто маленькая анти — дуня-наташа-лизнастя живет с Обломовым. Сказали, что это порнография и порок. На самом деле — это итог русского героя.

И этим как бы итогом как бы русского героя, конечно, стал американец, отвратительно называвшийся Гумочкой. Набоков подытожил русский язык, как бы довел его до невозможности развития в этом смысле и открыл новую тему, то есть произвел нового героя.

И он никогда не был пророком, Набоков. Он не вещал ученикам. Он не учил, как надо жить. На мучительно русские вопросы “Кто виноват?” и “Что делать?” он отвечал косвенно. И получалось, что никто не виноват и ничего не делать. Но есть у него такой роман “Подвиг”. Мучительно русский этот роман. Там молодой человек возвращается в красную Россию, как бы сознательно идет на бессмысленную смерть. И все осмысленно-прагматично-некрасовское — “Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан” — как раз наоборот: без всякого прагматизма, по-юношески робко, но упорно, то есть упрямо возвращается этот молодой человек на родину не как гражданин, а как ребенок. Просто как ребенок — домой.

Толстой, конечно, пророк. И как полагается пророку, он в течение всей своей жизни насиловал свою собственную жизнь. И в конце концов сам от самого себя сбежал.

Для Набокова литература была частным делом. Это было его собственное личное дело, его даже не задело то, что “поэт в России больше чем поэт”, собственно, он был только поэтом.

Кто может знать, что его ждет. Я не думала, что буду писать о Набокове в Джерси Сити под Нью-Йорком во время снегопада, который бывает так редко, последний раз был семьдесят пять лет назад, и из дома напротив выйдет толстенная негритянка под черным зонтом. Собственно, она выйдет для контраста. Для цвета.

Гамлетовский вопрос — “быть или не быть?” — есть. Это очень русский вопрос. Даже более русский, чем “что делать?” и “кто виноват?”. После горбачевской перестройки кончился Советский Союз и началась Россия. Но совсем другая Россия. Мне когда-то казалось, например, когда мне было лет двадцать, что если наступит такое время, когда можно будет покончить с советской литературой, то этот опыт советской литературы сразу же отомрет и вымрет прямо на глазах. И после нормальной русской литературы начала века и Набокова — последнего русского писателя — Великого — и нескольких хороших русских писателей сразу начнется другая литература, в которой советская и не ночевала. Но, оказывается, опыт советской

литературы вошел в пост-советскую (примером могут служить пост-модернисты и концептуалисты). Для концептуалистов советская литература — так же как и советская живопись — стала питательной средой. Подсмотреть и грамотно оформить — вот методология концепта. И в самом методе, как, впрочем, в любом методе, нет ничего отталкивающего. Оттолкнуть может лишь пафос, с которым концептуалисты провозглашают, что нет ничего более достойного в современном искусстве, чем концепт. Прямо как в эпоху соцреализма: социалистический реализм — и все! концептуализм — и все! Ничего не скажешь — грамотно оформлено.

Есть, пожалуй, еще несколько русских вопросов для кухонных дискуссий, нет, не для обсуждения в журналах и на коллоквиумах. Желательно, чтобы обсуждение этих вопросов шло ночью в достоевско-мармеладовском интерьере за бутылкой водки: “мир спасет красота” или “мир спасет любовь”. На “великом”, “могучем”, “русском” языке Набоков прямо постарался не ответить ни на один из них. А собственно, почему его нужно спасать, этот мир? Почему это человек представил себя в роли Спасителя? Это почему человек вообразил себя главным на земле? Конечно, человек — большой изобретатель. Например, изобрел самолет. И самолет в небе по отношению к земле движется медленней, чем автобус по отношению к земле. Россия, конечно, великая страна, то есть очень большая, и Набоков великий писатель, то есть очень большой. И в России он сейчас издан и переиздан. Но почему-то человек больше всего любит запрет — даже революции происходят, потому что запрещено: то листовки запрещены, то пистолеты запрещены, то баррикады запрещены — и когда Набоков был запрещенной литературой, его жаждали прочитать как запрещенного. Сейчас у Набокова остались те читатели, которых можно назвать читателями Набокова. Тем более что Набоков — писатель не только для чтения, но и для перечитывания.

*Юлий Крелин*

## МЫСЛИ ИЗ ТЕТРАДКИ

Мне бы здесь, в тетрадке, не выдать все, о чем пишу, за истину. Пусть даже хоть для самого себя. А то словно те самые революционеры, что не больно много знали, но ощущали себя все знавшими точно, а потому бывшие совершенно уверенными в своей высокой правоте. Говорили уверенно, писали без сомнений и заражали людей еще менее сведущих, которых большинство, своей уверенностью. И прельщали. Одна из прелестей сатаны — накормить всех, отрицание мысли, что не хлебом единым жив человек. Собственно, у прельстившихся сим до хлеба дело не доходит. Нет его. Сатана, бесы накормить не могут.

И еще одна бесовская прелесть — призыв к справедливости. Что тоже звучало в речах. И дома в митинговых криках и здесь. (Чаще всего пьяные талдычат о справедливости.) В тысячный раз убеждаюсь (убеждаю себя), что справедливость и равенство совсем не тождественны, как иные норовят доказать. Справедливость — это неравенство! Заслуженное неравенство. Заработанное неравенство. Все должно быть справедливо заработано, а тогда какое же равенство!

Свобода — это прежде всего свобода выбора отдельной личности, а не свобода действий для любого переустройства. Свобода выбора без всякого давления — прямого или косвенного. Мы-то, оказалось, не готовы к выбору. Стало быть, не готовы к свободе. Свобода! Вот здесь везде, на конференции, в холлах, в домах, в кафе иль в ресторанах, самолетах иль вагонах — все курят. Выбирай место — и кури.

Сообщается также, что это вредно, но никакой усиленной пропаганды нет. Зачем слишком агитировать, когда не менее вредны соль, сахар, яйца, мясо, жир, тесто, город, уголь, нефть... Это и есть жизнь. Выбор желанного должен определяться внутренними потребностями организма и психики. Так, значит, и нечего усиленными резонами давить на них. Вопрос лишь о вреде для окружающих. А кто боится — пусть не курит. Пусть ими и впредь движет страх. И в этом случае, правда, нет свободы выбора. Вся жизнь наша риск — чего уж тут бояться дыма? Дым-то без огня. Вот и получается: американцы простодушны и доверчивы, мы же не доверяем никому, а потому злобны и подчиняемся.

Свобода при страхе чего угодно — относительна. Хотя свобода всегда относительна. Люди часто не выбирают, а запуганы и действуют нередко под влиянием страха. Осознанного или подкоркового.

Когда Христа водрузили на крест, у народа была мысль: если ты Бог — сойди с креста, ты же все можешь. Сойди, и мы поверим.

Но тогда где же свобода выбора? Тогда доказано. Тогда не Вера — тогда Наука. Тогда все осознано. Все, что в пределах понимания, объяснения — не вера. Вера — именно потому, что нелепо. Не понимаю — верю! И верить (верить!) можно только в невидимое, не вмещающееся в нормальный разум, здравый смысл. Остальное познаешь. Вера столь же нужна миру, как и наука. В науке нет выбора после доказательства. А где же свобода?..

\*\*\*

Кто выбирает свободу, а кто равенство. Равенство — гиль, дичь. Не бывает и быть не может. Каждый все и всякое должен заслужить, заработать, проявить способность. Иначе бедная, бесперспективная нивелировка. Иначе распределение, и тогда кто-то должен распределять. Если надо работать, заработать для комфорта, значит, должна быть собственность. Собственность — это выбор. Без выбора нет и права. Равенство — это не выборы и не права, ибо все равны, все равно, а стало быть, все равно — так или иначе. Должна быть собственность, и разная. Если рассуждать разумно, идею благодетельности равенства должно похоронить. В неравенстве, в собственности, в материализме (не в философском смысле — грубом, грубом смысле) — основа отдельной личности, прихотей, своеобразных потребностей, все не коллективное, сугубо индивидуальное. В неравенстве и проявляются черты личности. Может быть, поэтому не коллективистские люди, индивидуалисты, потому и тянутся к собственности, а следом к индивидуализму. Что первично? Черт его знает. А вот где приверженность идее, да еще с полным отрешением от материальных забот, — и следом отсутствие личности, индивидуальности. А тут уж простор

для равенства. Вернее, разговоров о нем — истинного равенства нет, миф — злой и опасный миф.

Они должны точно обозначить, что есть справедливость. И без всяких прилагательных типа “социальная”. Либо справедливость есть, либо ее нет. Справедливость — это что и как заработал, то и имеешь. Справедливость — работа зависит от способностей, умения, желания, энергии. Заработанное на основе собственных особенностей. Значит, неравенство справедливо. Справедливость — это прежде всего неравенство. Без этого и искать нечего рационального зерна в марксизме. Честно ищущие его сначала должны решить для себя проблему равенства и справедливости.

Буржуазность или марксизм? Идеала нет. В каждом, во всяком есть свое хорошее и плохое. Но буржуазность доказала свое хорошее и большей комфортностью в жизни и способностью к эволюции. Марксизм, во всяком случае пока, — застыл, стабилен. Если нет движения — это смерть, нежизнеспособность. Нет ничего губительнее охоты за справедливостью.

\*\*\*

Забастовка вообще довольно смурная вещь. Я еще могу понять забастовки политические — в них меньшая фальшь. Забастовка в развитых странах тоже более или менее понятна. Я могу понять, когда у состоятельного общества, у богатой фирмы требуют повышения зарплаты, требуют поделиться с самим производителем. А когда у нищее наше правительство берут за горло и требуют, словно блаженной памяти Паниковский: “Дай миллион, дай миллион”, — мне это кажется просто бесчестным. Или забастовка медиков. Да в наших условиях это просто лицемерная борьба с собственным народом.

Забастовка у нас — это попытка окончательно дестабилизировать общество, замутить водичку — может, что-нибудь и выловится. Все это явно устраивают коммунистические номенклатуры в надежде опять выбраться на бережок, вновь греть косточки свои на солнышке. В семнадцатом году ведь они и сумели власть перехватить благодаря беспардонному разрушению и дестабилизации. И как легко подхватываются не думающим быдлом люмпенским подобные лозунги и утопические идеи. Внутреннее ощущение своего благородства, мол, за общество страдаем и зарплату не получаем. Все, мол, для вас, граждане. И даже думающие люди порой поддаются сей нечисти.

А формально кто инициатор? Профсоюзы! Профсоюзы — воистину школа коммунизма. А у нас — тысячекратно так. Никогда за семьдесят лет мы от них ничего, кроме гнусностей и еще одного яра на наши выи, не видали. Им бы лучше бы сейчас стать школой разрушения коммунистического подхода к жизни. Например, сообразить,

что люди должны душой отторгнуться от того, что общественное выше личного. Пусть бы доказали, что профсоюзы борются за комфорт отдельной личности. Как говорится, полюбите человека, а обществу, человечеству оттого будет большое облегчение. Экая петрушка! За человечество бороться. А так вот и получается, что кого-то не полечили, кого-то недоучили, а кто и на поезд опоздал... А им все до лампочки — они за человечество душу дьяволу продают. Душу дьяволу ни за какие успехи любого общества продавать не след. Мы это весьма наглядно доказали всей своей историей последних десятилетий.

\*\*\*

Порядочные люди, как мне кажется, толпу не направляют, а сторонятся ее. Поэтому при победах, особенно при революциях, и особенно при “национально-освободительных”, к кормилу (кормило — где кормят, насыщают тело, а не властвует дух) пристраиваются не аристократы духа, а рабы... и своих карманов тоже. На легкости и прельстительности национальной “проблемы” поддерживают их люмпены духа. По-моему, порядочные люди чураются и вообще этой проблемы, если только речь не идет о национальной культуре.

Победы вообще сомнительны и опасны. Руководители, направляющие, всякого рода “присматривающие”, после победы, увитые лаврами, либо любят себя своим отражением в зеркале или собственным ликом на портретах; успокоенные и упоенные, считают, что все хорошо было ими сделано, что ничего уже не надо — победили же.

И если это устоявшийся правящий режим, то они (начальники) убеждены в правильности той дороги, по которой успешно шествовали к победе и которая привела их к военному успеху, а потому продолжают гнуть ту же линию и заодно хребты своих подданных. А победители революций, преступившие закон и узурпировавшие власть (так сказать, по определению), беспредельно уверовав в собственную правоту, прежде всего в нарушении закона, не задумываясь, и вовсе полностью теряют к закону всякое почтение, да и самоконтроль, коль нет закона. Если Бога нет, так все позволено.

Революционеры или, скажем, лихие диссиденты опасны в условиях наступившей свободы. Те, что боролся с тиранией вне рамок закона. Тирания — это когда не соблюдаются даже собственные тиранические законы. Отсюда тиран и революционер — братья: оба не соблюдают закон. В условиях наступившей свободы победители привычно не соблюдают закон, ибо это и привело их к успеху. По-видимому, и с дурным законом следует бороться лишь в рамках закона. Разрушителем быть легче, чем созидателем, — мысль небогатая. Наша сегодняшняя история доказывает это. (Хотя Ленин и Сталин были созидателями — создали людоедский режим. Их цель, как мы теперь

понимаем, соответствовала средствам. Методы строительства тоже были сатанинскими.)

Тирания, несвобода, борьба способствуют образованию, сплочению коллектива, стаи, стада. Опасно. Свобода способствует разобщению людей. Люди, из составляющих стаю, имеют возможность перейти в категорию отдельных личностей. Свобода — это индивидуализация. Какая личность создавалась в борьбе, такая и проявилась в условиях свободы. И нынче иные боровшиеся с коммунистическим угаром сильно разлетелись, разбрелись далеко друг от друга.

Вспоминаю историю. Всегда после революций (а революция всегда победившая, как мудро сказал поэт: “мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе”) обрушивается на общество бандитизм, а следом коррупция, или проще — воровство. Холопья радость от возможности жизнь переиначить без контроля собственной же нравственности, спаленной в огне несправедливой (даже если она правильная) борьбы. Я пишу это под впечатлением прочитанной книги о французской революции, о мерзостях кровавой толпы (толпа, как правило, грязна и кровава), направляемой всегда кем-то и откуда-то исподтишка. То же в Париже, то же сто тридцать лет назад в Америке, то же семьдесят пять лет назад у нас.

И сейчас... Не знаю, революция нынче или нет... Или просто ветерок над долго простоявшим без свежего воздуха затхлым болотом.

\*\*\*

Спрашиваю, и не только русских эмигрантов в Италии или в Израиле, но и из Америки, Англии: “А интеллектуальная среда у вас... для вас есть? Интеллектуалы есть?” — “Видишь ли... здесь несколько иные и понятия и фактическое положение. Интеллектуалы... У нас профессионалы. А интеллектуалы — это профессия. Философы там, писатели... гуманитарии...” У них знают узко и глубоко. Может, пожалуй часто уже и глубже. А в России — интеллигенция, в том числе и образованная, возможность широкого общения — обо всем можно поговорить. Отсюда широта и особая прелесть общения, радость разностороннего необязательного разговора — хоть о смерти, хоть о войне, хоть о проблемах социальных, духовных, литературе, звездах на небе и на погонах, нефти в земле и бензине в баках машин, о Боге, о музыке, любви и сексе, водке и цветах и так далее и так далее — короче, о чем угодно, что называется “разговор по душам”. И это порой гордо называют духовностью.

К сожалению, профессионализм у нас от этого страдает. Порой и у профессионала даже в его деле может, ну, если не царить, то, во всяком случае, в излишней мере присутствовать дилетантизм. У нас и палачи-то дилетанты. Если вспомним раж Петра со своим чичис-

бесм Меншиковым в качестве палачей при стрелецкой казни, отрубавших головы неумело, попадая по спине, а не по шее, приносящих дополнительные мучения несчастным на плахе, то и увидим этих дилетантов в действии. Иные врачи, к сожалению, милы, прелестны, но и даже в таком деле остаются дилетантами. Как тут не вспомнить Дезика Самойлова: “Ах, русское тиранство - дилетантство”. Вот уж, кажется, вздор — не дай Бог познать русское тиранство. Мы-то его пережили. Но ведь действительно дилетантство. Все ужасы тиранства мы испытали, а все плюсы ушли... вернее, даже не появились. Вырастают из нашего тиранства лишь оружие да страх на весь мир. (А вот если сравнить, скажем, с тиранством какого-нибудь Кувейта, то и поймешь родное дилетантство.) А колбасы при этом мало, одежда убогая, предметы излишества и вовсе с трудом приобрести можно. А без излишества нет личности. Излишества у каждого свои. Излишние потребности и дают индивидуальную окраску. У тиранства толпа. Тиранство не способствует появлению личностей. А если появятся, норовит стереть — подравнять или уничтожить.

А может, это, как говорится, *conditio sine qua non* — необходимые условия.

И все же русский дилетант широк и про все поговорить в состоянии, и делает это с удовольствием. А дальше зависит от характера — интересно это или ужасно.

В мозгу остается много места, много свободных связей, жаждущих к чему-то прицепиться, приобщиться к новому. Старание заполнить еще одну свободную связь — одна из прелестей русского дилетантизма. Отсюда и меньше проблем с коммуникабельностью (если не бояться стукачей), чем в странах цивилизованных профессионалов. (При прочих равных.)

\*\*\*

Все же мягкие выводы: интеллигенты, наверное, в душе космополиты. Как странно... А может, и закономерно, что интеллигент, космополит все же, в основном, и есть главный носитель национального духа. У всех наций. (А вовсе не крестьяне, как считают почвенники всех народов.) Интеллигент открыт для всех культур, он лучше знает свою историю, ценит свою культуру. Чтя свою культуру, он в состоянии любить достижения чужой, которая ему оказывается совсем не чужда. Любая культура интеллигенту не вчуже, как не бывают вчуже интеллигенту достижения духа. (А тут и начинают рождаться сомнения о многих интеллигентах недавнего прошлого. Да и сегодняшних дней порой, которые иные постижения, поиски духа отвергали с порога, а то еще и гнали с улюлюканьем.) А если он отрицает, не любит, противится чужим культурам — он тотчас же националист, а то и фашист.

Это относится, кстати, не только к национальным аспектам, но и социальным, классовым, если таковые есть, что недостоверно.

Мир полон смешных, трагических противоречий — возможно, это и движет мир вперед. Ведь, безусловно, Октябрьская революция подвигла мир на много шагов вперед и принесла неисчислимые беды, духовно отбросила Россию назад. Теперь считай, насколько она прогрессивна. Да нет, без сомнения: “Все прогрессы реакционны, если рушится человек” — сказал поэт. И это истина непреложная. Или последняя, великая, сумасшедшая война. Она тоже двинула мир вперед. Но нужно ли такое движение? Пожалуй, последняя Великая война не вторая мировая. Последняя Великая война (воистину великая), длящаяся почти полвека, между цивилизацией и большевизмом, в основном, между СССР и США с сотоварищи. Величие подлинное в ее новизне. Война нового типа. Без прямого уничтожения и захвата земель. Относительно, разумеется. Война современной цивилизации. Война, доказывающая жизнеспособность экономических и духовных систем существования. Ее называли ХОЛОДНОЙ! Оно и лучше.

А значение ее грандиозно. Успехи невероятны и, пожалуй, более ощутимы, чем горячие бои. С окончанием ее полмира освободилось и получило шанс, надежду жить нормально. Вторая половина мира освободилась от страха. (От одного из страшных страхов.) Вот когда появилось новое мышление: когда все для войны было уготовано, да обробели, убоялись самими же придуманного оружия.

Хорошо бы придумать какие-нибудь иные формы разрешения конфликтов, без обязательной игры мускулами. Иные считают, будто Маркс утопически говорил о классовой борьбе как о борьбе интересов, а не людей. Думаю, что любая борьба в итоге становится схваткой между людьми, игрой мышц. Борьба идей не ограничивается абстрактным сопротивлением интересов друг друга. Большевики начинали как идеалисты, алчущие лишь бескровной борьбы (якобы), но именно до того, как стали большевиками. (Я говорю о формальных большевиках, а не духовных, идущих издревле.) В конце концов, любой борющийся кончает уголовщиной. Нечаев, Бакунин были более откровенны с самого начала. Ленин, Сталин все поняли как надо с самого начала, как говорится, от снесенного яйца, от нечаевцев до бойцовых агрессивных петухов.

И всех сделали уголовниками. Создали, выпестовали уголовное мышление из нормальных ситуаций. И так просто считать нормальные поступки уголовным деянием — и все преступники, все дрожат, все повязаны. Обычную торговлю назвать спекуляцией. Продавать свой труд, свое произведение, свое время, наконец, — назвать преступным стяжательством. И вдруг нынче оказалось разрешено все, что не запрещено, а не наоборот, как было при большевиках. Нравственный раскардаш в головах и душах населения. Рукой подать до бессмысленного бунта. Безмысленного, а стало быть, беспощадного.

*Александр Глезер*

## **В ПИТЕРЕ И В МОСКВЕ**

Показ коллекции Кенды и Якова Бар-Гера сначала в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге (июнь — июль), а затем и в Государственной Третьяковской галерее (июль — август) стал событием в художественной жизни обеих столиц. И не удивительно. Ведь свою коллекцию неофициального русского искусства наши немецкие друзья начали собирать аж тридцать лет назад. И вот теперь привезли в Питер и в Москву, причем как раз в юбилейный год — к сорокалетию нонконформистского искусства.

Двести двадцать произведений, экспонировавшихся в Третьяковке на Крымском валу, показали во всем блеске творчество тех художников, которых год назад на открытии выставки моей коллекции в Музее изобразительных искусств им. Пушкина директор этого музея И.А. Антонова назвала классиками русского искусства XX века. Тогда же, кстати, «Правда» язвительно откликнулась на тезис Ирины Александровны: дескать, какие это классики, покажет время. Автор коммунистического издания подзабыл, видимо, что время уже все показало. Все прошлые любимцы «Правды» канули в небывль, а вот те, кого правдинцы и их коллеги из других советских изданий на протяжении трех десятилетий травили и клеймили, представлены не только в крупнейших мировых музеях по обе стороны Атлантики, но и в музеях отечественных — в той же Третьяковке, в Пушкинском музее, в Русском музее, в музеях Красноярска и Нижнего Новгорода, Владивостока и Хабаровска, Иванова и Новосибирска... Об этих худож-

никах и на Западе, и в России публикуются монографии, пишутся статьи искусствоведами и журналистами. С некоторыми из них сотрудничают престижные галереи Парижа и Нью-Йорка. Как же прикажете их называть? Конечно, классики!

В коллекции Кенды и Якова Бар-Гера большинство наших мастеров представлены отменно, особенно Владимир Немухин, Олег Целков, Эдуард Штейнберг, Владимир Яковлев, Анатолий Зверев, Вагриг Бахчанян... Всех не перечислить. Видно, что работы эти тщательно отбирались, — случайных, проходных здесь нет.

И когда смотришь эту замечательную выставку, которая вскоре уедет на родину, в Германию, начнет путешествие по немецким музеям, становится грустно от мысли, что до сих пор на Западе это искусство знают лучше, чем в России, что до сих пор никак не удастся создать в Москве музей этого искусства, отражающего целую эпоху в жизни страны. На наших глазах открываются в столице новые банки, магазины, казино, торговые центры, коммерческие галереи, а музея нового русского искусства нет как нет. А ведь и требуется-то для него помещение всего лишь в 2—3 тысячи квадратных метров. И ведь речь идет о нашей, господа, культуре. Неужели мы будем более равнодушны к ней, чем американский профессор Нортон Додж, который не только собрал огромную коллекцию неофициального искусства, но и основал осенью прошлого года в штате Нью-Джерси музей неофициального советского искусства?! А в этом году в городе Хадсон, в двух часах езды от Нью-Йорка, открыл еще один такой музей врач и коллекционер Роман Табакман. А вот немецкие коллекционеры собрали и привезли свою коллекцию к нашему юбилею в Россию. Не знаю, как вам, господа спонсоры, меценаты и власть имущие, но мне стыдно. Стыдно из-за того, что американцы, немцы и наши эмигранты больше думают, больше любят свободное русское искусство и тратят массу времени, энергии и средств на его собирание, да еще и музеи создают на базе своих коллекций. А мы что же? Доколе, господа?!

Я шел и шел по залам Третьяковки. Передо мной мелькали картины Владимира Немухина, смотрели на меня глаза персонажей Владимира Яковлева и Олега Целкова, будоражили душу снежные пейзажи Оскара Рабина... И было грустно оттого, что все это скоро уедет на Запад. Но согревала надежда, та, которая умирает последней, что все-таки и мы дождемся московского музея этого искусства, что есть для этого и картины, и меценаты, а столичные градоначальники, верится, должны расщедриться на помещение и тем самым, помимо всего прочего, обессмертить свое имя. Только культура и способна это сделать, между прочим.

А Кенде и Якову Бар-Гера большое, искреннее спасибо.

*Вольфганг Шлотт*

## **ВОЛОДЯ ЯНКИЛЕВСКИЙ**

Этот художник\* философствует; его объекты требуют ориентации на преодоление Эго-позиции. В этом смысле наших художников объединяет патетическое преодоление Эго-перспективизма Ренессанса. Они архаичны, в точном смысле этого слова: они выявляют первоосновы.

*Евгений Шифферс*

Кто хочет проникнуться творчеством художника и графика В.Янкилевского, родившегося в Москве в 1938 г., вдруг обнаруживает, что в поисках специфических особенностей его произведений его постоянно преследует, казалось бы, неразрешимое противоречие. Комплексная структура его объектов — речь идет о графических работах, различных по технике: коллажах, сложных композициях, работах маслом, — которые многими своими сторонами отражают технизированную реальность 20-го столетия, соотносится в то же время в основном с антропологическим содержанием, вызывающим в зрителе высокую степень эмоциональности. Так, например, при сравнении графических работ серии “Анатомия чувств” 1972—1979 гг. с триптихами и пентаптихами того же времени обращает на себя внимание то,

\* Как Кабаков и Штейнберг.

что внешняя и “внутренняя” анатомия тел графических листов структурно выявляются вновь в пластических работах.

Как же описать это совмещение “предметности” как следствия абстрагированного эмоционального состояния и строгой логики в построении его картин и сложных композиций? Начнем с графических работ, в которых изображенные фигуры представляют зрителю определенные движения, перспективы или соотношения между объектами. В то же время его могут озадачить маскоподобные человеческие существа, как в цикле “Город — маски”, или искаженные человеческие тела, так называемые Мутанты, в одноименном цикле семидесятых годов. Окруженные различными техническими устройствами и символически понимаемыми объектами культуры (транспарантами, указателями, колесами бытия), они предстают перед нами чем-то неупорядоченным. Этому подвержены фигуры обоего пола. Внимательный зритель замечает, что фигуры, символизирующие женское начало, в творчестве художника принимают на себя основную конструктивную функцию, в то время как для мужских типизированных фигур характерны социологические знаки управляемого мира (властолюбие, выслуживание перед вышестоящими, подавление слабых, стяжательством). От женских же фигур зачастую исходит аура некоей связи с землей; ее можно описать как оргазмическую радость, невыраженную боль, многослойный мир чувств или высокую экспрессивность.

Эта бросающаяся в глаза дифференциация при изображении “предметного”, абстрагированные признаки которого постоянно выявляются в больших работах (полиптихи, работы маслом), проясняют творческую структуру, попытка анализа которой последует ниже.

## АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКЕ

К характерным признакам творчества Янкилевского относится то, что основополагающие структуры (введение резко абстрагированных человеческих тел в технизированный мир), появившиеся в раннем периоде, разрабатываются вот уже более 20 лет все в новых вариантах. Это постоянство творческого принципа ясно прослеживается и в критике творчества во временной перспективе.

О сугубо логических структурах первых полиптихов Янкилевского в начале 60-х годов писал тогда П.Торез:

“... но эта беспредметная живопись ни в коей мере не абстрактна, она представляет универсум естественных наук, электроники, астронавтики или ядерной физики с очень усложненной, для дилетанта трудно дешифруемой, но строго логичной структурой. Янкилевский с большим живописным мастерством представляет мир, в котором

техника стоит на первом месте, а художник удовлетворяется тем, что, систематически отыскивая механизмы, старается, насколько это возможно, всеобъемлюще покорить пространство” (П.Торез. 1964, стр. 148. Paul Thorez. Moscou. Lausanne, Ed. Rencontre, 1964).

Эта односторонняя оценка, исходящая лишь из технических объектов, которую можно отметить и у других критиков [1], была поколеблена Душаном Конечным. Он указал на определенные влияния Пауля Клее и Хуана Миро, работы которых в шестидесятых годах оказали воздействие на целый ряд московских художников. В раннем творчестве Янкилевского это заметно в цикле рисунков, именуемом “Структура Афродиты”. При этом, по мысли Конечного, художника занимало “живописное воплощение разрушения человеческого тела на мельчайшие первоэлементы — носители символической значимости”. Истоки этого Конечный видел в мировоззрении художника, при котором “циническое разрушение гармонии человеческого бытия есть необходимое зло нашего столетия, существующее вне зависимости от того, признает это человек или нет” (Конечный, 1966, 41). Это разрушение выражается в том, что “от идеальных пропорций человеческого тела античной богини остались рационально непредвзятые формулы, а от гармонии и полноты жизни — тривиальнейшая сексуальность” (Там же, стр. 41). Янкилевского мучает разрыв между абстрактной красотой научной мысли — от теории относительности Эйнштейна и кибернетических моделей до астронавтики — и дисгармонии человеческой жизни. Поэтому он ищет причины той огромной внутренней болезни, которой поражено человечество.

Эту онтологическую связь Конечный затронул в следующей статье (Конечный, 1967, 236—241) в плоскости обработки материала. Опираясь на уже названные влияния Клее и Миро, чье творчество открыло путь игре с собственным воображением, Янкилевскому указывают и на то, что в его графических работах на тему “Женщина” проступает “конфигурация элементарных знаков, напоминающих доисторические наскальные изображения и простирающихся до пластически-экспрессивных символов”. При этом его рабочий процесс отличало то, что он обрабатывал мотивы в циклических вариантах. Результатом этих усилий явилась целая серия рисунков, а через них диптихи, триптихи или пентаптихи, несмотря на более чем ограниченное пространство его мастерской, предоставленной в свое время художнику.

Параллельно с рисунками появляются сложные работы с присутствием технических объектов (например, “Атомная станция”, 1962 г.) и серия голов, представляющих полемику с архаическими символами (магические применения, формулы заклинания).

Эти два отправных поля охватывают в основном все творчество Янкилевского и сверх него еще и значительные работы в области фотографии и книжной иллюстрации [2].

В середине 60-х годов, после первой официальной выставки его работ в рамках ретроспективы “Тридцать лет МОСХа” и последовавшей за ней как результат резкой партийной критики эстетики московского “модерна” происходит дальнейшая дифференциация материальной стороны его творчества.

Если сложные композиции 1960—1964 гг. состояли в основном из железа и металлических частей, то теперь Янкилевский использует дерево, ткань и клееные материалы. Результатом такого монтажа явились “определенные рельефные поверхности, грубо записанные яркими красками” (Конечный, 1967). Перед зрителем оказывались фигуры роботов как конечных продуктов технической цивилизации, несших в то же время черты чего-то архаичного, являвших собой “тотемов, идолов или монстров”.

Следующее отсюда обращение к Древнему Египту, к культурам Толтеков или Майя, не вызывает удивления и является вполне очевидным. Эта совокупность доколумбовых и технико-цивилизационных элементов привела к созданию скорее забавных, часто смешных фигур, нежели нагоняющих страх монстров, что тоже можно отнести к воображаемой игре художника с гротескными фигурами, наблюдаемой в творчестве Клее двадцатых годов.

Наряду с такими диффузными влияниями возникающие в триптихах и графических работах машинные элементы напоминают, как подчеркивают Глезер и Голомшток (1977, 103), ранние работы Марселя Дюшампа, Франсиса Пикабиа или Казимира Малевича. Глубоко экзистенциальная сущность его творчества позволяет сопоставить его с такими русскими художниками, как Кандинский и Филонов, хотя не следует забывать о стилистических различиях между ними и Янкилевским.

Вышеозначенные характеристики находятся в определенной связи с собственными высказываниями художника. В середине 60-х годов в манифесте из 13 пунктов “Основной закон Универсума — есть взаимодействие” он утверждает: “Произведение искусства можно как бы расслоить на две основные составляющие: пластический закон и экзистенциальную тему. Если произведение содержит только первый элемент, оно будет представлять нечто окончательное как эстетический объект... Второй элемент — составляющая, взятый сам по себе, тяготеет к литературности, он демагогичен и однозначен. Не поддержанный пластикой, он становится эфемерной ценностью и быстро теряет свою актуальность. Вот почему наиболее ценным качеством произведения является подчинение переживания художника пластическим законам картины” (Янкилевский, 1967, 38; обратный перевод с французского — немецкого на русский).

## ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА В ПРОДУКТИВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ

Янкилевский, который в середине семидесятых годов считался наиболее значительным представителем русского концептуального искусства, хотя его относили и к сюрреалистическому направлению [5], всегда был заинтересован в разъяснении основных аспектов своего творчества. Отсюда его высказывания продуктивно-эстетического характера несут и философские идеи, что придает всему творчеству захватывающую многослойность.

“Меня всегда интересовала проблема человека в Универсуме, не в научно-фантастическом плане, а в осознании им своего места и роли как существа во Вселенной. Человека — как единого существа — носителя мужского и женского начала. Взаимодействие этих двух начал определяет его развитие на фоне Вечности” (Глезер и Голомшток, 1977, 103; обратный перевод с английского — немецкого на русский).

Художник чувствует себя обязанным таким исходным в той мере, в какой он употребляет свое творчество как экзистенциальную основу мироощущения. При этом Янкилевский заинтересован, как видно из его доклада в 1981 г. [6], в том, чтобы предложить своему зрителю некое единство материальных и эстетических глубинных слоев. Исходя из этого, он в цикле графических работ “Анатомия чувств” предпринял попытку описания основных типов мироощущения. Эта серия пытается анализировать адекватные реакции переживания мира, составной частью которых является и сам художник; в отличие от неадекватных реакций переживания мира Мутантами [7], которые для него являются продуктами патологического общественного сознания.

В каком смысле, по замечанию Янкилевского, в произведении можно уловить “переживание мира”? Картина представляется ему в общих чертах как определенная живописная среда, несущая в себе некие общие качества и в то же время затрагивая “очаги возбуждения” зрителя определенного уровня. При этом духовное состояние окружающего мира выражается так называемым “пейзажем сил”. По мнению Янкилевского, речь здесь идет об универсальных взаимовлияниях центробежных и центростремительных сил, исходящих из одного центра, находящего свое выражение в женском начале. Мужское начало, наоборот, выступает как развитие стабильных областей “очагов возбуждения”. В этом, специфическом объяснении окружающего мира представление о человеке как о космическом существе выражено во всеобъемлющей форме. Тематически эта форма разрабатывается Янкилевским в многочисленных полиптихах, в которых это взаимопроникновение женского и мужского элементов выносится на поверхность. Важным моментом в полиптихах становится углубление находящихся выражение в произведении пластических и композиционных сил, воздействующих на зрителя.

“Произведение искусства не есть то, что ОЧЕ-ВИДНО (ОЧЕ/НЬ/-ВИДНО), оно есть то переживание, что невидимо, однако возникает в “душе” зрителя в результате воздействия на него произведения” (Янкилевский, 1981).

Как протекает, по мысли Янкилевского, такое воздействие на зрителя? Для прояснения этого он делит структуру своего произведения на четыре слоя, руководствуясь при этом некоторыми аспектами теории бытия немецкого философа Николая Гартмана [8].

— Первый слой составляет материал, т.н. фактура.

— Во втором слое представлены изображение и объекты. Они составляют сюжет картины, т.е. содержание, которое, как правило, можно описать словами. Для Янкилевского эти объекты несут в себе исторические, культурные ценности и каким-либо образом связаны с нашими жизненными познаниями. Художники, которые концентрируются в работе главным образом на этом слое, рискуют создать произведение однозначное, волюнтаристского и демагогического характера. Гораздо большего внимания требует следование пластическим законам построения картины, для чего недостаточна чистая “литературность”.

— Тем самым в третьем слое речь идет о концентрате “неких метафизических связей, возникающих между изображенными объектами, как результат их неожиданных сопоставлений и “парадоксальных” сдвигов. Это объясняется разрушением ортодоксальных взаимоотношений, построенных на человеческом опыте. В этом слое “живут” метафоры, сравнения, преувеличения и другие художественные приемы” (Янкилевский, 1981; обратный перевод с немецкого).

— И, наконец, в четвертом слое заключен всеобщий и универсальный смысл произведения. Если в этом слое происходит совпадение между “очагами возбуждения” среды картины и кульминациями сюжета, то последний теряет свою однозначность. Он начинает свое вневременное существование в пространстве бытия [9].

На этой основе, по мнению Янкилевского, возникает многослойное произведение как модель человеческих представлений о мире, которые простираются от “Я” наличного социального бытия до “Я” воображения.

“Зритель как бы находится в пространстве произведения, от событий актуальных, происходящих “СЕЙЧАС”, “ЗДЕСЬ” и “С НИМ”, до событий, происходящих “С КЕМ-ТО”, “КОГДА-ТО” и “ГДЕ-ТО”. Необходимость выражения одновременности этих состояний привела меня к рельефной живописи с ассамбляжами и с “дырами”, с прорывами, в которых было зафиксировано три основных представления об экзистенциальном пространстве” (Янкилевский, 1981 [10]; обратный перевод с немецкого).

Творчески наиболее зрелое воссоздание такого бытийного пространства наиболее удалось Янкилевскому, по его собственным сло-

вам, в произведениях “Дверь” и “Адам и Ева” (Пентагитх № 2), ибо в них “экзистенциальный драматизм нашел адекватное и предельное (по моим нынешним возможностям) выражение в пластическом конфликте” (Янкилевский, 1981).

В творческо-эстетическом понимании художника искусство тем самым описывает некое пространство бытия, в котором человек пытается определить свое место посредством пространственных координат “Я” — “ОН” (“ОНА”), между “Я” наличного бытия с самофиксацией в реальном социуме и “Я” воображения, равно как и этическими координатами “БОГ” — “ДЬЯВОЛ” (Янкилевский, 1981). Основой для ориентации человека в экзистенциальном пространстве этических координат “БОГ” — “ДЬЯВОЛ” является способность чувственного проникновения в психическую область между “Я” — “ОН” (“ОНА”) или обеих форм “Я”.

Для разъяснения понятия “экзистенциальное пространство” Янкилевский обращается к героям романов Достоевского, в сердцах которых идет постоянная борьба между Богом и Дьяволом [11]. В переводе с кодированного языка (в традициях христианско-европейского мышления) на будничныи способ выражения это означает: конфликт между требованием абсолютной правды и ее искажением и извращением в будничной идеологии [12]. Извращение истины в социуме ведет, в понимании Янкилевского, к конформизму, к деградации личности и ее духовной смерти. Это ведет к мутации личности “точно так же, как вирус может изменить программу ДНК и довести клетку “до безумия” (Янкилевский, 1981).

Особую опасность во всеобщем распространении лжи Янкилевский видит в появлении “однослойных” произведений, которые для него означают “репродуцирование дьявола” в искусстве. Эта функция заключена во втором слое (сюжете), ибо в нем выявляется та насильственность, с которой заданность сюжета пытается преодолеть живой организм модели мира. Каждая попытка художника в области сюжета переспорить дьявола (т.е. искаженную реальность) обречена на провал, ибо означает соучастие в пакте с дьяволом.

Эти — для западно европейского читателя или зрителя из СССР — часто необъяснимые понятия проистекают из эзоповского языкового стиля, который можно объяснить следующим образом. Речь идет о внедрении метафор христианской и еврейской традиций в монологическую риторику, затрагивающую основные области обиходного языка в Советском Союзе. Ее можно избежать, по мнению Янкилевского, только тогда, когда художник вырывается за сюжет. Иными словами: проникает в пластический слой своего произведения, чтобы оттуда бороться с извращенной правдой сюжета.

## ПО ТУ СТОРОНУ ПОНЯТИЙНЫХ КЛИШЕ: ПРИВЕРЖЕНЕЦ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ

Можно ли рассматривать художника как человека, заново открывающего правду, которая искажена в государственно продуцируемом массовом сознании, и выполняющего новую просвещенческую функцию? Такую постановку вопроса, мало что значащую для западных искусствоведческих позиций, следует прояснить. Она заключается в том, что западный (серьезный) художник борется своими произведениями в первую очередь против господствующих художественных направлений и общепринятых механизмов производства культуры, совершенно не заботясь о нормативных линиях, предписываемых государственными учреждениями. Этот процесс, протекающий в заинтересованной в искусстве общественной среде, в социалистических странах подвержен определенной регламентации посредством предоставления различных привилегий (почетных званий, например), членства в Союзе художников или в комиссии по художественным выставкам, цензурных разрешений на публикацию каталогов и монографий [13].

Против такой регламентации художественной жизни в Советском Союзе в конце 50-х годов выступили несколько десятков художников с отказом от “подчиненной роли служащих живописцев, как и от целого ряда заклинаний — таких, как партийность, народность, верность принципам, и других табу” [14]. Их отказ от застывших эстетических норм, которые пытались объяснить реальность посредством идеологических жестов, имеет и общественный аспект: ломка устоявшейся манеры восприятия и отвержение бытовавших воззрений на произведения современного искусства. То, что вызывает шок у советских посетителей выставки произведений современных западногерманских художников из-за радикальности их художественных средств [15], не может произойти с немецким зрителем настоящей выставки. Он стоит перед другой трудностью — попытки проликнуть в корни сегодняшнего русского авангарда, преодолевая созданные массовыми средствами клише искусства Восточной Европы, выполняющего государственные заказы. Попытка, в которой существовать помощь ему может оказать обозрение выставленных работ Володи Янкилевского. Эта самая большая экспозиция, которая когда-либо показывалась за пределами СССР, дает им возможность открыть для себя многое из того, что создано русским модерном во второй половине 20-го века: многослойность эстетических средств, разнообразие технических приемов и богатейшую палитру символов, множественность смыслов, чем он и отличается от приукрашивающих действительность картин советских художников.

Было бы ошибочным утверждать, что творчество авангардиста Янкилевского подлежит какой-либо односторонней расшифровке как

с помощью психологических воззрений (с точки зрения специфически сексуального восприятия мира или влияния техники на человеческую психику), так и со стороны социологической интерпретации (например, деформация человека в современном /советском/ обществе). Такие, скорее журналистские, “моментальные оценки” вытекают из поверхностных впечатлений. Пора уже после пятнадцатилетнего периода шаблонных оценок его творчества перейти к постановке новых вопросов. Исходя из оценочных клише, которые определяют стилевое направление Янкилевского в понятиях “трагический экспрессионизм” [16], “концепт-арт” [17] и “сюрреализм” [18], надо вводить понятия, ведущие к дальнейшему анализу, во всяком случае, те, которые затрагивают религиозно-эстетические корни структур больших полиптихов. Сбалансированная комбинация обоих направлений, из которых первое относится к дифференцированному иконографическому анализу, была бы значима для определения его творчества в истории искусства в двояком смысле. С одной стороны, она отвечала бы продуктивно-эстетическому взгляду художника, который придает своим комплексно-структурным работам экзистенциально-метафизический смысл. В этом контексте он отвечает описательной модели, развитой Евгением Шифферсом в статье ““Дверь” художника Владимира Янкилевского” [19]. С другой стороны, можно было бы попытаться на основании выставочных рецензий, заметок в мастерской и обширных творческо-эстетических описаний [20] отобразить все творчество художника, который из-за своей композиционной многослойности и эстетической комплексности не поддается точному определению в рамках русского модерна.

Октябрь 1984 г.

*Перевод с немецкого Б.Лисицкого*

*Евгений Шифферс*

## **Заметки на полях статьи доктора Шлотта**

— то, что улавливает художник в состоянии отрешенного погружения в сладостном и мучительном дрейфе творчества, чтобы явить плод потенциальному наблюдателю, есть художественно претворенный знак все-надгробий, от пирамид фараонов до безвестных сирых могил. Гениальность, по Канту, продуцирует образцы. Янкилевский, как художник, первичен, — поэтому сложно обрести язык описания.

— памятники-надгробия, уловленные в художественном ясновидении, по определению напоминают человеку о том, что он смертен, что пра-отцы каждого наличного существа нуждаются в воскрешении.

— “Дверь”, “Адам и Ева” — действительно наиболее прояснены, ибо являют свою органическую природу. Детали объектов, окружающие центральные “мумии”, несут свидетельство органов, продолженных тел, а потому и отвергают возможность трусливого бегства в социологический контекст, ибо сей последний давал бы внешнюю пристегнутость “деталей”, а не “члены тела”.

— среда обитания “мумий” порождена ими, это их среда обитания — почти по отзвуку великих слов Иисуса: жизнь есть раскрашивание гробов.

— объекты “Дверь”, “Адам и Ева” как метафизические свидетельства должны, при различении уровней осознанности служения, сравниваться с канонами икон “Сошествия во Ад”. Философы, по Платону, лишь тем и занимались, что “упражнялись в смерти”.

— упражнения по устроению всей своей жизни по “образцам”, уловленным в художественном дрейфе, перевод скрытой в “Устремленности к гениальности” аскетичности в осознанный аскетизм, направляющий субъекта к тем или иным культовым обетам, — следующий шаг, переводящий тексты в иные перспективы.

*Александр Глезер*

## **ЗЛОВРЕДНЫЙ СТЁБ АНДРЕЯ КОВАЛЕВА**

Точного определения, что такое стёб, вроде бы нет. Но то, что в журналистской практике девяностых годов имеют место стёбания двух планов, известно. Некоторые любители постёбаться просто стёбаются во имя стёба. Чаще всего за игрой слов с фонтанирующей иронией ничего нет, непонятно, ради чего и о чем автор пишет. Да и это неважно. Всегда можно отложить газету в сторону и пожать плечами — дескать, черт, те знает что.

Однако бывает стёб и иной, коим, кстати, и занимаются регулярно и целенаправленно на страницах газеты “Сегодня” искусствовед Андрей Ковалев и его коллеги из отдела культуры этой газеты. Спешу оговориться, за исключением литературного критика Андрея Немзера. Стёб господина Ковалева направлен против неофициальных художников — шестидесятников. Он, понимаете ли, признает только концептуалистов, а над всеми остальными иронизирует и издевается изо всех сил. Помню, когда два года назад открылась в Москве юбилейная экспозиция, посвященная 20-летию вошедшей в историю “бульдозерной выставки” 15 сентября 1974 года, господин Ковалев всюю насмешничал: мол, господин Глезер, говорит, что гебисты не расправились с ним и с художниками, потому что боялись скандала, протестов мировой общественности, а на самом деле они ничего не

боялись, а просто-напросто любили его, то есть меня. Наверное, поэтому они и ездили за мной, товарищ Андрей, последние четыре месяца моей жизни в Москве на двух “Волгах”. Видимо, это было любовное заигрывание. И, конечно, в тюрьму посадили они меня, так как жаждали именно туда ходить ко мне на свидания. И глаза обещали они мне выколоть, чтоб не видел я этих картин, ибо ревновали меня к работам Рабина и Немухина. Заниматься зубоскальством мы, шестидесятники можем не хуже Ковалева и его компании. Но зачем? В те годы, когда мальчик Андрюша ходил еще в школу, мужественные писатели, художники, композиторы и их друзья отстаивали право на свободу творчества. Их громили предшественники господина Ковалева по профессии, их запугивали гебисты и милиционеры, их давили бульдозерами, бросали в психушки, изгоняли из страны. Но вот наступили другие времена. Подросшему и превратившемуся в журналиста мальчику дяди Горбачев и Ельцин даровали свободу слова. Бороться ему ни за что не пришлось. То, что он обрел, даровано сверху. И теперь он изгаляется над теми, кто боролся за свободу, благодаря кому в конце концов барин даровал нам эту свободу.

Журналист-искусствовед признает только концептуалистов. Имеет право. Но зачем же при этом бить всех, кто не концептуалист? Зачем при этом выдумывать, лгать да еще при этом пританцовывать? Нравятся вам то и дело публично обнажающийся Александр Бренер и с наслаждением кусающий мужчин и женщин Кулик — ваше дело. Вы с вашей коллегой госпожой Луниной даже как-то объявили Бренера художником сезона. Я сначала вашему выбору удивился, но, когда получил пригласительный билет на выставку в одной из московских галерей, все мне стало ясно. Помните ту фотку на обложке билета: вы с Луниной сидите обнаженные, она держит в руке ваши гениталии? Может быть, вы с ней не просто журналисты-искусствоведы и стёбо-аналитики, но еще и художники? Все может быть.

На днях в Третьяковской галерее проходила выставка коллекции Кенды и Якова Бар-Гера. Называется она “Нонконформисты”. Тридцать лет собирали свою коллекцию супруги Бар-Гера в Германии и теперь привезли ее в Россию. Более двухсот двадцати работ увидели сначала питерцы на выставке этой коллекции в Государственном Русском музее, а затем в Третьяковке москвичи. Экспозиция — замечательная. Тут весь цвет нашего неофициального искусства. Рабин и Немухин, Кабаков и Янкилевский, Штейнберг и Булатов, Целков и Вейсберг... И как же откликнулся на эту выставку в газете “Сегодня” Андрей Ковалев? Буквально растоптал. Впрочем, перейдем к фактам. В чем обвиняет Андрей Ковалев нонконформистов на сей раз? Прежде всего в том, что они обслуживали эстетические пристрастия американского госдепа, то есть дипломатов. А поэтому-то их творчество он именуется дип-артом. Ах, до чего же остроумно! Значит, трагические картинки и рисунки прошедшего ад сталинских лагерей Бориса Свеш-

никова, саркастические и иронические полотна Оскара Рабина, размашистые абстрактные композиции Лидии Мастерковой, виртуозные натюрморты с картами Владимира Немухина и прямо противоположные ему аскетические натюрморты Дмитрия Краснопевцева, гротескные маски Олега Целкова, сюрреалистические построения Николая Вечтомова — это все, по Ковалеву, искусство, создаваемое для продажи дипломатам, то есть художники как бы работали в расчете на дипломатический рынок. Ничего более гнусного об этих прекрасных мастерах сказать было нельзя. К тому же “сотрудники и посольств и крупных буржуазных изданий неизменно составляют замкнутую и крайне консервативную касту”, пишет Андрей Ковалев, и, следовательно, таков его вывод, творили нонконформисты в угоду консерваторам. “Левых бунтарей и битников всяких, — с сожалением констатирует искусствовед, — не берут на посольскую работу и в “Вашингтон Пост”. И слава Богу, что не берут. Хватало у нас своих левых революционеров в давние времена, и известно, что они в России устроили.

Интересно, что, понимая, что по возрасту он судить о западных дипломагах того времени не в состоянии, Ковалев ссылается на живущую ныне в США Маргариту Тупицыну — кстати, племянницу Лидии Мастерковой. Видимо, господин Ковалев не знает, что в то время, т.е. в 60-е, она была ребенком. Занятно и другое. В Москве и в Вене, где мне встретила в 1975 году чета Тупицыных, она и ее муж были ярыми поклонниками Рабина, Немухина, Вейсберга... Тупицын вместе со мной даже написал предисловие к каталогу экспозиции моей коллекции в самом большом венском выставочном зале *Kunstlerhaus*. Но когда через пять лет я встретился с ними в США, то они уже переориентировались, благо держали нос по ветру. Успех соцартистов в Нью-Йорке заставил их (к тому времени Маргарита стала уже делающим карьеру искусствоведом) стать ярыми сторонниками соц-арта и концепта. Как-то в начале 80-х они сидели у меня на кухне в Джерси-Сити и убеждали забыть о других художниках, сделать ставку на их любимцев. “Забудь о России, ты живешь сейчас на Западе. Поддерживай то, что имеет тут успех, и у тебя будет все в порядке”, — сказал Тупицын. После этого я попросил их уйти и больше практически с ними не встречался. Но зато мне довелось познакомиться с книгами Тупицыной и с ее статьями. Читать их было противно, так как фальсификация истории неофициального искусства стала, можно сказать, профессией молодой искусствоведки. Так что не случайно Андрей Ковалев взял ее себе в свидетели.

Что же касается дипкорпуса и западных журналистов, аккредитованных в те годы в Москве, то среди них были высокообразованные и культурные люди, никакие не консерваторы, поклонники Малевича и Раушенберга, персидской миниатюры и Сезанна. Военный атташе посольства США, профессор Уэст-Пойнта, читал наизусть стихи не только Пушкина, но и Тютчева. А журналистов в Москву тогда

посылали элитных. Думаю, что такие корреспонденты, как Хедрик Смит из “Нью-Йорк Таймс” и Кайзер из “Вашингтон Пост”, могли бы рассказать Андрею Ковалеву немало интересного о современном западном искусстве, о том же поп-арте, концепте. И, в конце концов, не только они приобретали полотна нонконформистов. Думаю, что знаменитый коллекционер великого русского авангарда Георгий Дионисович Костаки, который собирал также работы Краснопевцева, Зверева, Немухина, Яковлева, понимал в искусстве не меньше господина Ковалева. То же самое, наверное, можно сказать о французском дирижере Игоре Маркевиче, который влюбился в произведения Зверева и с успехом провел его выставки в Париже и Женеве. Полагаю также, что английские искусствоведы, позитивно оценившие персональную выставку Оскара Рабина в Лондоне (1965), тоже были не слабее в понимании, что такое хорошо и что такое плохо в искусстве, чем московский любитель стёба из газеты “Сегодня”. Да и уж, наверное, искусствоведы нью-йоркского музея Modern Art в 1967 году не стали бы покупать для собрания своего музея “дип-арт” Вейсберга, Немухина, Рабина, Мастерковой, Ситникова, Зверева, Краснопевцева. Не стали бы делать этого и искусствоведы амстердамского Стеделейк-музея. А ведь они приобрели полотна Целкова и Немухина. И не стали бы французские музеи проводить выставки нонконформистского искусства, если бы оно было таким, каким представляет его г-н Ковалев. Уж у них у всех вкуса не меньше, чем у него. И тем более не стал бы делать экспозицию этого искусства престижнейший лондонский Институт современных искусств. И не стал бы великий Генри Мур выставляться вместе с Эрнстом Неизвестным, если бы считал его творчество китчем, как стёбистый московский искусствовед. Кстати, творчество Штейнберга и Янкилевского, художников-философов, господин Ковалев в своей статье пренебрежительно именуется “духовным изощрением”.

Как мне представляется, с Андреем Ковалевым все ясно. Как и с теми московскими карьеристами-искусствооведами, которые, как и он, фальсифицируют историю, оскорбляют художников, надеясь, что все это сойдет им с рук. Не сойдет.

Статья Андрея Ковалева, о которой идет речь, начинается так: “Боюсь, мои рассуждения в очередной раз покажутся безответственными инсинуациями, но готов настаивать на том, что искусство порождается не столько Творцом, сколько ...тусовкой”. Вот это да! Вот за такую откровенность — спасибо! Совсем понятно стало, с кем имеем дело, точнее, кого читаем. А что касается рассуждений, то господин Ковалев боялся справедливо: это не только безответственные инсинуации, но и бесстыдная ложь и гнусное зловерное стёбание, направленное против высокого искусства. К слову сказать, в 1990 году известный наш искусствовед Александр Каменский назвал бывших неофициальных художников ведущими представителями современного

русского искусства. А директор Музея изобразительных искусств им. Пушкина И.А. Антонова, открывая выставку моей коллекции в своем музее, назвала этих художников классиками русского искусства XX века. А вот для какого-то Андрея Ковалева это искусство — дип-арт. Придумал, бедный, наименование и радуется — и разгулялся, и застёбался. И не стыдно ему. Наверно, он все-то понимает, но вместе со своей коллегой Луниной, помните, той самой, что его гениталии бережно и нежно в руках держала, распевает в отделе культуры газеты “Сегодня”: “А нам все равно, а нам все равно...” И Лунина уже забыла о том, что расхваливаемый ею художник Кулик умудрился в нынешнем году и ее пребольно, чуть не до крови, укусить. В общем, как верно заметил Стэнли Крамер, “Безумный, безумный, безумный мир”. А я бы еще добавил — и подловатый.

P.S. А в журнале “Итоги” от 30 июня на эту же выставку откликнулся Иосиф Бакштейн. В школе он, видимо, был двоечником, любил списывать у отличников. И вот даже теперь, будучи по профессии социологом, а по призванию искусствоведом-кабакововедом, Иосиф ничего сам придумать не может, а усердно переписывает у дружка и Маргариту-концептуалистку, и определение “дип-арт” и продолжает петь свою старую унылую советскую песню о том, что шестидесятники только подражали ранним западным модернистам. Мне же хочется как бы намекнуть с помощью старого цыганского романса. Помните, Иосиф: “Уйди, совсем уйди...” Уйди, дорогой, в социологию.

*Александр Глезер*

## **КТО БУДЕТ СМЕЯТЬСЯ ПОСЛЕДНИМ...**

Когда-то нацистский фельдмаршал Роммель победно прошелся танками по Африке. Недавно, откликаясь на выставку коллекции Кенды и Якова Бар-Гера в Третьяковской галерее, Федор Ромер этак победно прошелся по нонконформистам на страницах “Независимой газеты”. Нет, он не отказывает неофициальным художникам в мужестве, он даже поощрительно, почти похлопывая их по плечам, говорит о них как о людях, заслуживающих уважения. Но вот как художники они для него пустое место. Не признает он их, и все тут. И поэтому с пафосом чревоушателя утверждает, что напрасно Бар-Гера и Глезер поднимают нонконформистов на щит. Ничего, мол, не поможет! Слабое искусство — и все. Припечатал, как говорится, фельдмаршал от искусства. И так лихо припечатал, будто он всемирно известное светило в искусствоведении, ну такое хотя бы, как маэстро Роммель в военном деле.

Впрочем, пренебрежительное отношение к нашим неофициальным художникам за последние лет пять неоднократно высказывал целый ряд молодых или сравнительно молодых критиков. Порой, когда я читаю статьи Андрея Ковалева, Иосифа Бакштейна и иже с ними, мне кажется, что, вернувшись из изгнания, вновь оказался в Советском Союзе. Ведь сии горе-критики, которые, видимо, в искус-

стве не сильны, а способны лишь стёбаться и лягаться, обвиняют этих художников как раз в том, в чем когда-то — советские искусствоведы и журналисты. Да и никогда мне не встречались статьи, в которых серьезно разбирается творчество, скажем, Эрнста Неизвестного или Владимира Немухина, Эдуарда Штейнберга или Эрика Булатова, Владимира Яковлева или Дмитрия Краснопевцева... Разбирается и лишь затем принимается или отвергается. Нет, как и в советские времена навешиваются этими искусствоведами (чуть не написал — в штатском) на художников и их искусство ярлыки: “дип-арт” (Ковалев), “подражатели западному искусству” (Бакштейн), «живописцы, объединенные слащаво-консервативной эстетикой и салонно-офисным подходом к творчеству» (Дудинский о Целкове, Краснопевцеве, Плавинском)...

А бедный читатель гатет, на страницах которых выступают подобные критики, не знают, что работы и Целкова, и Краснопевцева, и Немухина, и Зверева представлены в престижных музеях Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, что их произведения, так же как картины и графика, скажем, Яковлева, Вейсберга, Мастерковой, приобретаются коллекционерами Франции, Германии, США, Японии... Не ведают бедные читатели и о том, что этих художников с удовольствием выставляют не только западные музеи, но и галереи, в том числе весьма престижные, что о них на Западе уже написано немало книг, о том, что в последние несколько лет их стали выставлять и приобретать ведущие российские музеи. Не ведают бедные читатели и о том, что известнейший, увы, покойный искусствовед Александр Каменский называл лучших нонконформистов ведущими представителями современного русского искусства, а директор Музея изобразительных искусств им. Пушкина И.А. Антонова определила их как классиков русского искусства XX века...

Вот теперь и в «Независимой газете», к сожалению, появился сподвижник Ковалева, Бакштейна и К°. «Они, — сказал мне один из художников-нонконформистов, напоминают мне разбойничью шайку, которая сидит в засаде, и лишь только прослышат о выставке шестидесятника, как бросаются сворой вперед — ату его, ату». Так что, наверно, не случайно почти все лучшие наши художники — и шестидесятники, и семидесятники — сидят на Западе и там выставляются. Ни в США, ни во Франции, ни в Германии им не приходится читать о себе столь хамские и облыжные статьи, как в постсоветской России. А они их начитались в России Советской. До тошноты.

Что же касается смело-хвастливого заявления господина Ромера о том, что напрасно Бар-Гера и Глезер и т.д. и т.п., то остается лишь напомнить ему, что когда он уйдет в лучший мир, как и его собратья «критики», то от него и от них ничего не останется, кроме стёба. Ну, кому он нужен? А от художников-нонконформистов — и шестидесятников, и семидесятников — останутся их работы в Третьяковской га-

лерее, в Музее изобразительных искусств им. Пушкина, в Русском музее, в Национальном музее современного искусства, т.е. Центре Помпиду в Париже, в музеях Modern Art и Метрополитен в Нью-Йорке, в амстердамском Стеделийк-музее... Останутся книги о них и об их творчестве. Останутся люди, в квартирах которых будут висеть полотна столь нелюбимых постсоветскими искусствоведами мастеров. Так что уже сейчас можно сказать, господин Ромер, кто будет смеяться последним. Кстати, Роммелю, в конечном счете, тоже оказалось не до смеха.

*Николай Карелин*

## **ВАЛЕНТИН ВОРОБЬЕВ РЕЗВИТСЯ**

Фальсификация, ложь и клевета — оружие тех, кто на протяжении вот уже двадцати лет пытается исказить историю неофициального русского искусства. В этом некрасивом, мягко говоря, процессе принимают участие самые разные люди: искусствоведы, скажем, Андрей Ковалев, Иосиф Бокштейн и Маргарита Тупицына, журналисты, художники. Целеустремленно занимается этим уже много лет русский парижанин Валентин Воробьев. Когда-то Александру Глезеру довелось выставлять его вместе еще с двенадцатью нонконформистами в московском клубе “Дружба”. Сидя как-то после той экспозиции у Воробьева, я наблюдал за его беседой с иностранным покупателем — не помню теперь, то ли дипломатом, то ли журналистом. Когда покупатель приобрел картину Вали, я сказал: “Дай ему телефоны других художников”. Воробьев осклабился: “Что я, дурак? Зачем мне конкурентов плодить?” Никогда ничего подобного от других художников я не слышал, наоборот: они старались помочь друг другу.

Хищник Воробьев остался верен себе и на Западе. Оказавшись в Париже, он засылал в Москву письма о том, что, дескать, никому здесь русские художники не нужны, бедствуют, живут под заборами. Ну, собственно говоря, это, конечно, была акция, разработанная в столице нашей родины. Недаром тогда нонконформистов собирали в горко-

ме художников-графиков и объясняли: “Пойдете на компромисс, откажетесь участвовать в выставках на Западе, будем вас экспонировать в галерее Елены Корнейчук в Питтсбурге. В противном случае — вышлем и станете подзаборниками, письма-то Воробьева небось читали. Кто не читал, может у нас с ними ознакомиться. Кстати, об этой и ей подобным акциям Валентина Воробьева еще в конце семидесятых мне довелось писать на страницах журнала “Третья волна”.

Последние годы Воробьев вроде бы заскучал. Но тут на помощь пришли Михаил Гробман и его супруга, выпускающие в Израиле журнал “Зеркало”. Художник Гробман в 1971 году эмигрировал в Израиль. Будучи у Александра Глезера в Джерси-Сити в начале 80-х, он заметил: “Я — художник израильский, меня русское искусство теперь не интересует”. Но началась перестройка, пошли одна за другой выставки — и Гробман вернулся в искусство русское, это стало выгодно. Он даже свои старые карикатуры, публиковавшиеся когда-то (1964—1965) в журнале “Техника молодежи” и др., объявил своими основными работами, то есть стал чем-то вроде отца соцарта, убрав, так сказать с трона истинных его создателей — Виталия Комара и Александра Меламида. К слову сказать, именно Гробман принимал активное участие в составлении каталога выставки “От Малевича до Кабакова” в Кельне в 1993 году, каталога в котором фальсификация истории нашего свободного искусства носит фантастический характер. Но для чего понадобилось это израильянину Гробману? Да просто он служил. А за верную службу ему предоставили на вышеупомянутой выставке обширное пространство для экспозиции своих работ. И новоявленный “отец” соцарта этим воспользовался, вытеснив с прокабаковской выставки Комара и Меламида. Вот в том-то и дело. Концептуалисты во главе с Кабаковым и их адепты-критики последние несколько лет вовсю занимаются фальсификацией истории, не уступая, пожалуй, в этом большевикам, когда-то кромсавшим историю вдоль и поперек. Не было никаких там Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Каменева. Около Ленина был только товарищ Сталин и т.д. и т.п. В конце семидесятых фальсификацией в эмиграции занимались кинетисты из группы “Движение”. Тогда, кстати, Нуссберга полюбил Воробьев. Новое время — новые песни. Теперь Воробьев поет гимны в честь концептуалистов и топчет кинетистов. Да и не только их. Он клеветает в адрес Владимира Немухина, касаясь московской жизни в 70-х, и всех подряд, касаясь жизни парижской. Позволил ему Гробман резвиться, зная в чью пользу он станет сегодня резвиться, — Воробьев сладострастно сочиняет. Он проходится и по Солженицыну и Андрею Амальрику, по Шемякину и Целкову, по Максиму и Буковскому, по Нуссбергу и Лягочеву, по Зеленину и Хвостенко, по Лимонову и Щелковскому. И все он врет, все искажает, все злобствует, как и подобает многолетнему клеветнику. “Террористом в черном домино оказался Глезер”, “Кулачный бой «Монжерон» проиграл.

Кульбак ударил агрессора по башке”, “Генералы русской литературы затеяли грязную полемику о “немецком золоте Ленина и “носорогах западной культуры!” Это все фразы из сочинения Воробьева. А он все пишет и пишет. Помните, была эпиграмма, по-моему, на Никулина:

Он вспоминать не устает  
И все, что вспомнит, издает.  
И это все читать должны  
России верные сыны.

Авторами эпиграммы имелось в виду, что тот мемуарист вдохновенно врал, а его тогда широко печатали. Увы, увы, Воробьева на родине не печатают. Посему он и упражняется, точнее, испражняется, на страницах иерусалимского “Зеркала”. Бедные будущие историки: как они будут разбираться в этом периоде — 60 — 80-х, отделять истину от плевел?!

В конце 70-х Воробьев ходил на все парижские вернисажи неофициальных художников, часто высказывался: “Я — социалист, даже коммунист”. И скалил в широкой улыбке крепкие желтоватые зубы. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. В воробьевской думается, доля была большая. Ведь вышеупомянутые подметные письма Воробьева в Москву в конце 70-х четко работали на тех, кто травил неконформистов. К сожалению, для Воробьева то время кануло в небывтие. В Москве его писания никому ныне не нужны. Хорошо еще, что есть Иерусалим с Гробманом и “Зеркалом”. “На безрыбье и рак рыба”, — говорит пословица. Вот только этим и остается Вале Воробьеву утешаться, сочиняя очередной клеветнический опус.

Париж

# УМИРАТЬ НАМ РАНОВАТО

## Беседа с главным редактором “Стрельца”

*Валентин Назаров.* Ваше издательство родилось двадцать лет назад в Париже. Почему вы решили помимо музейной деятельности заняться еще и издательской и с чего начали?

*Александр. Глезер.* Вы знаете, я оказался на благополучном Западе в то время, как многие диссиденты сидели в лагерях или продолжали борьбу за свободу на родине. Какой-то стыд от этого я испытывал. Хотелось сделать как можно больше, чтоб оправдать перед собственной совестью свою, хоть и не добровольную, вынужденную, но все же эмиграцию. Когда в январе 1976 года открылся “Русский музей в изгнании” в Монжероне под Парижем и прошли первые выставки его собрания в Западной Германии (Берлине, Брауншвейге, Эслингене, Констанце), это все 1976 год, выяснилось, что у меня появилось свободное время. Вот тогда я и решил основать “Третью волну”. А начал я ее с создания одноименного альманаха литературы и искусства и выпуска книг стихов Генриха Сапгира, Евгения Кропивницкого и Игоря Бурихина, то есть двух поэтов-лианозовцев и питерца.

— А затем вы перешли к прозе, воспоминаниям, публицистике, то есть, как говорится, аппетит приходит во время еды?

— Дело не только в аппетите. Уже к 1978 году я обнаружил, что эмигрантские издательства не желают публиковать произведения, как бы это лучше объяснить, ну, скажем, тех прозаиков, которых сегодня в Москве называли бы представителями “другой литературы”. Как известно, сей термин появился лишь во второй половине 80-х. Но это относилось к московским писателям Виктору Ерофееву, Евгению

Попову, Валерии Нарбиковой, Зуфару Гарееву... На Западе же писатели такого плана появились гораздо раньше. Назову тут Юрия Мамлеева, Сергея Юрьенена, Дмитрия Савицкого... И хотя их произведения переводили и издавали на французском, английском и немецком языках, на русском, то есть на том языке, на котором они были написаны, их не печатали. Эту нелепую, на мой взгляд, ситуацию и разрешила “Третья волна”. У нас вышло три книги Мамлеева, две Юрьенена, роман Савицкого. К слову сказать, похожая ситуация создалась и с книгой мемуаров Бориса Бажанова “Воспоминания личного секретаря Сталина”. Она вышла на многих языках, но по каким-то причинам издавать по-русски эту интереснейшую книгу никто не хотел. Так что и этим пришлось заняться “Третьей волне”.

— Если говорить о прозе, вы издавали только модернистскую литературу?

— Нет, конечно. Мы издали роман Владимира Максимова “Заглянуть в бездну”, книги Анатолия Гладилина, Сергея Довлатова, Евгения Козловского, Вадима Нечаева, мемуары и рассказы Георгия Иванова, сборник “Потаенный Платонов...”.

— Может быть, это вопрос не очень скромный: насколько я знаю, все русские издания на Западе убыточны, как же вы решали вопрос с финансами?

— То есть откуда брались деньги?

— Да.

— Что ж, вопрос принципиальный. Ну, во-первых, в издательстве, пока оно базировалось в Монжероне, работал лишь один человек, то есть ваш покорный слуга. И зарплату сам себе я, конечно, не платил. Иными словами, ни на коллектив издательский, ни на помещение — “Третья волна” размещалась у меня на кухне — денег не требовались. Во-вторых, на выставках в Западной Германии я получил гонорары за предоставление коллекции. Часть из них шла на финансирование изданий. В-третьих, в случае необходимости приходилось брать кредиты, которые отдавались постепенно. Когда же в 1980 году я открыл еще один музей в Джерси-Сити под Нью-Йорком, то стал получать зарплату. Кроме того, я читал лекции о неофициальном искусстве в американских университетах и колледжах. За каждую лекцию получал чистыми пятьсот долларов. Так что стало полегче издавать книги, и их стало выходить больше.

— Я читал, что вы начали издавать “Стрелец”, так как поток текстов по каналам самиздата из СССР постепенно расширялся и существующие в эмиграции русские журналы с ним не справлялись.

— Верно. Только добавлю, что и в эмиграции в начале 80-х писателей стало больше, и опять же целый ряд прозаиков и поэтов модернистского плана на страницы эмигрантских журналов не попадал из-за эстетического неприятия их текстов. Поэтому в 1984 году я и начал издавать ежемесячный журнал литературы, искусства и общественно-политической мысли “Стрелец”.

— И опять один?

— Нет. У меня появился постоянный художник — Виталий Длуги. Что же касается корректоров, то они работали по договорам.

— Но ведь нужно было проводить и техническую работу: отвезить макет в типографию, забирать оттуда тираж, развезти его по магазинам, рассылать подписчикам.

— Все это делалось мною. Это не так уж сложно. Сел в машину, отвез, через три-четыре дня снова в машину и привез тираж, развез его по нескольким магазинам. Потом жена поможет упаковать все для подписчиков и отправить почту.

— У вас все получается так гладко.

— А что? За несколько дней со всем справлялись.

— Но это же каждый месяц.

— В месяце-то тридцать дней. Кстати, первые восемь месяцев у меня был заместитель по “Стрелцу” — поэт Сергей Петрунис.

— “Стрелец” тоже был убыточным?

— Еще бы!

— И как вы выходили из положения?

— Первые три года было трудно. Сначала я договорился, что финансировать “Стрелец” будет книжный магазин “Руссика”, а я стану отдавать им весь тираж. Но в последний момент, когда о “Стрелце” уже было объявлено в прессе и по радиостанции “Свобода” на СССР, “Руссика” от своих обязательств отказался.

— И что же?

— Ну, отступить я не привык. Моя жена Мари-Терез де Форас одолжила мне деньги на первый год издания. На второй — половину необходимой суммы (10 000) мне дал коллекционер неофициального русского искусства профессор Нортон Додж за то, что я по своим каналам переправил ему из Ленинграда 18 картин Владимира Овчинникова. На третий — я несколько месяцев работал ночным сторожем. А потом, когда уже три года “Стрелец” выходил, я обратился за помощью к американским благотворительным фондам. Там таких много. И они, видя, что это не какой-то проект, который то ли осуществится, то ли нет, а живое дело, охотно поддержали его.

— С 1989 года “Стрелец” превратился в альманах. Почему?

— Во-первых, изменилась ситуация в СССР. Многие москвичи и питерцы стали публиковаться на родине. Правда, модернисты — не очень широко, но все же. Во-вторых, я начал ездить в СССР и издавать ежемесячный журнал просто физически не мог.

— Насколько мне известно, ваши издания всегда попадали в Союз.

— Если б я не мог пересылать их туда, то издательской деятельностью и не занимался бы. Одна из главных задач как раз и была засылать книги и журналы в Москву. Оттуда они расходились и по другим городам, пусть не очень многим, но расходились. Попадали и в Ленинград, конечно, и в Тбилиси, Ташкент. Это мне точно известно. А может быть, и еще куда-нибудь.

— Какие из изданных “Третьей волной” на Западе книг вы считаете наиболее важными?

— Трудный вопрос. Никогда об этом не думал. Прежде всего, наверно, книги прозаиков, которых никто не хотел издавать, книги стихов Сапгира и Кропивницкого, поскольку они жили в Москве, где, естественно, публиковаться не могли, а на Западе вряд ли тогда кто-то бы взялся за их издание. Еще — воспоминания Бажанова. И две антологии: “Русские поэты на Западе” и “Русские художники на Западе”. Первая — это, конечно, антология стихотворений, вторая же — эссе о творчестве эмигрантских художников “третьей волны”.

— Когда начался московский период вашего издательства?

— По-моему, в 1990 году. Тогда совместно с “Московским рабочим” мы переиздали вышедшую у меня на Западе книгу, подготовленную литературоведом Вадимом Крейдом, — “Николай Гумилев в воспоминаниях современников”.

— Расскажите, пожалуйста, о своих библиотеках. Почему они возникли и что с ними происходит сегодня?

— Как ни странно, новейшую русскую прозу в начале 90-х годов на Западе знали лучше, чем в России. Там, в Германии, Франции, Италии, выходили книги Ерофеева, Попова, Юрьенена, Нарбиковой. Об их творчестве писались статьи. Слависты начали защищать диссертации по творчеству этих писателей. То есть сложилась такая же ситуация, как в 60—70-е годы с нашими неофициальными художниками. На Западе проходили их выставки, их работы приобретали музеи и коллекционеры, выходили книги: об их творчестве, искусствоведы писали статьи... В СССР же — или молчание или погромные публикации и бульдозерный погром. С “другой литературой” то же получилось самое уже не по политическим, а по эстетическим причинам. Сегодня — ситуация лучше. И все же эти писатели и поныне более известны, скажем, в Германии и Франции, чем на родине. Особенно в нашей провинции. Поэтому я и стал издавать библиотеку новой русской прозы, в которой уже вышли книги Ерофеева, Юрьенена и Нарбиковой. По тем же причинам “Третья волна” приступила к изданию библиотеки новой русской поэзии (вышли в свет книги Бродского, Рейна, Сапгира) и библиотеки нового русского искусства (опубликованы монографии о творчестве Рабина, Целкова, Немухина, Краснопевцева, Харитонова, Калинина). Что же касается библиотеки воспоминаний, то пришло решение издавать ее по причине естественной: уходят люди, а без истории культуры не бывает. Вот умер Лев Озеров, но все-таки успел увидеть за несколько дней до кончины свою книгу “Дверь в мастерскую” (воспоминания об Ахматовой, Пастернаке и Заболоцком). Нужные, я бы сказал, необходимые нам воспоминания.

— А библиотечка поэзии “Стрельца”. Зачем она?

— Это элитная, с точки зрения тиража, библиотека — всего триста экземпляров. И коллекционная — каждая книжечка пронумерована и подписана автором. Вышли уже в этой серии Сапгир, Холин, Рейн, Уфлянд, Кублановский. А появилась она так: приключился со мной в июне прошлого года обширный инфаркт. И вот лежал я в

больнице и думал — что же будет с моими “библиотеками”? Могу же не успеть все задуманное издать. И тогда пришла идея этой библиотечки. Книжки маленькие. Их можно издавать чаще. Ведь на большие и деньги нужны большие, а в этом году со спонсорами плохо. Не потому, что год високосный, а потому, что выборный. Уже набраны книга стихов Юрия Кублановского, книги избранного прозаиков Евгения Попова и Александра Кабакова, книга воспоминаний Николая Заболоцкого, новый роман Сергея Юрьенена “Дочь генерального секретаря”. Ищу спонсоров.

— И надеетесь найти?

— Раз надо, значит, найду. Или еще как-нибудь деньги достану. Кстати, вот на монографию о Вячеславе Калинине нашел спонсора — предпринимателя и коллекционера из Челябинска Александра Шадрина.

— А помимо библиотек вы книги теперь выпускаете?

— В прошлом году опубликованы сборники стихов Семена Липкина и Инны Лиснянской, в этом — Анатолия Кудрявицкого и Феликса Розинера. Вышла в “Третьей волне” и книга прозы Асара Эппеля “Травяная улица”. Этот номер “Стрельца” увидит свет в ноябре. Возможно, к тому времени выйдет и что-нибудь из набранных и названных выше книг. Мне бы очень этого хотелось. Тем более что в Москве планируется провести вечер по случаю двадцатилетия издательства. Два таких вечера в феврале, к слову сказать, прошли в Нью-Йорке.

— У вас до сих пор в выходных данных указывается “Третья волна” (Париж — Москва — Нью-Йорк). Кто-то из критиков, не помню кто, иронизировал по этому поводу.

— Да, было такое, и тоже не помню кто. Кто-то из современных стебачей. Хотя, как мне кажется, иронизировать по сему поводу глупо. “Третья волна” родилась в Париже, потом переехала в Нью-Йорк. Почему же отказываться, так сказать, от этих опознавательных знаков, тем более что и поныне наши книги распространяются там и многие тексты приходят из этих двух городов, да и многие писатели и художники, о которых мы пишем, живут там. Впрочем, пора у нас такая, что некоторые критики предпочитают стебаться, а не рецензии на книги писать или творчество того или иного писателя разбирать.

— В общем, можно сказать, что “Третья волна” жива и, хотя испытывает трудности, умирать не собирается?

— Помните песенку: “Умирать нам рановато, есть еще у нас дома дела”? И помните, конечно, слова усатого вождя: “Трудности преодолевать надо, товарищи”. Так что трудности преодолеваем и преодолеем, умирать не собираемся. И разве двадцать лет — это возраст?!

Париж, август 1996

*Интервью взял Валентин Назаров*

# СОДЕРЖАНИЕ

От редакции .....	3
-------------------	---

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

<i>Генрих Сапгир</i> Любящие. Стихи .....	4
<i>Нина Садур</i> Девочка ночью. Повесть .....	14
<i>Евгений Рейн</i> Бабий Яр. Поэма .....	35
<i>Валерия Нарбикова</i> Инициалы. Роман .....	39
<i>Герман Гецевич</i> Анти-мы. Стихи .....	93
<i>Михаил Воздвиженский</i> Стриптиз. Из романа “Страсти по-славянски” .....	97
<i>Ефим Бершин</i> По законам ветра. Стихи .....	110
<i>Игорь Холин</i> Иерусалимские пересказы. Рассказы .....	114
<i>Алексей Алехин</i> Картинки. Стихи .....	118
<i>Юрий Гальперин</i> Бобик Таранухина. Рассказ .....	122
<i>Александр Тимофеевский</i> Пять стихотворений .....	133

<i>Юрий Кувалдин</i>	
Шиповник у калитки. Повесть .....	139
<i>Александр Кушнер</i>	
Новые стихи .....	177
<i>Георгий Балл</i>	
Человек из дипломата. Рассказы .....	180
<i>Игорь Бурихин</i>	
В этом жбане Москвы. Поэма .....	199
<i>Татьяна Михайловская</i>	
Караимская кровь. Рассказ .....	206
<i>Юрий Орлицкий</i>	
Верлибры .....	215
<i>Игорь Яркевич</i>	
Голубец. Рассказ .....	218

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

<i>Михаил Эпштейн</i>	
О новой сентиментальности .....	223
<i>Андрей Ранчин</i>	
Между словом и жизнью .....	232

## НЕРУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Американские сверхкороткие рассказы ( <i>Эрнесг Хемингуэй, Элизабет Таллент, Барбара Гринберг, Дэвид Орден, Барри Хэнна; перевод с англ. и предисловие Сергея Юрьенена</i> ) .....	237
---	-----

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

<i>Амари (Михаил Цетлин)</i>	
Стихотворения (предисловие Анатолия Кудрявицкого) .....	247
<i>Георгий Адамович</i>	
Письмо Николаю Гумилеву .....	253

## ЭССЕ

<i>Лев Аннинский</i>	
Рыжий ворон .....	255
<i>Валерия Нарбикова</i>	
Последний писатель .....	279

## ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ

*Юлий Крелин*

Мысли из тетрадки ..... 283

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

*Александр Глезер*

В Питере и в Москве ..... 290

*Вольфганг Шлотт*

Володя Янкилевский ..... 292

## АНТИДИФФАМАЦИОННАЯ ЛИГА

*Александр Глезер*

Зловредный стёб Андрея Ковалева ..... 302

*Александр Глезер*

Кто будет смеяться последним ..... 307

*Николай Карелин*

Валентин Воробьев резвится ..... 310

## ИНТЕРВЬЮ

Умирать нам рановато.

Интервью с главным редактором “Стрельца” ..... 313

Подписано к печати 19.11.96 г.

Формат 60x90/16. Объем 20 печ. л.

Тираж 1000 экз. Зак. 4660.

Отпечатано в ДПК.



Номера альманаха "СТРЕЛЕЦ"  
и книги издательства "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"  
(современная русская поэзия, проза,  
литературоведение, воспоминания)  
можно купить или заказать в магазине

книжной торговли "У Сытина"

Москва, Пятницкая ул., дом 73  
(проезд: метро "Добрынинская")

Тел.: (095) 230-89-00

(095) 237-36-11

а также в литературном салоне

**АХМАТОВА**

(музей-квартира Ардовых)

Москва, Большая Ордынка, дом 17, кв. 13

(проезд: метро "Третьяковская")

**ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

Со второй половины 1997 года будет

открыта

подписка на альманах "Стрелец"

по каталогу агентства "Книга-Сервис"